

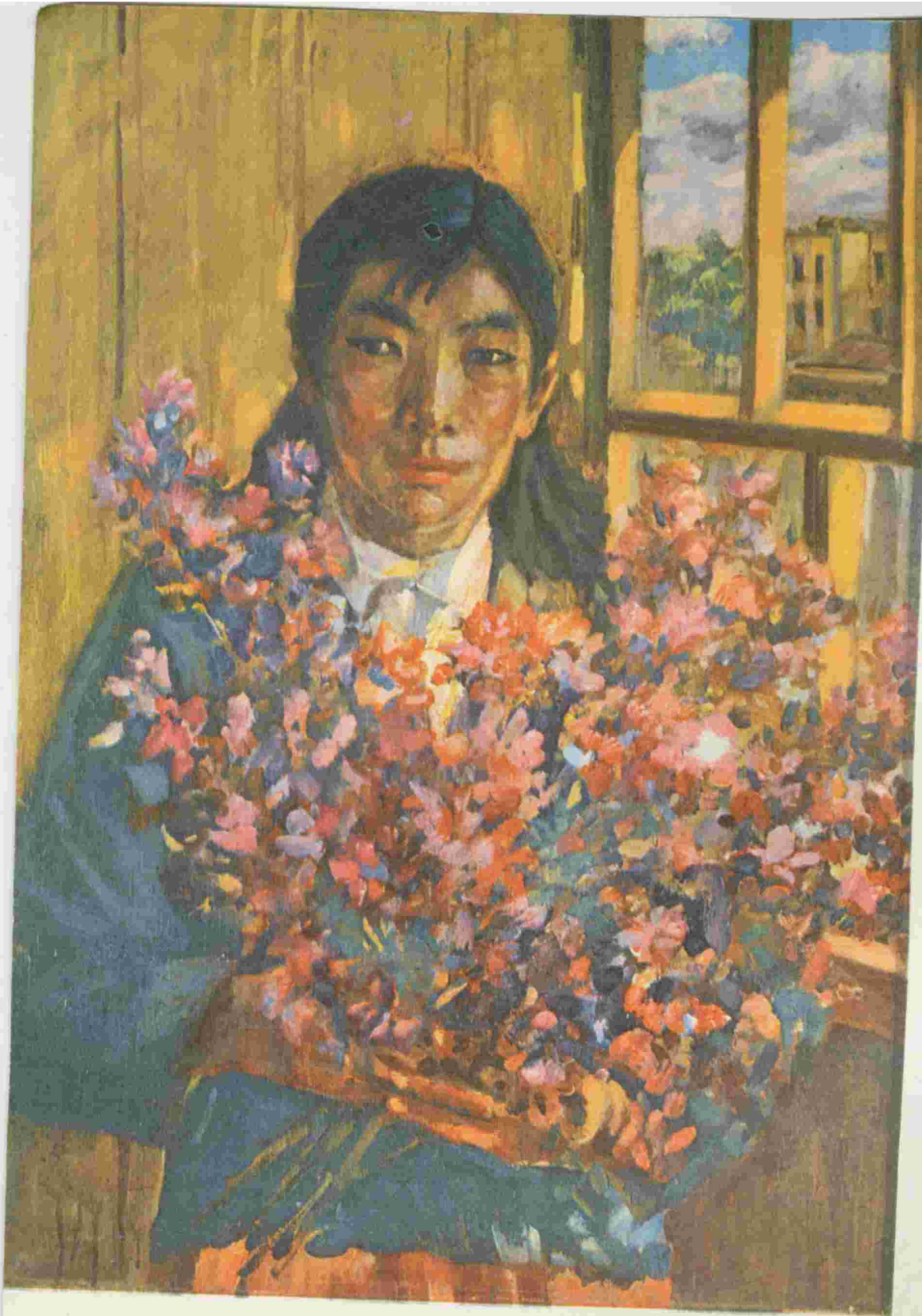


ЮНОСТЬ



9

1971



В. ДЕМИН. (Тувинская АССР).

Тувинка с багульником.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



9 [196]
СЕНТЯБРЬ
1971

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

- Борис НИКОЛЬСКИЙ. Чужая жизнь. Повесть 2
Лазарь КАРЕЛИН. Головокружение. Повесть 22

ПОЭЗИЯ

- Борис СЛУЦКИЙ. Моя средняя школа. Солдатский отпуск. Заболоцкий спит в итальянской гостинице. «Делайте ваше дело...». «Своим стилем плетения словес не очарован я, не околдован...». Отец 18
Евгений ВИНУКОВ. Веселость. Метафоры. Родня. Сенсация 19
Яков КОЗЛОВСКИЙ. Стояли дни с высоким небом. Колечко. «Гроза иссиня-бурая косматой...». В чебуречной. «Тебе ли памятно самой...». В Черногории 20
Виктор КОРОТАЕВ. «Не преступлю дозволенных пределов...». «Прошла моя пора довольства и веселья...». «Можно все еще вернуть...». Март. Конь 61
Сергей ДРОФЕНКО. Надпись на книге. Замошворенье. Новый Иерусалим. «Что может быть трудней...». «Полуночищает возраст...». «Медлительны и нелюдимы...». «Сегодня мне опять приснишься ты...». Память. Цветы. Поэт 62
Александр РЕВИЧ. «Совсем я не был зол или жесток...». «Видно, я умру в своей постели...». «Не могу, когда плачет ребенок...» 63
Мушни ЛАСУРИА. «Я люблю твой нрав, Который...». Форель и соловей. Перевел с абхазского Ф. Искандер 64

НАУКА И ТЕХНИКА

- Виталий СЕВАСТЬЯНОВ. Земные связи человека 65
Гр. ПОЛУНОВ. Философия семи отмеров 95

ПУБЛИЦИСТИКА

- Валентина ЮДИНА, Борис ЧЕРНЫХ. Всем «Миром» 71
Л. ОЧАКОВСКАЯ. ...Любимые твои ученики 77

ТЕАТР

- Разговор с Майей Плисецкой 82

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- Корней ЧУКОВСКИЙ. Толстой как художественный гений 87

ШАХМАТЫ

- Михаил БОТВИННИК. Первые ходы 101
Будет ли удачлив претендент? 105

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. Как Мозолевский перехитрил древних грабителей 107

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

- Дина РУБИНА. Новенькая 109
А. АНТОНОВИЧ. Трудная задача 110
А. и Л. ШАРГОРОДСКИЕ. Жертва моды 111

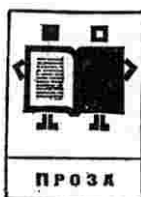
Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ
Первый заместитель
главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ,
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.
Технический редактор
Л. К. Зябкина.

На 1—4-й стр. обложки
рисунки
Е. СОКОЛОВОЙ
и А. МАКСИМОВА.

Адрес редакции:
Москва, Г-69,
ул. Воровского, 52.
Тел. 291-62-47.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 7/VII 1971 г.
Подп. к печ. 17/VIII 1971 г.
А 11729.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 1 850 000 экз.
Изд. № 1795. Заказ № 1586.
Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



Борис
НИКОЛЬСКИЙ



ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

I

ПОВЕСТЬ

...И что за дурацкая это манера — заставлять человека плясать, прежде чем отдать ему письмо! Кто только выдумал этот папуасский обычай! Еще даже не догадываешься, от кого письмо, а пляши! Еще не знаешь, что там в конверте — радостные вести или печальные, а пляши! И приходится плясать, ничего не поделаешь, потому что так уж заведено в роте и потому что ефрейтор Стручков держит конверт за спиной и ловко увертывается от Дмитрия Голышева, когда тот пытается кинуться на него...

И Дмитрий Голышев пляшет — нехотя, несколько раз выделывает ногами кренделя. Пляской эти неуклюжие телодвижения назвать, конечно, трудно, но ритуал соблюден, зрители удовлетворены. Стручков тоже доволен, он смеется и протягивает письмо Голышеву.

Письмо от бабушки, от Алевтины Степановны, от бабы Али, как еще по детской привычке называет ее Дима, или от Али-бабы, как порой в шутку величали ее в прежние времена в семье Голышевых.

«...А еще, Димочка, собираюсь в пятницу выслать с оказией тебе посылочку. Так что в субботу подходи к поезду, в Ленинград к вам он прибывает — я уже узнавала, мне сказали в справочном — в восемь часов двадцать минут вечера. Спросишь проводницу

Рисунки
Л. Корсакова.

первого вагона, она и передаст тебе мой гостинец. Кушай на здоровье и с товарищами поделись обязательно, пусть они тоже кушают на здоровье. Желаю тебе, дорогой внучек, и твоим товарищам успехов в вашей солдатской службе, а также желаю, чтобы вам никогда не пришлось воевать, чтобы никогда больше не было этой проклятой войны. Целую тебя. Твоя баба Аля».

Голышев перегнул конверт пополам и сунул в карман брюк.

Ох, уж эта баба Аля! Всегда придумает что-нибудь такое, от чего только лишние хлопоты! С послереволюционного времени, что ли, осталась у нее эта страсть к оказиям, это недоверие к почте... Даже обыкновенные письма она и то чаще всего старалась переправить с какими-нибудь случайно подвернувшимися попутчиками, которые, разумеется, забывали обычно доставить эти письма по назначению. Нередко в доме появлялись чужие люди, единственной целью которых, как выяснялось, было передать привет от бабы Али. Впрочем, и других подобных странностей немало числилось за бабушкой Голышева. Вещи она предпочитала покупать не в магазине, а приобретать по случаю и оттого нередко становилась жертвой разного рода жуликов, но это нисколько не меняло ее привычек. Всех однофамильцев она упорно считала родственниками, и, если случалось ей прочесть в газете, допустим, сообщение о том, что где-нибудь на Дальнем Востоке отличился некий Петров, она непременно говорила: «А ведь это, пожалуй, сынок того Петрова, который в 25-м году жил с нами по соседству...» Переубедить ее было нелегко, да никто, впрочем, всерьез и не старался этого делать: к бабушкиным причудам все относились с добродушной усмешкой...

— Ну и что же тебе пишет твоя бабушка? — осведомился ефрейтор Стручков.

— Да вот интересуется, не поумнел ли мой боевой товарищ ефрейтор Стручков, хотя тут же добавляет, что это уже вряд ли возможно... — сказал Голышев.

Он был не в настроении. На этой неделе за успехи по службе его обещали отправить в краткосрочный отпуск да что-то затянули в штабе с оформлением документов. Он же всегда был верен принципу: не стоит откладывать на завтра то, что следует получить сегодня. Никто не знает, что будет на следующей неделе; начнутся вдруг какие-нибудь большие учения — и тогда прощай отпуск, жди-дожидайся, пока они закончатся. Впрочем, что тут особенно объяснять: каждый, кому приходилось ждать отпуск после года, а то и двух лет солдатской службы, знает, что это такое. А кому не приходилось, тот, пожалуй, все равно не поймет.

Одним словом, оснований для беспокойства у Голышева было вполне достаточно. А тут еще эта посылка! Легко сказать — сходи к поезду! Бабушке кажется, что они здесь живут, как на даче: захотел — пришел, захотел — ушел. Теперь придется просить увольнительную на субботу, а у него были совсем иные планы, он уже записался в увольнение на выходной, надо все переигрывать. Да еще ведь отмахать до Ленинграда нужно шестьдесят километров на электричке. Только успеешь добраться к этому бабушкиному поезду, а там и поторапливаться придется обратно, чтобы не опоздать к проверке, — вот и весь вечер пропал. И не поехать за посылкой нельзя — человек ведь старался, что-то придумывал, готовил... Как-никак, для любимого внука...

Голышев вздохнул, еще раз перечитал письмо: да, все верно, суббота, восемь двадцать — и пошел отпрашиваться.

Командир отделения сержант Бандура как раз

уточнял списки увольняемых: кого-то вычеркивал, кого-то вписывал, кого-то переносил из одного списка в другой — он всегда с повышенным чувством ответственности относился к своим обязанностям.

— Да я бы на вашем месте, — сказал он Голышеву, — ни о каких увольнениях сейчас не заикался. Вам же отпуск впереди светит. Я бы на вашем месте лучше в наряд добровольно попросился. На кухню. Беспокойный вы все же человек, Голышев...

— Да это не я беспокойный, товарищ сержант, — сказал Голышев. — Это у меня бабушка беспокойная.

— А бабушке лет двадцать небось, а?

— Да нет, товарищ сержант, я имею в виду самую настоящую собственную бабушку...

— Бабушку, значит?

— Так точно, бабушку. Хотите, письмо покажу?

— Знаем мы этих бабушек, — подмигнул сержант Бандура. — Ладно, так и быть, пойдете в субботу в увольнение...

В субботу Голышев, конечно, еле-еле успел к нужному поезду. Чуть было не укатила его посылочка на запасной путь, чуть было не отправилась куда-нибудь на сортировочную... Когда он, запыхавшийся и вспотевший, примчался на вокзал, состав стоял уже опустелый и тихий, только последние одинокие пассажиры еще шли по платформе.

Голышев подбежал к первому вагону. Проводница возилась в тамбуре, гремела железным совком.

— Мамаша, — сказал он, — тут у вас посылочка должна быть из Светлогорска...

— Явился наконец! Ждать я вас, что ли, обязана? Вечно так: упрости, а потом с этими посылками одна морока, одни неприятности...

Она обернулась, продолжая ворчать, но увидела на Голышеве солдатскую форму и сразу смягчилась.

— Ну, слава богу, что поспел... Вот она, твоя посылочка... В целости и сохранности...

— Спасибо, — сказал Голышев.

— На здоровье, миленький, на здоровье. У меня ведь тоже такой же в Заполярье служит...

Голышев кивнул проводнице, улыбнулся и зашагал обратно по платформе.

Опять надо было спешить, мчаться сломя голову на другой вокзал, на электричку: времени оставалось в обрез. Только уже в вагоне электрички он сумел наконец рассмотреть посылку. Она была совсем небольшой, аккуратно (чего-чего, а аккуратно — у бабы Али с избытком хватило бы на двоих) упакованной в оберточную коричневую бумагу и несколько раз перевязанной бечевкой.

«Любопытно, что бы это могло быть? Что еще за сюрприз изобрела на этот раз бабушка?»

Бабушкина страсть делать сюрпризы была такой же давней и постоянной, как и все прочие ее привычки и странности. В те времена, когда Голышев был еще ребенком и они жили все вместе в одном городе, эта бабушкина черта ему особенно нравилась. Стоило ему с мамой надолго уйти куда-нибудь из дому, и он уже точно знал: когда они вернутся, его обязательно будет ждать какой-нибудь сюрприз — или мороженое бабушка приготовит собственного производства, или соорудит для него в саду какой-нибудь фантастический вигвам (она и это умела), или добудет у соседей щенка, о котором давно уже мечтал Дима. Да мало ли что она еще придумывала! Правда, иной раз ее сюрпризы обходились довольно дорого. Однажды, например, по случаю она приобрела не то фисгармонию, не то клавесин, Голышев теперь уже и не помнил, что это было... И тогда в один прекрасный день вдруг выяснилось, что в доме не осталось ни копейки, и между

бабушкой и матерью Голышева вспыхивали если не ссоры, то, во всяком случае, весьма громкие и энергичные объяснения...

В вагоне электрички было почти пусто, никто не обращал внимания на Голышева. Ему не терпелось посмотреть, что же все-таки там, в посылке. Но Голышеву оставалось только ждать и смирять свое любопытство, ибо в роте существовал закон еще более непреложный, чем необходимость плясать, прежде чем получить письмо: никогда не вскрывать посылку в одиночку. Это считалось почти так же позорно, как и жевать втихаря где-нибудь в углу печенье или сало, полученное из дома. Конечно, при торжественном вскрытии посылки вовсе не обязательно должен был присутствовать весь взвод, но близкие твои друзья — непременно.

Сквозь бумажную обертку Голышев прощупывал что-то довольно твердое и ровное, да и тяжеленькой была посылка, даром что небольшая; пока он нес ее от станции до казармы, бечевка резала пальцы... Что же все-таки это могло быть?..

2

До вечерней поверки оставалось еще минут десять — пятнадцать, вполне достаточно, чтобы рассмотреть содержимое посылки.

Шесть человек участвовали в этой процедуре. Шесть человек столпились возле койки Голышева, пока он разматывал бечевку.

Кто они были, эти шесть человек?

Один был соседом Голышева по койке справа, другой — соседом по койке слева, третий — соседом по койке сверху, четвертым был ефрейтор Стручков, земляк Голышева, с которым Голышев подружился в эшелоне, когда они еще только ехали в армию, и пятым был солдат по фамилии Фокин, который не был ни соседом, ни другом, ни земляком Голышева, но тем не менее любил и умел пристраиваться ко всем посылкам, кому бы они ни приходили. Не гнать же его. Ну, а шестым был сам Голышев. По идее, здесь же должен был присутствовать и кто-нибудь из командиров — старшина роты или замкомвзвода, чтобы наблюдать, не окажется ли в посылке чего-либо недозволенного, но Голышев был на хорошем счету у начальства, как, впрочем, и его бабушка: посылки от нее приходили не в первый раз, и никогда ничего предосудительного в них не обнаруживалось.

— Давай, давай, земля, пошевеливайся, — торопил Голышева ефрейтор Стручков, — а то сейчас уже строить будут.

Но Голышев по-прежнему не спеша, бережно разматывал бечевку и принялся за упаковку. Под первым слоем бумаги оказался второй, под вторым — третий. Голышев с хрустом, точно капустные листья, сдирал их, добираясь до сердцевины, и вдруг остановился в изумлении.

Перед ним возвышалась плотная стопка толстых брошюр, также аккуратно перевязанная веревкой.

Что бы это могло значить? Даже от бабы Али он не ожидал такого сюрприза.

Кто-то хмыкнул.

— Интересно, — уже вслух сказал Голышев. — Очень интересно. Что бы это значило?

Он развязал веревку и взял в руки верхнюю брошюру.

— «Вредители бахчевых культур и борьба с ними»... — медленно прочел он.

Все молча наблюдали за Голышевым. Он повертел брошюру, осмотрел ее со всех сторон. Ничего

особенного, брошюра как брошюра. Цена 15 копеек. Следующая книжка называлась «Выведение высокоурожайных сортов клубники».

Если это шутка, то что же все-таки она значит? Должен же быть в ней какой-то смысл?

Голышеву даже стало слегка не по себе, он растерянно вертел в руках еще одну брошюру — про минеральные удобрения. И все остальные тоже были так озадачены и даже смущены, что никто не смеялся, никто не решался острить, только ефрейтор Стручков сказал:

— Садовника из тебя задумала сделать, не иначе! Будешь выращивать для нас ягоды...

А Голышев все продолжал перебирать брошюры, словно еще надеялся разгадать секрет этой странной посылки, и вдруг в середине пачки, в самом центре ее, открылось квадратное отверстие — оно было вырезано специально, точно колодец, точно маленькая шахта в бумажной толще. В этой аккуратной шахточке лежал сверток.

Голышев торопливо схватил его, в следующий момент тонкая бумага зашелестела в его руках, и на солдатскую койку, тускло блеснув, упали золотые часы. Да что там часы! Тут же были еще золотые серьги, и золотая цепочка с медальоном, и золотое кольцо.

Это было так неожиданно, и не только неожиданно, а даже невероятно, что некоторое время Голышев не мог опомниться.

— Вот так да! — растерянно произнес кто-то у него над ухом. — Наследство, что ли?

— Дорогому внуку от любящей бабушки, — тут же подхватил Стручков.

— Да погоди ты! — прикрикнул Голышев.

— Смотри, вон там еще письмо какое-то, — сказал рядовой Фокин. Он каким-то образом уже успел отгнать всех и теперь оказался ближе остальных к посылке.

Голышев вынул из углубления листок тетрадной бумаги. Почерк был явно не бабушкин — торопливый, почти детский.

— «Толя, дорогой!» — прочитал он вслух и замолчал.

Какой Толя? При чем здесь Толя?

Лишь теперь он начал понимать, что произошла какая-то ошибка, какое-то недоразумение.

— Да читай! Читай! — в один голос торопили его.

— «Толя, дорогой!» — прочел он еще раз. — Обращаюсь к тебе с большой просьбой. Больше никогда уже ни о чем тебя просить не буду, выполни только эту мою последнюю просьбу. Толя, дорогой, у меня большая беда, если все откроется, мне не жить. Прошу тебя, продай в Ленинграде эти вещи и как можно скорее вышли деньги. Вышли до востребования, как всегда. Только сделай это быстрее. Если я не получу деньги до двадцать девятого, все раскроется, и я покончу с собой. Позора я не переживу. Прощай. Твоя Галя».

— Ну и ну! — сказал Фокин. — Дай-ка взглянуть на письмо!

— Да не лезь ты со своими руками! — рассердился Голышев.

— Сегодня-то у нас какое число?

— Сегодня семнадцатое.

Золотые часы, и золотые серьги, и золотой медальон, и золотое кольцо тускло поблескивали на темном байковом одеяле голышевской койки.

— Почти-ка еще раз... — сказал ефрейтор Стручков. — Прочти-ка еще раз...

Но в этот момент дневальный закричал:

— Рота! Строиться на вечернюю поверку!

И сразу же рядом с ними зазвучал голос командира отделения сержанта Бандуры:



— А это еще что за теплая компания? Живенько в строй!

Голышев поспешно сгреб часы, серьги, медальон и кольцо и вместе с письмом сунул их в карман брюк. И побежал в строй, на свое место.

3

Пока старшина делал перекличку, пока назначал внутренний наряд на следующие сутки, пока отчитывал провинившихся, Голышев старался сосредоточиться и понять: что же произошло? Ясно было одно: ему в руки попала чужая посылка. Вероятно, тот человек, которому она предназна-

чалась, по ошибке получил посылку бабы Али. Наверняка он давно уже спохватился, обнаружил свою оплошность, кинулся обратно на вокзал, метался по платформе в поисках его, Голышева. Даже если б ему и удалось отыскать состав, что ему могла сказать проводница?..

Да, этому человеку сейчас не позавидуешь! Может быть, он хоть додумался теперь оставить проводнице свой адрес — тогда все обстоит сравнительно просто, достаточно Голышеву только найти проводницу...

А может быть, он, этот парень, и не догадывается о содержимом посылки? Вполне возможно, что второпях, в отчаянии эта Галя могла отбить ему телеграмму: «Приходи к первому вагону, получи посылку», — и все, или что-нибудь в этом роде... Не

станет же она телеграфировать о золоте!.. И почему она даже не сообразила хоть фамилию написать на посылке? Или, может быть, нарочно этого не сделала? Чтобы не привлекать лишнего внимания к своему пакету? Она же специально постаралась, чтобы никому и в голову не могло прийти, что там что-то ценное — так, одни книжки... Она же все-все специально для этого придумала!..

А он, Голышев, тоже хорош! Как он-то сразу не сообразил, что бабушка с ее аккуратностью, с ее дотошностью обязательно бы вывела его фамилию на посылке аршинными буквами. Но постой-ка, постой... Как же тогда его посылка могла попасть в руки этому Толе, что он, слепой, что ли...

— Голышев, а вас команда «отбой» не касается? Или вы стоя спите?

Тут только он заметил, что все солдаты уже торопливо раздеваются возле своих табуреток, и тоже кинулся к койке.

...В эту ночь Голышев долго не мог уснуть — пожалуй, первый раз за всю свою службу. Да и попробовал бы кто другой спокойно уснуть на его месте! Голышев бы с интересом посмотрел на такого человека!

— Слышь, Димка, — шептал ему сосед справа, Гена Бойцовский. — А чего это она сама не могла загнать золотишко? Посылать-то его зачем было?

— Ну как зачем? — так же шепотом отвечал Голышев. — Светлогорск — это тебе не Ленинград, маленький городок. Попробуй продай там, завтра же всем все известно будет. А она этого больше всего боится...

— Дим, ты не спишь? — Через минуту шептал сосед слева. — А чего это у ней случилось, ты как думаешь?

— А правда, что могло случиться? — только теперь первый раз Голышев подумал об этом. — «У меня большая беда» — что могли значить эти слова?

— Не знаю, — сказал он. — Растрата, наверно... Чего еще...

— Слышь, Димка, — опять раздался шепот справа, — а сколько грошей за все эти штуки дадут, ты как думаешь?

— Кому это не спится в первом взводе? — Старшина роты остановился как раз напротив койки Голышева. — А то могу прописать хо-о-орошее средство от бессонницы!

«Знал бы он, что лежит в кармане брюк, тех самых брюк, которые ровненько, по всем солдатским правилам сложенные, покоятся сейчас на табуретке в двух шагах от него, небось, не спрашивал бы «чего не спится?», небось, у самого бы бессонница разыгралась...» Можно ручаться, никогда еще в казарме не было столько золота, сколько хранилось сегодня в кармане голышевских брюк...

Все-таки Голышев натянул одеяло на голову и попытался если не уснуть, то по крайней мере сделать вид, что спит.

Завтра, хочешь не хочешь, опять придется отпрашиваться в увольнение и разыскивать проводницу — ничего себе, веселенькая история! Да и придумать надо опять какую-нибудь причину для увольнения... Не рассказывать же правду — пожалуй, и не поверят. Да если и поверят... Ему вовсе не хотелось, чтобы об этом происшествии знало слишком много народу... И так наверняка кто-нибудь из пятерых не удержится, расстрезвонит. Ну, к тому времени, авось, все уладится...

Скоро Голышев и правда начал дремать, но всю ночь спал беспокойно, все просыпался, приподнимался на койке, все поглядывал на табуретку со своим обмундированием...

Утром он, как всегда, бегал вместе со всеми на зарядку, мылся, чистил сапоги, заправлял койку, и только один раз екнуло у него сердце — когда во время утреннего осмотра сержант Бандура остановился против него и особенно внимательно окинул его взглядом. А вдруг сейчас скажет: «Рядовой Голышев, покажите-ка, что это у вас в карманах?» Но ничего, все обошлось.

Когда рота вернулась с завтрака, дневальный прокричал:

— Голышев, тебе телеграмма!

Голышев торопливо раскрыл белый прямоугольник.

«Поезду не ходи. Посылку не выслала. Жди письма. Целую. Бабушка».

Вот еще новость!

Впрочем, это было вполне в ее духе. Она всегда легко меняла свои решения. Ей могло не понравиться лицо проводницы. Или задуманный сюрприз мог не удалиться. Или... Да мало ли что могло заставить ее отказаться от своей затеи!

Если бы только телеграмма не опоздала...

Но теперь эта телеграмма меняла все дело. Выходит, второй посылки не было вовсе. И значит... Значит, этот неизвестный Толя вчера просто не появился на вокзале. Или...

«Нет, — сказал себе Голышев. — Надо мыслить логически. А то я совсем запутаюсь. Итак, возможны три варианта. Первый: Толя, которому были адресованы письмо и посылка, опоздал, пришел на вокзал позже меня. Хотя это маловероятно, но все же могло быть. Вариант второй: Толя нет в Ленинграде, и он так и не узнал о посылке. И, наконец, вариант третий: этот парень просто не пожелал явиться. Ведь значили же что-то в ее письме эти слова, недаром же она их написала: «Больше никогда ни о чем тебя просить не буду...» Ну, а если это действительно так, что тогда делать? Делать-то, пожалуй, нечего...

Ладно, — сказал сам себе Голышев. — Не стоит паниковать раньше времени. Так или иначе, а надо поводить проводницу. Без нее все равно ничего не выяснится. А дальше... Дальше видно будет».

4

Большее всего в жизни не любил Голышев выступать в роли просителя. Он так и считал: что заслужил — само в руки придет, а упрашивать да вымаливать — нет, это не для него, этим пусть другие занимаются, если им нравится. И вот опять ему пришлось просить командира об увольнении. Хорошо, у сержанта Бандуры было добродушное настроение.

— Опять к бабушке? — спрашивает и смеется.

— Опять к бабушке, — отвечает Голышев и тоже смеется.

— Перед отпуском никак распрощаться не можете?

— Не можем...

Не признаваться же ему, что и в увольнение идти сегодня у Голышева нет ровным счетом никакого желания, да и смеяться ему вроде бы особенно не с чего. Одна только надежда: может, удастся сегодня по-быстрому разделаться с этой несчастной посылкой. Потому что ему и правда не мешало бы кое-кого повидать в Ленинграде и проститься перед отпуском кое с кем не мешало бы — здесь сержант был не так уж далек от истины, — и Голышев рассчитывал, что сегодня-то у него хватит времени и на это.

Только напрасно рассчитывал. Все его расчеты полетели кувирком.

До вокзала он добрался благополучно и быстро, а на вокзале начались неожиданности.

И как он сам-то не учел, не сообразил, что бригады проводников меняются! Да и сообразил бы — все равно, что ему еще оставалось делать?

Во всяком случае, когда он явился перед отправлением поезда к первому вагону, там вместо вчерашней проводницы распоряжался усатый дядька. К счастью, дядька этот оказался весьма общительным человеком: он-то и объяснил Голышеву, что нужная ему проводница — «фамилия ей будет Дятлова, звать Татьяна Тихоновна» — отправится в поездку только завтра.

Завтра! Хорошенькое дело — завтра! Не мог же Голышев набраться нахальства и еще завтра отпрашиваться в увольнение!

Наверно, у него был очень расстроенный и озабоченный вид, потому что усатый сказал участливо: — А ты, видать, от ее сына прибил?

Опять выручила Голышева солдатская форма. Он хотел было объяснить, что нет, не от сына, но усатый проводник и не ждал его ответа. Он, вероятно, был из тех людей, которые больше верят собственным домыслам и предположениям, чем словам собеседника.

— Не унывай, солдат, — сказал он. — Сейчас мы это дело устроим...

Он скрылся в вагоне, через некоторое время появился снова и сунул Голышеву клочок бумаги.

— Вот тут ее адресок записан. Ступай, она сейчас дома должна быть. Далековато, но ничего, доберешься. Солдат всюду доберется, верно я говорю?

— Верно. Доберусь. Спасибо вам.

— Да не за что. Который год-то служишь?

— Второй, — сказал Голышев.

— Ну, и хорошо. Я сам-то ровно десять годков день в день отслужил... Артиллерия — бог войны! — Он засмеялся, как закашлялся.

— До свидания, папаша, — сказал Голышев.

— До свидания, сынок. Счастливого тебе дослужить.

И опять пошagal Голышев по платформе, по той самой, по которой шел вчера со злополучной посылкой...

Жила Дятлова Татьяна Тихоновна, проводник пассажирского поезда № 43, и верно, далековато, почти на самой окраине, в новом районе, город сюда добрался, видно, совсем недавно — во всяком случае, остановка, на которой вылез Голышев из автобуса, называлась «Совхоз». Ехал до этого «Совхоза» он долго, почти полтора часа, да еще с полчаса проблуждал среди похожих друг на друга семизатяжных домов, так что, когда нашел наконец нужный корпус и нужную квартиру, время уже клонилось к вечеру.

Дверь ему открыла сама Дятлова. Он узнал ее сразу, а она его нет. В первый момент она, видимо, тоже решила, что он приехал от ее сына, и радостное оживление осветило ее лицо, но в следующую минуту она уже вспомнила Голышева. И теперь смотрела на него молча, вопросительно, даже сердито. Да Голышев и не ожидал, что она встретит его с распростертыми объятиями.

— Здравствуйте, — сказал он как можно вежливее. — Я вчера к вам, к поезду, за посылкой приходил, если помните...

— Ну, помню, — сурово ответила Дятлова.

— Так вот, понимаете, получилось небольшое недоразумение. Я зашел узнать: после меня вчера никто больше не спрашивал посылку из Светлогорска?

— Да кто ж мог спрашивать, если вы ее взяли! Никто и не спрашивал...

У Голышева сразу упало сердце. Все-таки он надеялся, что этот парень появился вчера на вокзале.

— Мне сказали: подойдет молодой человек, отдайте ему, я и отдала. Всегда так с этими посылками: уговорят, упрелят, свяжешься, и себе только на голову неприятности наживаешь! Сколько раз товарики мне внушали: не связывайся, Тихоновна, не положено это. А я, дура старая, все людей жалею. Жалею, а себе хуже делаю...

— Татьяна Тихоновна, — перебил ее Голышев, — а кто хоть отдавал вам эту посылку, вы не запомнили?

— Ну, женщина... Молоденькая вроде... Прибежала уже перед самым отправлением... Уж очень упорщиwała...

— Да как хоть она выглядела? Темная, светлая? Высокая, маленькая?

— Невысокая. И темная, кажется... Да нет, пожалуй, блондиночка... Их разве разберешь теперь — все на одно лицо...

— И больше ничего она не говорила, не помните?

— Да не знаю я ничего, говорю: не знаю и знать не хочу! — опять рассердилась Дятлова. — И спрашивать кто будет — так и скажу: никакой посылки я и в глаза не видела! Больше надо мне места своего лишаться!

Она совсем разнервничалась: видно, почувствовала, что за приходом Голышева кроется что-то неладное.

— Не знаю, больше ничего не знаю. Вы уж сами в своих делах там разбирайтесь... А меня не впутывайте...

Голышеву ничего не оставалось делать, как распрощаться. Ему было досадно, что он испортил человеку настроение, — теперь эта женщина еще долго не успокоится, будет нервничать, переживать и строить предположения одно страшнее другого...

Но главное — дело его не продвинулось ни на шаг. И по-прежнему никакой ясности. А если завтра ему оформят отпуск, как тогда быть? Как он поедет? А если тревога, да учения, да на несколько дней — тогда что? Он уже чувствовал свою ответственность перед этой неизвестной ему Галей. Завтра девятнадцатое. «Если я не получу деньги до двадцать девятого...» Он мог и не доставать из кармана письмо, мог и не перечитывать эти строки, он уже помнил их наизусть...

5

Итак, что же делать?

Этот вопрос на следующий день, в перерыве между занятиями, обсуждали все шестеро частных к тайне. Правда, рядового Фокина никто не приглашал, но уж черт с ним, пусть слушает, раз ему и так все уже известно. Может, и предложит что дельное. Хорошо по крайней мере, что он еще не разболтал их секрет всей роте. Когда слишком много советчиков, это уже совсем плохо.

Они, вся шестерка, сидели неподалеку от курилки, прямо на траве, возле забора, молча курили и думали.

— А что если попробовать отыскать этого парня? Или Галю эту самую? А?

— Интересно, как ты их отыщешь? Будешь ходить по Ленинграду и спрашивать: здравствуй, не вы ли Толя? Или письмо напишешь: на деревню, дедушке — Светлогорск, Гале?

— Ну, тогда доложить замполиту...

— А что замполит?

— Ну, пусть начальство само разбирается...

— Значит, мы не смогли, а они смогут? Думайте, товарищ замполит, раз мы ничего придумать не сумели...

Опять замолчали и молчали долго.

— Что ж,— сказал наконец ефрейтор Стручков,— тогда, по-моему, выход один остается: сдать всю эту муру в милицию. Там-то уж разберутся...

Пожалуй, ефрейтор Стручков сказал то, о чем давно уже думали они все, только никому не хотелось произносить эти слова первому. И Голышеву не хотелось верить, что это и правда единственный выход...

— Жаль девчонку,— сказал Голышев.— Она вон пишет: «Позора не переживу»,— а мы сразу в милицию. Может, и правда с собой покончит. А что у нее там случилось—еще неизвестно, может, и милиция тут ни при чем.

— Ну да, уж ни при чем! И с чего ты решил, что это девчонка? Может, баба, все огни и воды уже прошла, а ты жалеешь... «Девчо-онка»...

— А мне вот тоже кажется, что девчонка,— вставил свое слово сосед Голышева по койке справа, Гена Бойцовский.— Я, знаете, как-то в «Комсомольской правде» заметку читал—жулики в одном универмаге орудовали. А на девчонку-продавщицу потом все свалили, запутали ее, одним словом. Она и сама поверила, что виновата. Ну, скрывала от родителей, скрывала, а тут ревизия как раз, все всплыло. Она и отравилась. Хорошо, вовремя нашли ее, спасти успели...

— Да что вы все заладили: девчонка, девчонка, ах, какая беднякка!

— Ну, ладно, ну не девчонка, так обязательно, по-моему, воровка, что ли?

— А ты скажи, Голышев, у тебя золота много?

— Какого золота?

— Ну, золота, золота обыкновенного...

— У кого, у меня?

— Ну, конечно, у тебя, ты что, русский язык уже не понимаешь?

— Нет у меня никакого золота, с чего ты взял?

— А у твоей матери?

— Что у моей матери?

— Золота много?

— Да что ты прицепился? Откуда оно у нее? Кольцо, может, есть...

— А кем она работает?

— Учительница, ты же знаешь...

— Ну вот то-то и оно! Понял теперь, к чему я клоню?

— И все-таки,— сказал Голышев,— я не согласен. Поступить так легкомысленно—послать такую посылку, даже толком не зная, придут ли за ней,— мог только человек в очень сильном волнении. Когда уже плохо соображал, что делает... Или совсем неопытный человек. Жулик так бы не сделал...

— Ну да, а золото она догадалась припрятать, как настоящий контрабандист!

— Между прочим, я не знаю, как прячут золото контрабандисты,— уже начиная злиться, сказал Голышев.

— А я в кино видел! Один даже в каблук ботинка умудрился запрятать! А еще один...

— Ребята, ребята, давайте не отвлекаться! Так мы ничего не решим!

— Вот черт, ну и задачка!

— Парни,— вдруг сказал рядовой Фокин,— а может, это просто подарок Голышеву с неба свалился? Гроши-то ему в отпуске пригодятся!

Не понять было—шутит он или говорит серьезно. А может быть, он просто выжидал, как отнесутся к его словам, и тогда уже мог обратиться к этим словам, или в шутку, или всерьез. Но при этом смеялся он как-то уж очень странно—заискивающе, что ли, и нервно потирал руки.

— А то и поделить можно, я не против...

— А ну, мотай отсюда,— тихо сказал Голышев,— и чтобы духу твоего здесь не было!

— Уж и пошутить нельзя!— обиделся Фокин, но на всякий случай отошел подальше.

— Первый взвод!— раздалась команда.— Продолжить занятия!

Они поднялись и пошли к учебному корпусу, недовольные собой, недовольные друг другом, недовольные тем, что так и не смогли ничего придумать.

Только расселись по своим местам, только взяли за конспекты, а тут распахнулась дверь и запылавший дневальный ворвался в класс:

— Тревога! Товарищ лейтенант, тревога!

Тревога!

Вот и случилось то, чего опасался Голышев.

Начинались двухдневные учения, выезд в поле, и раньше бы он только обрадовался такому обороту дела.

Хоть и тяжело порой приходилось на учениях, на маневрах, на полевых занятиях, но Голышев всегда любил эти учения, потому что они вносили разнообразие в их размеренную, раз и навсегда определенную дневным распорядком жизнь.

Запах хвои и вянущей травы, небольшие костры, у которых собирались на недолгий перекур солдаты, походные кухни с их дымом, с поваром, орудующим черпаком на длинной ручке, жидкая пшенная каша в котелках—все это волновало Голышева и вдруг пробуждало в его душе какие-то неожиданные чувства, которых он даже слегка стыдился, как стыдится взрослый человек слез, неожиданно выступающих у него на глазах во время киносеанса, в темноте зрительного зала...

И сейчас, поначалу, в тревожной спешке, в мгновенной суматохе сборов, Голышев забыл на какое-то время о всех своих заботах и волнениях—и о необычной посылке и о письме неизвестной Гали—все отодвинулось, отошло на второй план.

Сначала они совершали марш на бронетранспортерах, потом бегом по бездорожью, с полной боевой выкладкой—полчаса, час, ложились, окапывались, снова поднимались, снова вперед—еще полчаса, час, все тяжелей давались теперь каждые сто метров, ползком по-пластунски, не поднимая головы, затем короткими перебежками, цепью...

Вот тут-то сверток в кармане брюк и дал себя знать!

Давно, когда Голышев служил еще без году неделю, когда был настоящим, форменным салажонком, настолько салажонком, что даже всерьез, яростно обижался на это прозвище, в то время его поразила, ему казалась бессмысленной придирчивость сержантов: кто дал им право определять, что носить ему в карманах, а что нет, кто дал им право осматривать каждую его пуговицу и распоряжаться, насколько затянуть ему ремень, и интересоваться чистотой его носового платка—детский сад здесь, что ли? Как будто рухнет боеготовность Советской Армии, если он, рядовой Голышев, забудет пришить оторванную пуговицу к противогазной сумке или не подгонит с точностью до миллиметра ремень автомата! Эта мелочная педантичность казалась ему признаком тупого служебного рвения, и только. По вечерам в курилке, когда не было поблизости командиров, он вместе с такими же, как и он, первогодками вдоволь издевался над этой «солдафонской бездумностью», верностью каждой букве инструкций и уставов, вознаграждая себя таким образом за

выговоры, замечания и наставления, которые приходилось ему выслушивать в течение дня.

Только уже потом, позже, когда во время изнурительного, десятикилометрового марш-броска по тридцатиградусной жаре он до крови натер себе шею грязным подворотничком, который поленился сменить накануне, он начал вдруг понимать, что в армии действуют свои законы и свои особые измерения. Подобно тому, как иные закономерности вступают в силу при больших скоростях. Так, птица не может причинить вреда медленно тянущейся по дороге телеге, но та же птица грозит гибелью скоростному самолету, столкнувшись с ним. Мелочь перестает быть мелочью.

Так и в армии, когда солдату приходится действовать на самом пределе сил, складка на портянке, оторванная пуговица, болтающийся автомат — каждый пустяк вдруг обретает свое значение. Работа на пределе человеческих возможностей диктует свои законы.

И сейчас маленький сверток в кармане бил по ноге, мешал Голышеву бежать.

Сначала это ощущение было едва заметным. Просто что-то непривычное. Что-то не так, как всегда.

Но чем дольше они бежали и ползли, чем больше выбивался из сил Голышев, тем острее, настоячнее раздражала его эта тяжесть в кармане.

Казалось, все дело было в нем, в этом крошечном свертке! Казалось, его вес разросся до нескольких килограммов.

Если бы он мог вышвырнуть этот сверток!

Голышев ясно, физически ощущал, какое облегчение он сразу бы почувствовал!

Стоило только сунуть руку в карман. Одно движение.

Если бы он мог это сделать!

Говорили, что на войне во время тяжких, долгих переходов молодые солдаты нередко выбрасывали противогазы. Когда Голышев первый раз услышал об этом, он поразился, не поверил. Как так? Выбросить противогаз и рисковать жизнью, остаться беззащитным перед газовой атакой? И все из-за каких-то лишних двух килограммов!

Теперь он, кажется, понимал этих солдат.

Только бы освободиться от лишнего груза!

Ни о чем другом он не мог думать.

Он еле удерживал себя, чтобы не протянуть руку к карману.

Задышавшись, механически переставляя ноги, он продолжал бежать вперед.

Команда «стой!» раздалась вовремя.

Уже отдышавшись, уже придя в себя, уже успокоившись, он сам не верил в то, что мог выбросить этот маленький сверток с золотом, казалось даже, что и мысль такая не могла прийти ему в голову...

...Потом, на другой день, были многочасовые, исполненные тщательности и долготерпения наблюдения за расположением «противника» и вылазка ночью за «языком». В темноте, на ощупь, через чахлые кусты, в обход по болоту — нелегкий пятикилометровый путь к точке, намеченной еще днем. «Язык» тащили втроем — в «языке» было никак не меньше восьмидесяти килограммов веса. «Язык», тряпичный манекен, набитый опилками, по прозвищу «Михайло», бессмысленно улыбался, глядя в черное небо. Давным-давно какой-то батальонный художник навел чернильным карандашом «Михайле» огромный рот и глаза-пуговицы, и с тех пор беспечная улыбка не сходила с лица манекена.

Тащить его тоже было не ахти какое удовольствие, но теперь уже азарт удачи подогревал Голышева, и

сознание собственной ловкости и выносливости придавало ему сил...

Эти два дня учений как-то успокоили или, может быть, попросту отвлекли его. Почему-то теперь его не оставляла уверенность, что стоит ему вернуться в казарму, и все выяснится, все разрешится. Навероятно в конце концов, если поразмыслить здраво, чтобы этот самый Толик, которому была адресована посылка, так до сих пор ничего и не узнал о ней и не предпринял уже каких-то встречных действий. Не сидит же он сложа руки! Наверняка какая-нибудь записка, какое-нибудь известие, проливающие свет на всю эту запутанную историю, ждут Голышева в казарме.

Учения уже остались позади, солдаты сворачивали палатки, снимали телефонные провода, готовились к отправке назад, домой, когда к их расположению подлетел маленький «газик».

Издали Голышев видел, что какой-то офицер вылез из «газика» и еще сержант с ним был тоже, кажется. Они разговаривали о чем-то с командиром роты, ходили по лагерю, поглядывали на работающих солдат.

Потом кто-то крикнул:

— Рядового Голышева к командиру! Го-олышев! И покатилося по лагерю:

— Го-олышев! Го-олышев!

Голышев побежал туда, где стоял «газик». Вот оно, сейчас все выяснится!

Командир роты смотрел на него смеющимися глазами.

— Собирайтесь, Голышев, поедете в часть. Догадываетесь, зачем?

— Да вроде догадываюсь... — нерешительно пробормотал Голышев.

Он вдруг сообразил, что теперь ему может крепко влететь за то, что он сразу не рассказал о странной посылке, не поставил в известность начальство. Ну, аллах с ним, лишь бы заканчивалась поскорей вся эта история...

— Догадываетесь? А что же бурного веселья не вижу? — продолжал командир роты. — В отпуск едете. Документы на вас в штабе уже оформляют. И поживей собирайтесь — товарищи по пути вас подбросят.

— В отпуск?! — только и сказал Голышев.

Вот и решилось все само собой, вот и не надо больше ломать голову... Теперь, и верно, остается один-единственный выход: доложить замполиту и передать ему посылку, и пусть там поступают с ней, как хотят... А он уже ни при чем... Конечно, они сдадут ее в милицию, что же еще делать...

Взяв автомат, и вещмешок, и свою скатку, он вернулся к «газику», и солдаты провожали его взглядами — счастливчика Голышева, отправляющегося в краткосрочный отпуск...

Капитан Смирдин, начальник строевой части, неторопливо откидывал костяшки на счетах.

Этот сухощавый, лысеющий человек привык все делать обстоятельно, не спеша, так что те, кому приходилось иметь с ним дело, невольно проникались ощущением значительности всего совершающегося в этом кабинете.

— Следовательно, даем тебе, Голышев, на дорогу трое суток. Это что у нас будет? Это у нас будет двадцать второе (с сухим щелчком отлетела одна

костяшка), двадцать третье (снова щелчок), двадцать четвертое (еще один щелчок)...

— Товарищ капитан... неуверенно сказал Голышев. — Я бы... — И остановился, оборвал себя на полуслове.

— Ну, в чем дело? Говори сразу, а то выпишу документ, ничего исправлять не стану. Ну, чего мнешься?

Еще не поздно было сказать: «Да ничего, товарищ капитан, я так...» Но Голышев проговорил:

— Я бы, товарищ капитан, сначала в Светлогорск хотел заехать... По пути...

Почему-то Голышеву казалось, что после этих слов все, кто был в комнате, бросят свою работу и с удивлением уставятся на него. Но даже капитан Смирдин и тот не поднял головы от бумаг, а только спросил:

— А кто у тебя там, в Светлогорске?

— Бабушка, — сказал Голышев.

— Бабушка?

— Так точно, товарищ капитан, бабушка.

Хорошо хоть, не было в эту минуту рядом сержанта Бандуры!

— Одна живет, что ли?

— Одна, товарищ капитан...

— Ну что ж, правильно. Стариков не надо забывать. Это я одобряю. Только насчет лишних суток на дорогу не надейся, не подброшу, не положено. Светлогорск, говоришь?

— Так точно, Светлогорск.

— Ладно, так и запишем. А теперь отсчитаем десять суток. Это что у нас будет? Это у нас будет: двадцать пятое, двадцать шестое, двадцать седьмое...

Голышев молча смотрел, как под пальцами капитана одна за другой отлетали костяшки счетов...

Ленинград же это в конце концов. Не такой уж гигантский город этот Светлогорск, чтобы не найти в нем человека, даже если известно об этом человеке совсем немного... Что-то ведь все-таки известно! Следователи вон, бывает, по какой-нибудь случайно оброненной спичке или по трамвайному билету не такие еще дела распутывают! Мало ли он читал подобных историй! Надо только уметь логически мыслить...

Ну, пятнадцать—двадцать магазинов в Светлогорске, с десятком столовых, наверно, пара ресторанов—где еще может иметь человек дело с деньгами?..

Так что кое-какие соображения насчет того, как искать Галю, у Голышева уже были, кое-что он уже придумал...

Правда, если честно признаться, еще и другие, совсем уже несерьезные мысли—не мысли даже, а мечты—посещали Голышева. Что ни говори, а первый раз в жизни настоящее, необычное приключение коснулось его, и Голышеву вовсе не хотелось расставаться с ним. В этих мечтах неизвестная Галя представлялась ему непременно очень симпатичной девушкой, даже красавицей, и, конечно, не виноватой ни в чем... И смотрела она на Голышева глазами, полными слез и благодарности... А он... Прямо хоть цветной кинофильм снимай—так все было красиво и трогательно в этих его мечтах...

Впрочем, подобные мысли приходили ему в голову позже, когда он уже ехал в поезде, когда с каждым промелькнувшим за окном километровым столбом все приближался и приближался к Светлогорску. А чего только не вообразишь, чего только не нафантажируешь под стук вагонных колес!..

9

8

Эта мысль пришла ему в голову еще в тот день, когда он возвращался на электричке из города после поездки к проводнице. И на другое утро, и когда он сидел на занятиях, и когда спорил с товарищами возле курилки, она не оставляла его. И даже на учениях она то и дело возникала в его мозгу. И чем дольше он думал о ней, тем осуществимей, тем реальней она казалась.

Уж больно не хотелось ему передавать посылку и письмо в милицию—жалко было эту девчонку, эту неизвестную Галю. Ждет ведь уже, наверно, бежит на почту. А тут—бац!—милиция! В милиции ведь тоже разные люди...

Почему-то он все-таки твердо был уверен, что девчонка она, девчонка, по неопытности попавшая в какую-то неприятную историю. Рассказывал же Бойцовский, даже в «Комсомолке» подобный случай описывали. А золото... Ну что ж, золото... Мало ли откуда у нее могли быть эти вещи—не такое уж колоссальное богатство, не самородки же в конце концов... И раз уж эта посылка и это письмо попали ему в руки, то кто же, как не он, должен был теперь прийти ей на выручку? Он чувствовал себя, словно капитан корабля, принявшего сигнал бедствия,—кто бы там ни тонул, а спешить надо. Разве в таких случаях колеблются? Не очень-то хотелось ему терять и без того считанные дни отпуска, но что делать? Попробуй уклонись, потом, пожалуй, всю жизнь совесть будет мучить...

И чем больше он размышлял, тем проще представлялось ему отыскать в Светлогорске эту Галю. Не

Как-никак, а Голышев был солдатом, военным человеком и потому прежде всего считал необходимым составить четкий план предстоящей операции. Кроме того, в его распоряжении было слишком мало времени, чтобы позволить себе роскошь действовать бессистемно.

Поначалу Голышева немного беспокоило, как объяснить бабе Але свое неожиданное появление в Светлогорске. Он не сомневался, что она с недоверием отнесется к его столь внезапно возникшему желанию повидать свою бабушку и заподозрит что-то не то и начнет доискиваться истины. А уж если баба Аля с ее характером вмешается в эту историю,—тут уж трудно предугадать, что может произойти...

Но все его опасения оказались напрасными. Бабушка так легко, с такой радостной готовностью поверила, будто Голышев приехал только с единственной целью—навестить ее, что ему стало стыдно и больно оттого, что он не сделал этого раньше, еще до армии... И оттого, что теперь ему невольно приходилось обманывать ее... Хорошо еще, что Голышеву надо было идти отмечаться в комендатуру и не пришлось придумывать, почему это в первый же день ему уже не сидится дома...

План его действий пока занимал всего две странички в записной книжке. На одной странице было крупно написано:

ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО:

И помельче:

1. Имя—Галя.
2. Цвет волос—вероятно, блондинка (?).
3. Рост—невысокая.

4. Срочно (до двадцать девятого сентября) нужно дается в крупной сумме денег.

5. Причина (предположительно) — растрата, недостача.

Немного подумав, Голышев добавил еще:

6. Особые приметы — на ушах следы от сережек.

7. Имеет в Ленинграде знакомого Толю.

На следующей странице Голышев вывел:

ОБЪЕКТЫ ПОИСКА:

а) Магазины, столовые, буфеты и т. п. (в первую очередь).

б) Ателье, парикмахерские и т. д. (во вторую очередь).

Сначала самым разумным ему казалось действовать с помощью телефона. Идея была проста: он обзванивает все магазины, берет на заметку те, где окажется Галя, и затем обходит их.

Но первая же попытка получилась неудачной. Из автомата он набрал номер магазина и, когда женский голос ответил: «Вас слушают», — сказал необычайно вежливым голосом:

— Будьте добры, нельзя ли позвать к телефону Галю?

— Какую Галю?

Этого вопроса он не предвидел. Что он мог ответить? Он пробормотал довольно глупо:

— Ну, Галю...

— Молодой человек, — назидательно ответила трубка, — сначала разберитесь, кто вам нужен, а потом звоните.

И все. И привет. Разговор закончен.

Ну что ж, видно, придется самому обходить все магазины. Ничего, солдату не привыкать топать. На время Голышев даже словно забыл о главной цели своего приезда в Светлогорск: казалось, только чисто спортивный азарт теперь владел им: удастся — не удастся, выйдет — не выйдет...

Светлогорск был обычным новым городом, похожим на все новые города, — с центральной улицей, прямой и бесконечно длинной, с круглой центральной площадью, окаймленной зданиями горкома и горисполкома, с пятиэтажными домами из светлого кирпича и молоденькими деревьями вдоль улиц. Сейчас тротуары были щедро усыпаны желтыми листьями, но тепло и солнечно было совсем не по-осеннему.

Голышев вышагивал в своих кирзовых сапогах по центральной улице и рассматривал вывески.

«Часовая мастерская»,

«Парикмахерская»,

«Кинотеатр «Сатурн»,

Универмаг «Все для женщин»...

Ну что ж, для женщин, так для женщин... Не все ли равно, с чего начинать?

Голышев толкнул тяжелую дверь и вошел в магазин. На минуту он остановился в нерешительности посреди зала, осматриваясь, отыскивая взглядом, где поменьше народу, куда лучше подойти. Ага, вот, кажется, то, что нужно... В отделе верхней одежды, возле сиротливо висящих нескольких женских пальто, скучала молоденькая продавщица — ее глаза, подведенные тушью, смотрели лениво, даже сонно. Голышев уверенно направился к ней.

— Девушка, скажите, у вас здесь Галя не работает?

Она скользнула по нему взглядом без всякого интереса. Голышеву даже обидно стало. Могла бы и повнимательнее посмотреть на него. Не такой уж невзрачный он парень. Ответила равнодушно:

— Это Чижова, что ли? В галантерею.

В другой раз он наверняка сумел бы расшевелить эту спящую красавицу — подумаешь тоже! Воображает о себе! Но сейчас ему было не до этого. Он

торопился. Вперед, вперед и только вперед — в галантерейный!

Галя Чижова оказалась рослой и худой, темноволосой девицей. И часы на руке. И веселая. Отпускает что-то покупательницам и смеется. Переговаривается через их головы с продавщицами напротив. Нет, не она. Той, е-е-е Гале вряд ли сейчас до смеха. Нет, не она. И все-таки, уже уходя, Голышев еще раз оглянулся. Нет, не она. Точно не она.

Ничего, главное — не унывать. Мы еще повоюем. Мы еще покажем себя. Кто ищет, тот всегда найдет. Терпение и труд все перетрут. Вперед и только вперед!

Первая попытка даже ободрила его: вон как несложно оказалось узнать, есть ли в магазине Галя.

Что там теперь на очереди? Булочная? Прекрасно, найдем в булочную!..

...— Простите, у вас не работает Галя?

— Я сама Галя, а что?

— Понимаете... — Голышев замаялся. Он не был готов к такому повороту. Пришлось импровизировать на ходу. — Понимаете, один мой приятель из Ленинграда просил разыскать здесь его знакомую — Галю. А записку с фамилией и ее адресом я потерял. Знаю только, что она работает в магазине...

— А ваш приятель симпатичный?

— Симпатичный. Вылитый я.

— Ну, тогда годится...

Нет, не она.

...— Простите, у вас Галя не работает?

— Галя? Так она сегодня выходная...

Что ж, запомним, найдем завтра.

...— Простите...

— Галя? А вам зачем?

— Нужно.

— А Таня не подходит?

— Нет, Таня не подходит. В другой раз.

— Тогда нет у нас Гали.

...— Простите...

— Галя? Какая еще Галя? Молодой человек, не мешайте работать! Видите — народ стоит!

— Так мне только спросить!

— Всем только спросить! Становитесь в очередь!

— Нету, нету у нас никакой Гали...

...— Простите, у вас в магазине не работает Галя?

— Какая Галя? У нас их две. Из колбасного? Или кассирша? Вон справа...

Ну вот, вроде уже похоже. Как в детской игре: холодно — горячей — еще горячей — горячо!

Кассиршей была маленькая круглолицая блондинка. Несколько минут Голышев, стоя чуть поодаль, наблюдал за ней. Она была крашеная, и то ли некогда ей было следить за собой, то ли незачем, во всяком случае, сверху ее волосы были совсем светлые, соломенные, а сквозь них уже проглядывали свои — темно-каштановые. И одета она была небрежно: кофточка на груди заколота булавкой. И раздражалась все время. То и дело у кассы вспыхивали короткие перепалки.

Голышев вдруг почувствовал, что волнуется. Он выждал, когда у кассы никого не осталось, и подошел, наклонился к окошечку.

— Понимаете...

Он опять повторил свои объяснения насчет приятеля из Ленинграда, а сам следил за выражением ее

лица. Кассирша молча выслушала его. За спиной Голышева уже выстроилась небольшая очередь.

— Знаешь что, солдат,— неожиданно сказала кассирша,— если хочешь познакомиться с девушкой, так прямо и скажи. И не к чему заливать про ленинградских приятелей. Понял?

— Извините...— пробормотал Голышев.

— Ничего. Бывает. Кто там следующий? Платите.

Что ж, он заранее должен был быть готов к этому — и к грубости и к насмешке,— раз взялся за такое дело. И все-таки, кажется, он был слишком оптимистично настроен, когда уверял себя, что уложится дня в два, не больше...

К вечеру он вернулся домой, усталый и недовольный собой. С порога он чуть не сказал бабушке: «Простите, у вас тут не работает Галя?» Еще один такой день, и он превратится в автомат, умеющий произносить лишь одну-единственную эту фразу!

Бабушка, конечно, заметила его озабоченность, но ничего не сказала, только вздохнула.

По коридору, по комнате плавал запах сдобы, запах ванили и корицы — тот самый запах, который Голышев помнил еще с детства, запах, который всегда говорил ему о наступлении праздника. Он вдруг снова почувствовал себя маленьким мальчиком, с нетерпением ожидающим бабушкин праздничный сюрприз. Странно, но именно запахи, как ничто другое, способны пробудить в человеке давние и, казалось бы, прочно забытые ощущения, способны хоть ненадолго вернуть человека в прошлое...

— Я ведь тогда хотела послать тебе твой любимый пирог, хотела, чтобы и товарищи твои попробовали,— приговаривала бабушка и одновременно накрывала на стол.— Кто еще вас побалует, правда? А он, пирог этот, не выпекся, так обидно было... Расстроилась я тогда чуть не до слез. Ну, ничего, оказывается, что ни делается, делается к лучшему... Если пирог не идет к Магомету, Магомет идет к пирогу...

Голышев засмеялся и поцеловал бабушку в теплую, мягкую, морщинистую щеку...

10

Уже к концу третьего дня Голышев начал чувствовать всю бесполезность и нелепость своей затеи, хотя даже сам себе еще не хотел признаваться в этом. Отпуск его горел тихим пламенем — теперь это было яснее ясного.

Светлогорск оказался куда больше, чем он предполагал. И чем меньше оставалось магазинов и столовых, в которых он еще не побывал, тем быстрее исчезала у Голышева надежда отыскать эту неизвестную Галю. Правда, кое-чему он уже научился. Он уже усвоил, что лучше всего с расспросами обращаться к пожилым женщинам: они и словоохотливей, и осведомленнее, и в то же время к солдату всегда относятся с участием. Он рассказывал им свою уже заученную историю о ленинградском приятеле, поручившем ему разыскать знакомую Галю, и о потерянном адресе, и они тут же принимались припоминать всех известных им девушек, носивших это имя. Они, эти женщины, были полны сочувствия и желания помочь ему, и щедро осыпали его своими советами, и принимались объяснять, к кому и куда ему еще следует обратиться:

— А в молочном не были на Советской? Там вроде бы Галя работает... Или Таня?.. Нет, вроде Галя...

— Ты бы, сынок, зашел в булочную напротив, там уборщицей тетя Соня, она, поди, лет двадцать работает, всех вокруг знает...

— Тут была у нас одна Галя, да с полгода назад ушла в военторг — может, она и есть знакомая твоего приятеля?..

И Голышев шел в молочный на Советскую и в булочную, к уборщице тете Соне, шел, следуя советам, словно держась за кончик разматывающегося клубка, но клубок этот становился все меньше и меньше, а Галя по-прежнему не отыскивалась... Порой, когда он заходил в какой-нибудь очередной магазин, он ловил на себе любопытные, а то и насмешливые взгляды,— может быть, это ему просто чудилось, а может быть, по городу уже расползся слух о странном солдате, ищущем какую-то Галю...

И почему это он вбил себе в голову, что она обязательно должна работать в магазине или столовой? А кассы учреждений? А базы и склады? А заводские столовые, куда ему было не попасть без пропуска? А всякие снабженческие организации? Да как он не учел всего этого! Затеял, как мальчишка, игру в Шерлока Холмса!

Еще одна забота была у него — прятать от бабушки это несчастное золото, чтобы она вдруг случайно не обнаружила его. Утром, когда Голышев еще лежал в постели, бабушка внезапно вознамерилась гладить его брюки — он едва успел выхватить их у нее из рук. Вообще он убедился, что совсем не умеет скрывать что-то и обманывать тоже не умеет. Просто он не привык к этому — не было у него никогда такой необходимости. У них в семье и мать, и отец, и они, дети, всегда были открытостью друг с другом, так что теперь он все время чувствовал себя не в своей тарелке. И бабушка, конечно, давно уже догадывалась, что с ним творится что-то неладное. Когда он возвращался вечером, усталый, в пыльных сапогах и напрасно старался изобразить на лице беззаботность, она говорила:

— И что ты, Димочка, все ходишь и ходишь... Ни минуты не посидишь спокойно...

— В тебя, баба Аля, уродился,— усмехаясь, отвечал Голышев.— А вообще город посмотреть хочется...

— Да что у нас смотреть-то?

Он все ждал, когда она спросит: что же ты не едешь домой, мать-то ведь заждалась, наверно?.. Что он тогда ответит?

Хорошо еще, что бабушка быстро отвлекалась — каждый день ее был заполнен многочисленными, по-своему значительными происшествиями, которые волновали ее и о которых она с горячностью торопилась рассказать Голышеву.

— Сегодня еду с базара, женщины в автобусе заспорили о детях, о воспитании. Одна, такая расфуфыренная, говорит: «Нас родители били, вот мы и росли послушными, а теперь их, видишь ли, пальцем не тронь! Нет, я лично своего парня чуть что — ремешком, так он мне слова против никогда не скажет. Все мамочка да мамочка... Соседи на него не нахвалятся...» Я не выдержала, вмешалась. «Да как,— говорю,— у вас совести хватает на ребенка руку поднимать! Он же вас сейчас слушается, потому что боится! А вот посмотрите, что лет через пять будет! Запугать ребенка проще простого, а вы его убедить, уговорить, лаской взять попробуйте!» «Убедишь их, как же! Вот потому теперь и молодежь такая пошла, что били их мало. Нас ремнем убеждали, и ничего, выросли не хуже других...» «Оно и видно»,— говорю. А она мне: «Ты, бабуся,— так нагло улыбаешься,— ты, бабуся,— говорит,— наверно, никогда своих детей не имела, потому так и рассуждаешь...» Это я-то не имела! Это я-то!

Голышев слушал ее вполуха, а сам думал о своем. Нет, все-таки, если рассуждать логически, он должен

был быть прав. Девять из десяти, что эта Галя все-таки должна работать в магазине или столовой. В чем-то он, наверно, ошибся, но в чем?..

Бабушка все продолжала говорить и все с той же горячностью о своих маленьких победах и поражениях, и одна ее фраза вдруг заставила Голышева насторожиться:

— Бывало, придешь в магазин — Галочка всегда такая вежливая и чистенькая такая, одно удовольствие посмотреть. И чтобы обмануть там или обвести — никогда такого не было, ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь на нее жаловался. А теперь поставили на ее место какую-то грубиянку. Сегодня прошу свесить сто граммов масла, а она...

— Баба Аля, — спросил Голышев, — это что за Галочку ты расхваливаешь?

— Да продавщица была в нашем магазине...

— Ну и куда же она делась?

— Не угодила, видно, кому-то. Какие-то неприятности, говорят, у нее вышли, с директором, что ли, повздорила. Ну, он и прицепился к ней. Говорят, она даже заболела из-за этого. Ну, девушка же еще совсем. Конечно, переживает...

— И давно это было? — Голышев даже замер весь в ожидании ответа. Он уже и не старался скрыть свое нетерпение, свою заинтересованность.

— Да недавно совсем... Недели две, что ли... Я еще пошла за яйцами, дай, думаю, пятачек яиц куплю, пирог как раз тебе печь собиралась...

Черт возьми! Все совпадало! Неужели пока он носился по городу, пока ступал подметки, разгадка лежала у него под носом? А что — так всегда и бывает. Как-то он даже не удосужился до сих пор зайти в этот магазин по соседству с бабушкиным домом, все оставлял напоследок... И главное — Галочка эта, если судить по рассказам бабушки, была в точности такой, какой представлялась Голышеву!

Теперь он всячески торопил время, он с нетерпением ждал завтрашнего дня. В том, что ему не составит особого труда разузнать в магазине адрес Галочки, он не сомневался. Он знал, что солдатская форма выручит его и на этот раз. Только бы поскорее наступало завтрашнее утро!

II

Он отыскал маленький домик в старой части города — тихой и зеленой. Домик был таким уютным, почти игрушечным, что казалось, под его крышей непременно должны жить счастливые, добрые люди. Казалось, что все неурядицы, волнения и тревоги должны миновать этот домик, крытый красным кровельным железом.

Голышев в нерешительности остановился возле калитки, повторяя про себя те слова, которые ему сейчас предстояло произнести, и тут заметил, что за ним уже наблюдают. За забором стояла пожилая женщина и внимательно смотрела на него.

Вот этого Голышев как-то не предусмотрел, — не учел, что, прежде чем встретиться с самой Галей, ему, возможно, придется еще объясняться с ее родителями. Но отступать было уже поздно. Он спросил громко:

— Скажите, пожалуйста, Галя дома?

— Нету Гали. Да что же вы стоите там? Проходите в дом...

— Да я... — замялся Голышев. Ему вовсе не хотелось, чтобы начались расспросы, кто он да зачем он. И ему опять придется что-то придумывать и изворачиваться. Чужая ложь влекла за собой необхо-

димость лгать самому. Ему уже это надоело, ему уже было это в тягость.

— Проходите, проходите, не стесняйтесь... Галя сейчас вернется... — приветливо говорила женщина, и Голышеву ничего не оставалось, как послушно шагнуть за калитку.

— Я, собственно, только на минутку, — как бы оправдываясь, проговорил он, — у меня тут небольшое поручение...

...Галина мать была откровенна и разговорчива, и через полчаса Голышев уже знал, что Галя не поладила с завмагом, что тот сказал ей грубость, оскорбил ее, что Галя обиделась, расстроилась до слез и не хочет простить заведующему этой грубости.

— Галочка в семье у нас грубого слова никогда не слышала. На работу, поверите, каждый день, как на праздник, ходила. И вот на тебе... И, главное, еще говорят: подумай, цаца выискалась, это тебе не у папы с мамой. Завмаг говорит: стану я перед каждой девчонкой извиняться... И не понимает, что для девочки это настоящее потрясение...

Голышев сочувственно слушал ее и смотрел на ее руки с набухшими, синевато выступающими под кожей венами, с потемневшими от домашней работы пальцами... Эта женщина чем-то напоминала ему его мать. Она была открыта и доверчива — это чувствовалось сразу, с первого взгляда — и, конечно же, ни на минуту не сомневалась, что на самом деле все обстоит именно так, как рассказала ей ее дочь. Голышев угадывал в ней ту же радостную готовность верить в хорошее, какая была у его бабушки, бабы Али.

«Просто, наверно, истинная любовь всегда доверчива...» — неожиданно подумал он.

И снова ему стало горько и неловко за свою причастность к обману — горько оттого, что он знал о ее дочери нечто такое, о чем она даже не догадывалась. Слово это его вина была в том, что он явился сюда, чтобы нарушить покой и веру этой женщины в свою дочь...

Интересно, как Галя объяснила матери исчезновение часов? И сережек? Вряд ли ей удалось это скрыть. Впрочем, что бы она ни сказала, что бы ни придумала в свое оправдание, мать, наверно, все равно поверила бы ей...

— А вы сами где служите? — Ее вопрос отвлек Голышева от своих мыслей.

— Под Ленинградом...

— Красивый город... В прошлом году Галя туда ездила на экскурсию с подругами, так потом целый месяц не могла успокоиться, все рассказывала... «Так вот когда, видно, появился этот Толя!» — подумал Голышев.

— Очень уж ей Ленинград понравился. Теперь только и мечтает, как бы еще съездить... А вот, кстати, и она сама!

Голышев услышал легкие шаги, раздавшиеся за дверью, потом дверь распахнулась, и он увидел худенькую, хрупкую девушку — и правда, совсем еще девочку — светловолосую, стриженную под мальчишку.

Несколько секунд она и Голышев молча смотрели друг на друга. У нее было бледное, совсем не тронутое загаром лицо и большие настороженные глаза.

— Галя, это к тебе гость, — сказала мать.

Галя протянула руку, все еще настороженно приглядываясь к Голышеву.

— Галя...

— Дмитрий...

Черт побери, опять он оказался в довольно нелепом положении. Не мог же он заводить разговор

о своем деле при Галиной матери. И молчать тоже не мог!

Чтобы оттянуть время, он принялся рассказывать, как ему удалось узнать в магазине Галин адрес. Но не мог же он рассказывать об этом без конца! Хотя бы Галя сама сообразила прийти ему на помощь. Но она, кажется, и не догадывалась о цели его прихода.

Выручила Голышева Галина мать. Она, видно, почувствовала его скованность, его замешательство и, столкнував это по-своему, заторопилась из комнаты.

Как только она вышла, Голышев спросил:

— Галя, вы знаете в Ленинграде Толю?

Он произнес эту фразу негромко и быстро, как пароль.

— Толю? Какого Толю? — В ее голосе звучало удивление. Если она и притворялась, то делала это очень умело.

— И вы ни о чем не писали, ни о чем не просили?

— Я?

— И сейчас ничего не ждете из Ленинграда?

— Я? Из Ленинграда?

Ничего, кроме любопытства и удивления, не отразилось у нее на лице, да еще, пожалуй, разочарование мелькнуло в глазах — оттого, что она уже догадалась: произошла какая-то ошибка, этот человек искал вовсе не ее.

И сам Голышев тоже уже понял: это не она. Еще каких-нибудь четверть часа назад он так был убежден, так уверил самого себя, что отыскал нужную ему Галю, что теперь сразу ощутил усталость. Выходит, все опять надо было начинать сначала... Он снова был так же далек от своей цели, как и в день приезда в Светлогорск...

А Галя, уже сердясь, смотрела на него своими большими настороженными глазами.

— Да расскажите же вы, в чем дело! Так ведь нечестно! — добавила она совсем по-детски.

И Голышеву внезапно захотелось рассказать ей обо всем — о посылке, о письме, о своих бесполезных поисках. Сколько же можно было тащить этот груз одному! Она поймет его.

Голышев еле сдержал себя. В конце концов это была не его, а чужая тайна, и не вправе был он распорядиться ею. Да и чем могла эта девочка помочь ему?

— А-а... Так, чепуха, — отмахнулся он.

В это время в комнату вернулась Галина мать.

— Ну что, насекретничались?

Она ласково смотрела на Галю, и Голышев вдруг неожиданно для себя испытал радостное облегчение оттого, что его предположения не оправдались, оттого, что между этими двумя людьми и верно не было лжи, и потому его приход ничего не изменил и не нарушил в этом доме...

Он несколько раз торопливо извинился, прощаясь.

Галя все еще сердилась на него:

— Так нечестно! Нечестно!

Он засмеялся. Он подумал, что, когда вся эта история кончится, он обязательно напишет Гале письмо. Непременно напишет. Ему стало весело от этой мысли. Первые строки письма уже складывались в его голове, пока он шел по улице:

«Галя, может быть, вы еще помните человека, который однажды по ошибке забрел в ваш дом. Так вот, теперь я думаю, может быть, это вовсе не ошибка была, а рука провидения, как говорили в старину...»

Но тут Голышев спохватился, что радоваться ему пока совершенно нечему. И беспокойство опять овладело им.

В этот день он зашел еще в три магазина, оставшихся у него на примете, и сделал это скорее машинально, по инерции, чем надеясь на успех, — ни-

какой уверенности в том, что ему удастся найти таинственную Галю, у него уже не было.

Вечером баба Аля, отрывая листок календаря, сказала:

— Вот и еще одного денечка как не бывало...

И хотя она произносила эту фразу почти каждый вечер, когда протягивала руку к календарю, сейчас Голышеву показалось, что сегодня эти слова были предназначены именно ему.

Наступало 28 сентября.

12

Утром за чаем Голышев раскрыл местную газету и в конце, на последней странице, над объявлениями о том, что идет в кинотеатрах, прочел маленькую заметку:

«Суд над расхитителями».

Вчера в городском суде начался процесс над группой расхитителей, долгое время орудовавших на трикотажной фабрике. Как установлено следствием, преступники расхитили государственное имущество на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. На скамье подсудимых — бывший заместитель директора по снабжению Свицерский В. А., бывший товаровед Кисельникова М. Л., бывший бухгалтер Коровина Г. И....»

«Г. И....» повторил про себя Голышев. — Г. И....»

Вот, пожалуй, и разгадка и конец его поискам. Выходит, правы были те, кто говорил, что за всем этим кроется обычное уголовное дело. А он спорил, он не хотел верить...

«Коровина...» — прочел он еще раз. — Коровина Г. И....»

И тут же отбросил газету. Как он не сообразил сразу — ведь на следствие нужно было время, и не неделя, не месяц, так что эта Коровина никак не могла быть той Галей, которая отправляла посылку и которую искал он.

Голышев пил чай — спокойно, как ни в чем не бывало — отпускной солдат, которому некуда и незачем торопиться, а между тем беспокойство и страх все сильнее охватывали его.

Как младенец, как самый последний дурак, затеял он эту игру в сыщики! Теперь-то он понимал, как легкомысленно, как безрассудно он поступил! Приключений ему захотелось!

Он вдруг очень ясно представил себе, как расплывется завтра по городу слух, что какая-то девушка покончила самоубийством — такие слухи не задерживаются! — и бабушка за обедом или за ужином расскажет ему об этом, и будет переживать, и расстраиваться, и не узнает, что это он, Голышев, повинен в смерти человека... Он сам, сам взвалил на себя ответственность за чужую жизнь, сам сделал это, никто не заставлял его... И как он посмотрит теперь в глаза своим товарищам, когда вернется!.. Если бы только он мог предположить, что так получится!

Что же теперь делать?

Он не знал.

Бежать в милицию? «А где же вы, дорогой товарищ, — скажут ему, — были раньше?»

Попробовать обратиться на радио? Но там же придется все объяснять, рассказывать... Да и кто согласится дать такое объявление: мол, разыскивается человек, ожидающий деньги из Ленинграда?..

Деньги из Ленинграда... Деньги из Ленинграда... Постой, постой... Как он не подумал об этом раньше?

Если поставить себя на место этой Гали... И завтра истекает последний, крайний срок... Ну, что бы он

сегодня стал делать? Это же ясно, как дважды два! Он бы каждую минуту бегал на почту и справлялся, нет ли ему перевода!

Девяносто девять из ста, что перевод этот должен прийти на главпочту — куда же еще? Если рассуждать логически... Но опять оставался этот один проклятый процент, эта одна-единственная возможность, которая могла все разрушить...

И все-таки надежда вернулась к нему. По крайней мере он снова мог действовать.

Голышев побежал на почту.

13

На почте в эти утренние часы было совсем немного народу, и Голышеву еще предстояло подумать над тем, как не привлечь к себе внимания и в то же время держать под постоянным наблюдением окошечко с надписью: «Выдача корреспонденции до востребования». Чему-чему, а терпению, выдержке и умению наблюдать он неплохо научился в армии во время караульных ночей и тактических учений, когда ему случалось ходить в разведку.

Сначала Голышев сел за стол, обильно заляпанный чернилами, и положил перед собой лист бумаги, словно намереваясь писать письмо, а сам искоса все поглядывал на девушку, сидящую за стеклянной перегородкой, прислушиваясь, о чем спрашивают ее редкие посетители.

Но сколько же он мог просидеть так? Полчаса, час?.. Не больше. А потом?

Нет, надо было придумывать что-то другое.

А если... Кажется, неплохая мысль!

Он подошел к окошечку и, протянув свою солдатскую книжку, осведомился, нет ли на его имя телеграфного перевода.

— Нет, Голышеву ничего нет. — Девушка с сожалением покачала головой.

— А ведь еще позавчера должны были выслать! — вздохнул он.

— Ну, значит, вот-вот придут ваши деньги, никуда не денутся...

Именно этот ответ ему и был нужен!

— Тогда я, пожалуй, подожду, — сказал Голышев.

— Ждите, если у вас есть время...

Теперь его присутствие здесь и даже его усиленное внимание к окошечку «До востребования» было вполне оправданно. Человек мается без денег, человек томится в ожидании перевода — что тут удивительного?

Теперь он мог сидеть здесь сколько угодно под аккуратно развешенными по стене образцами телеграмм: «Диплом защитил отлично скоро возвращаюсь домой», «Выезжаю детьми двадцатого целую» — этими почтовыми эталонами человеческого счастья и благополучия, выведенными каллиграфическим почерком, — сидеть и внимательно вглядываться в лица входящих людей.

Голышев был уверен: если войдет она, он узнает ее немедленно. Не может не узнать. Должно же быть в выражении ее лица, в движениях что-то такое, что выдаст ее волнение, и страх, и нетерпеливое ожидание, и надежду и сразу отличит ее от остальных людей.

И все-таки каждый раз, когда к окошечку «До востребования» склонялась молодая женщина, он весь настораживался. Два раза он даже вскакивал со своего стула, и догонял девушек уже у выхода, и вежливо спрашивал:

— Простите, вы не из Ленинграда перевод ждете?



На него смотрели удивленно, даже неприязненно.
— Нет, с чего вы решили?

Он бормотал извинения и возвращался на свое место.

Он чувствовал, как на него все чаще поглядывает девушка из-за стеклянной перегородки. Наверное, он и правда производил странное впечатление. Он слышал, как девушка крикнула кому-то в глубину помещения:

— Клара, проверь-ка, не пришел перевод на имя Голышева? А то солдат тут совсем извелся!

В ее голосе слышалась усмешка. Самое время было сейчас подойти к ней и пошутить, непринужденно поболтать о чем-нибудь. Но у Голышева сегодня уже не оставалось ни желания, ни сил на это. Напряжение последних дней измотало его.

Он все беспокойнее вглядывался в лица входящих, все тщательнее вслушивался в короткие чужие разговоры...

Вот появилась стареющая дама, подвижная, нервная, в шляпке, украшенной искусственными цветами. Пожаловалась, что у нее пропало письмо.

— И какое письмо — вы только воображаете! На восьми листах! Как мне жаль этого письма!

— Откуда же вы знаете, что оно было на восьми листах, если оно пропало?

— Боже мой, так я уже встретила человека, с которым мы переписываемся! Он живет здесь же, в Светлогорске.

— Переписываетесь с человеком, который живет здесь? — искренне изумилась девушка за стеклянной перегородкой.

— Ну, разумеется, вам, молодым, этого не понять! А мы переписываемся уже восемь лет. Мы делимся с этим человеком своими мыслями, переживаниями. Ах, как жаль мне этого письма!

— Вы, что же, подозреваете почтальона?

— Упаси боже! Упаси боже! Мало ли любопытных соседей у нас в квартире! Я хочу попросить, чтобы письма вручали только мне лично, прямо в руки...

Уплыла шляпка с искусственными цветами, а у окошечка на ее месте уже другая — молодая, крепко сбитая женщина.

— Не желаю я получать эти деньги! И держать да же в руках этот перевод не хочу! Отправьте его обратно к лешему!

Она говорит весело, громко, на всю почту, и женщины, почтовые служащие, сразу отрываются от работы и заинтересованно, с любопытством смотрят на нее. Может быть, она им знакома, а может быть, их просто так и подмывает узнать: отчего это вдруг человек отказывается от денег и кто же перевел эти деньги?

Народу на почте становится все больше, маленькие события то и дело разворачиваются перед Голышевым, прямо как на сцене театра. Раньше он, пожалуй, даже не заметил бы, не обратил бы на них внимания, а сейчас он как-то особенно обостренно воспринимал все, что происходило вокруг него, и сердце его отзывалось сочувствием, словно тревоги и заботы этих людей близко касались его самого. Что-то словно изменилось в нем за последние дни — он чувствовал себя, как человек, никогда раньше не подозревавший о своей близорукости и вдруг в один прекрасный день надевший очки и сразу обнаруживший, что мир вокруг него выглядит совсем по-иному...

Еще раз два Голышев срывался со своего места и снова возвращался обратно ни с чем. Девушка за стеклянной перегородкой уже не обращала больше внимания на него — около ее окошка все время толпился народ. «Девушка, взгляните, пожалуйста...»,

«Девушка, примите заказное...», «Девушка, посмотрите, мне нет ли...»

Голышев уже ощущал усталость — ничто так не утомляет, как бесплодное ожидание. Он посмотрел на часы — почти три часа прошло с тех пор, как он появился здесь. Надежда опять оставляла его, и только упрямство, только привычка не бросать, что бы там ни было, начатое дело, не доведя до конца, еще удерживали его здесь. Да и куда теперь ему было идти?

Рядом с ним за столом сменялись люди, мелькали перед глазами конверты, телеграфные бланки.

Какая-то старушка попросила Голышева заполнить извещение о переводе. Он заполнил и объяснил ей, где надо расписаться, когда вдруг услышал взволнованный, сильный голос:

— Да вы посмотрите, девушка, получше. Сколько же могут идти деньги из Ленинграда! А я говорю вам — посмотрите получше!

Голышев почувствовал, как сильно, точно после десятикилометрового марш-броска, бухает сердце.

Наклонившись к окошку, стояла молодая женщина. Голышев видел только ее затылок — пышную копну светлых волос, но он уже точно знал: это она! Он поднялся и пошел к выходу.

Когда женщина поравнялась с ним, Голышев спросил неожиданно охрипшим голосом:

— Простите, вы не из Ленинграда перевод ждете?

Она ответила раздраженно, даже не взглянув в его сторону:

— Откуда бы я ни ждала, это вас совершенно не касается...

— Нет, а все-таки? — уже настойчивее повторил Голышев.

— Послушай-ка, солдат! — Она приостановилась. Все то же раздражение звучало в ее голосе. — Поищи лучше другое место для знакомств. И оставь меня в покое.

Но Голышев продолжал идти с нею рядом. Сбоку он вглядывался в ее лицо. Казалось, оно было знакомо ему. Где-то он уже видел это лицо. Но где?

14

— Если вас зовут Галя и если вы ждете перевод из Ленинграда, — медленно сказал Голышев, следя за выражением ее лица, — мне нужно с вами поговорить...

Она остановилась и смотрела на него с недоверием и испугом.

— Откуда вы знаете?

— Пойдемте присядем где-нибудь... — сказал Голышев.

Она еще колебалась. Наверно, она прикидывала, нет ли здесь какой-нибудь опасности, какой-нибудь ловушки. Потом послушно пошла за ним.

Они сели на скамейку в небольшом сквере.

Голышев все старался вспомнить, где он видел эту женщину раньше, и никак не мог. Вблизи она выглядела старше, чем показалось ему сначала там, на почте, — пожалуй, ей было лет тридцать, не меньше. В то же время она никак не была похожа на человека, пригласившего расстаться с жизнью. Ее пышная прическа, и тщательно подведенные и оттого словно сужившиеся глаза, и губы, слегка подкрашенные бледной серебристой помадой, скорее заставляли думать, что она собралась на вечеринку, на танцы или в театр. «Впрочем, аллах их знает, этих женщин, — подумал Голышев, — может быть, и в последний момент их больше всего заботит, как они будут выглядеть там, на том свете...»

Он вынул из кармана письмо, найденное в посылке.

— Это вы писали?

Она так и подалась к нему:

— Откуда оно у вас? Вас что, Толик прислал?

— Как бы не так! — неожиданно злясь, сказал Голышев. — Твой Толик даже на вокзал не явился.

— Ах он... — Ругательство чуть не сорвалось с ее губ, но она вовремя сдержалась.

— И посылка ко мне попала случайно, — добавил Голышев.

Она молча смотрела на него, все еще не понимая, что произошло. Что ж, он не торопил ее. Ему куда было теперь спешить. Ему оставалось только вернуть ее вещи и уйти. Пожалуй, она не нуждалась ни в его помощи, ни в советах. И, наверно, исповедоваться перед ним тоже не собиралась.

— Я тебя где-то видела, — неожиданно сказала она. — Ты что, Толика знакомый?

— Да при чем тут твой Толик! — рассердился Голышев. — Не знаю я никакого Толика!

— Как же ты меня нашел?

— Так вот и нашел...

Почему-то ему вовсе не хотелось рассказывать, как бродил он по магазинам, по всему городу. Даже стыдно, казалось теперь, рассказывать об этом.

Она морщила напудренный лоб, точно решала в уме какую-то задачу, которая не давалась ей, и пристально всматривалась в Голышева своими узкими глазами. Он тоже смотрел на нее и мучительно вспоминал: где же все-таки он уже встречал этот словно бы сонный, ленивый взгляд?..

И вдруг вспомнил — ну, конечно же! — первый магазин, в который он вошел, и продавщица в отделе верхнего платья! «Это Чижова, что ли? В галантерее».

— Послушай, я же к тебе в магазин приходил, — сказал Голышев, — помнишь?

— Точно! А я-то ломаю голову...

— Почему же ты не призналась тогда, что тебя Галей зовут?

— Так я думала, ты просто познакомиться хочешь... А я с солдатами никогда не знакомлюсь, — с неожиданным вызовом почти выкрикнула она. — Больно надо! Солдат сегодня здесь, а завтра там. «Толиков предпочитаешь?» — возмутился Голышев, но не произнес вслух — совсем ни к чему было сейчас затевать этот разговор.

— Ты не обижайся, — добавила она, — я не про тебя говорю. Вообще.

— Ладно, — сказал Голышев, — Расскажи-ка лучше, что у тебя там произошло.

— А-а! — Она махнула рукой. — Старая песня: хочешь жить — умей вертеться. Вот и вертелась, как умела...

— А поновей песен ты не знаешь?

— Не знаю. Может, ты научишь?

— Может, и научу.

— Учить все мастера, — со злостью сказала она. — А вот постоял бы на моем месте...

— Ну и что?

— А то. Стоишь за прилавком, а жизнь-то проходит! Мне-то тоже пожить хочется! По-настоящему, а не так, чтобы полтинники занимать перед получкой...

«Не в деньгах счастье», — чуть было не сказал Голышев. Бабушка его обязательно сказала бы именно так. Вообще она бы наверняка нашла, что сказать этой Гале. Она бы не пожалела слов, Голышев в этом не сомневался. Но сам он только спросил:

— Ну и что, пожила по-настоящему? — Спросил и тут же пожалел, что эта фраза сорвалась с языка. Галю не обиделась.

— Жила, как умела, — сказала она. И повторил:

ла: — Учить-то все мастера. А как до денег доходит, каждый норовит хапнуть.

— Так уж и каждый? — усмехнулся Голышев.

— А то нет?

Ему вдруг стало скучно. Бестолковый, бесполезный какой-то разговор получался. Как будто говорили двое глухих. Каждый свое.

— Так что все-таки у тебя там случилось? — повторил он.

— Ну что... что... Обещала я тут кое-кому шубы достать импортные... Ну и деньги вперед взяла. Истратила. А шубы все не привозят...

— Все истратила? — изумился Голышев.

— А долго ли? Теперь те деньги назад требуют, судом угрожают. В газету написать грозятся. Я говорю им: заткнитесь вы своими деньгами, верну...

Она говорила и то сцепляла, то расцепляла пальцы.

— Как же ты так? — укоризненно сказал Голышев.

— Как... как... Чего теперь говорить?

— А это что, правда? — Он показал на строку в письме, отчеркнул ее ногтем: «Я покончу с собой. Позора я не переживу». Он не мог заставить себя произнести эти слова вслух.

Галю молчала, опустив голову. Плечи ее поникли. Потом сказала:

— Дочка у меня. Восемь лет. Во второй класс ходит. Боялась я, слухи пойдут, в школе узнают...

Первый раз за всю беседу Голышев услышал вдруг, как что-то дрогнуло в ее голосе. Ему даже показалось, что она сейчас разрыдается. Он удивился, как легко переходила она от беспечности к отчаянию, от самоуверенности к почти детской беспомощности. Голышев чувствовал, что наступила та минута, когда он должен найти какие-то убедительные слова, растолковать ей, объяснить, что жить нужно по-иному. Но никогда — даже на политзанятиях — он не отличался красноречием. И вот теперь, кажется, впервые он жалел об этом.

— Ну, а что дальше? — только и спросил он.

— Дальше?.. Верну я им деньги...

— Вернешь. А дальше, дальше?

Она опять молчала.

Голышев осторожно достал из кармана маленький сверток. Бумага в нескольких местах уже порвалась, и золотая сережка выпала на землю, в пыль. Они одновременно нагнулись за ней, их руки коснулись. Ее пальцы были влажными и холодными.

— На, держи, — сказал он.

Несколько секунд она смотрела то на сверток, то на Голышева. Потом вдруг изумленно спросила:

— Так ты что, специально из-за меня приехал, что ли?

— Ну! — сказал Голышев.

— В отпуск?

— Ну! — опять сказал Голышев.

Он поймал на себе ее напряженный взгляд и снова ощутил неловкость. Еще некоторое время они сидели, не говоря ни слова. Затем он встал.

— Пока...

— Пока... — растерянно сказала она.

Он повернулся и пошел прочь. Песок хрустел у него под сапогами. Уже выходя из сквера, Голышев обернулся. Она по-прежнему все в той же позе сидела на скамейке и смотрела ему вслед.

Впервые за эти последние дни ничто больше не тяготило его, и в то же время он ощущал смутное недовольство собой, словно что-то он не довел до конца, словно что-то он сделал не совсем так, как нужно...

Ленинград, 1971.

Борис Слуцкий



Моя средняя школа

Девяносто четвертая полная средняя!
Чем же полная?
Тысячью учеников.
Чем же средняя, если такие прозрения
в ней таились, быть может, для долгих
веков!

Мы — ребята рабочей окраины Харькова,
дети наших отцов, слесарей, продавцов,
дети наших усталых и хмурых отцов,
в этой школе учились
и множество всякого
услыхали, познали, увидели в ней.
На уроках, а также и на переменах
рассуждали о сдвигах и о переменах
и решали, что совестливей и верней.

Долгий голод — в начале тридцатых годов,
грозы, те, что поздней над страной
разразились,
стойкости
перед лицом голодов
обучили,
в сознании отразились.

Позабята вся алгебра — вся до нуля,
геометрия — вся, до угла, — позабыта,
но политика нас проняла, доняла,
совесть —
в сердце стальными гвоздями забита.

Солдатский отпуск

В эту войну отпусков не дают,
но иногда отпуска получают!
Как нас, нечаянных, дома встречают!
Что за уют нам тогда создают!

Отпуск солдатский, как сон в седле, —
сладок и краток и беспокоен.
Ты отчего же задумался, воин!
Все для тебя на этой земле.

Отпуск солдатский — победы кусок
выбран
из следующего мая.
Чокайся, над головой поднимая
рюмку.
Жизнь хороша. Самый сок!

1945

Заболоцкий спит в итальянской гостинице

У пригласивших было мало денег,
и комнату нам сняли на двоих.
Умаявшись в банкетах и хождениях,
мы засыпали тотчас, в один миг.
Потом неврастения, ностальгия,
луна или какие-то другие
последствия пережитого дня
будили неминуемо меня.
Но Заболоцкий спал. Его черты
темнила ночь Италии. Белила
луна Италии, что с высоты
лучами нашу комнату делила.
Я всматривался в сладостный покой,
усталостью, и возрастом, и ночью
подаренный. Я наблюдал воочью,
как закрывался он от звезд рукой,
как он как бы невольно отстранял
и шепоты гостиничного здания
и грохоты коллизий мироздания,
как будто утверждал: не сочинял
я этого! За это — не в ответе!
Оставьте же меня в концов конце!
И ночью и тем паче на рассвете
невинность выступала на лице.
Что выдержка и дисциплина днем
стесняли и заковывали в паты,
освобождалось, проступало в нем
раскованно, безудержно, крылато.
Как будто атом ямба разложив,
поэзия рванулась к благодати!
Спал Заболоцкий, руку подложив
под щеку, розовую, как у дитяти,
под толстую и детскую. Она
покоилась на трудовой ладони
удобно, как покоится луна
в космической и облачной ледяни.
Спал Заболоцкий. Сладостно сопел,
вдыхая тибуртинские миазмы,
и содрогался, будто бы от астмы,
и вновь сопел, как будто что-то пел
в неслышанной, особой, новой гамме.
Понятно было: не сопит — поет.
И упирался сильными ногами
в гостиничной кровати переплет.



Делайте ваше дело,
поглядывая на небеса:
как бы оно не задело
души и телеса,
если не будет взора
редкого, на небеса,
все забудется скоро,
высохнет, как роса.
Делали это небо
богатыри, не вы.
Небо лучше хлеба.

Небо глубже Невы.
Протяжение трассы
вечность, а не век.
Вширь и вглубь — пространство.
Время — только вверх.
Если можно — оденет
синей голубизной.
Если нужно — одернет:
холод его и зной.
Ангелы, самолеты
и цветные шары
там совершают полеты
из миров в миры.
Там из космоса в космос,
словно из Ялты в Москву,
мчатся кометы конус,
вздыбливая синеву.
Глядь, и преодолела
бездну за два часа!
Делайте ваше дело,
поглядывая на небеса.

★

Своим стильком плетения словес
не очарован я, не околдован.
Зато он гож, чтобы подать совет,
который будет точным и толковым.
Как к медсестринской гимнастике

брошка,

метафора к моей строке нейдет.
Любитель порезвиться понарошку
особого профиту не найдет.

Но все-таки высказываю кое-что,
чем отличились наши времена.
В моем стихе,
как на больничной коечке,
к примеру,
долго корчилась война.

О ней поют, конечно, тенорами,
но и басами хрипылыми поют,
я — слово, а не пропуск в телеграмме,
которую грядущему дают.

Отец

Я помню отца выключающим свет.
Мы все включали, где нужно,
а он ходил за нами и выключал, где можно,
и бормотал неслышно какие-то

соображенья

о нашей любви к порядку.
Я помню отца читающим наши письма.
Он их поворачивал под такими углами,
как будто они таили скрытые смыслы.
Они таили всегда одно и то же —
шутейные сентенции типа
«Здоровье — главное!».
Здоровые,
мы нагло писали это больному,
верящему свято
в то, что здоровье — главное.
Нам оставалось шутить не слишком долго.
Я помню отца, дающего нам образование.
Изгнанный из второго класса
церковноприходского училища
за то, что дерзил священнику,
он требовал, чтобы мы кончали
все университеты.
Не было мешка,
который бы он не поднял,

чтобы облегчить нашу ношу.
Я помню, как я приехал,
вызванный телеграммой,
а он лежал в своей куртке
полувоенного типа
в гробу соснового типа.
И когда его опускали
в могилу обычного типа,
темную и сырую,
я вспомнил его
выключающим свет по всему дому,
разглядывающим наши письма
и дающим нам образование.

Евгений Винокуров



Веселость

Жили мы на земле,
Не сердясь и не ссорясь.
Как-то сами вершились дела!
В эти годы простая, простая веселость
Нам дана как награда была.
Как был звонок
Наш смех
На цветистой лужайке
И в трамвае, набитом битком!
Хохотали,
Стараясь друг в друга из шайки
Мы в парилке
Плеснуть кипятком.
И, медвежью
Широко откинувши полость,
Встречным снегом давась,
Хохотать
Заставляла нас та же шальная веселость,
Колокольчикам медным под стать!
И со смаком хрустели соленые грузди
На беспечном солдатском пиру!..
...И лишь только от песни
Бывало, что
В грусти
Вытирались глаза о полу.

Метафоры

Кому-то там я не потрафил,
Что был от треска в стороне.
Но смысл блистательный метафор
Был ведом все-таки и мне.

И та вон рожь, что колосится,—
Метафора. И бор и брег...
«Вон солнце, словно колесница»,—
Сказал однажды древний грек.

И в банном зале, там, где кафель,
В трамвае, в поле на стерне
Смысл восхитительных метафор
Вдруг как-то стал являться мне.

Они как будто медь литавр
Или как сальто мудрый трюк...
Что бог! Он лишь творец метафор,
Он лишь сравнений демиург!

Метафора — и та вон телка.
И луг. И тополь. И дома...
И даже жизнь всего лишь только
Метафора. И смерть сама.

Родня

Принарядившись к важной дате,
И для еды
И для питья
С отцом рядом садились дядя,
Ширококостные дядя.

Дрожала на столе посуда...
И в пальцы вьевшийся металл
Блистал,
И запашок мазута
Над этим пиршеством
Витал.

Так, знаменуя
Строгость правил,
Они сошлись семьею всей,—
Хоть в святцы глянь:
Иван да Павел,
Петр, Михаил
и Алексей.

Беседа их текла
Густая,
Всяк был по-своему остер,
Пять — это бабки не считая
Да двух немолодых сестер!

Сидели, грузно налегая...
От папирос струится чад.
Но вспомнят деда Николая
И встанут все...
И помолчат.

«А ты один все!» «Эх, хитрюга!»
«Чураешься!» —
Журят меня
Мои дядя.—
Нам друг без друга,
Поверь,
На свете жить нельзя!»

«Ведь мы ж родные все!»
«Вестимо!»
«Нам врозь ведь
Не прожить и дня»...

...Святая теплота интима!..

«Да как же можно! —
Ведь родня!»

«Ты все в скитанье!
Все в кочевье!
Ты все бездомен!
Все в пути!»
«А ведь когда-то

Были семьи
Душ, почитай,
По двадцати!»

«Ну будь один!»
«Привет чудиле!»...

...Домой в обнимку уходя,
Полмостовой загородили
Патриархальные дядя.

Сенсация

Зевая, встанешь на рассвете,
И, словно бы сойдя с высот,
С липучей полосы в газете
Сенсация вдруг полоснет...
Сенсация!

Нам от сенсаций
Уж не укрыться все равно
Под сенью сладостной акаций
Иль в горсаду за домино...
Сенсация встает на ножки
И вдруг бежит — бог весть куда! —
Стремительней, чем миноноска,
И экстренней, чем поездка.
Эскадры отдают швартовы.
Припали головы к рулю...
— Вы слышали! — О чем! — Да что вы!
— Не мо... — Да я вам говорю!
Земным овладевая шаром,—
Покой! Да где он! Нет как нет! —
Сенсация лесным пожаром
Уж охватила континент.
За новостью спешим за всякой!
Давай известий!.. Без помех
Слюнявой бешеной собакой
Сенсация кусает всех.
Готовьте люминала тонны!
Бессонница вползла в дома.
Сенсация — хоть ставь кордоны! —
Как в средние века чума.
Молва несется языкаста
На материк с материка!..
...Но старого Экилезиаста
Уж с полки достает рука.

Яков

Козловский



Стояли дни с высоким небом

Врываясь в рощи и в сады,
Восславив августа кончину,
Пируя,
черные дрозды
Клевали красную рябину.



ЛАЗАРЬ
КАРЕЛИН

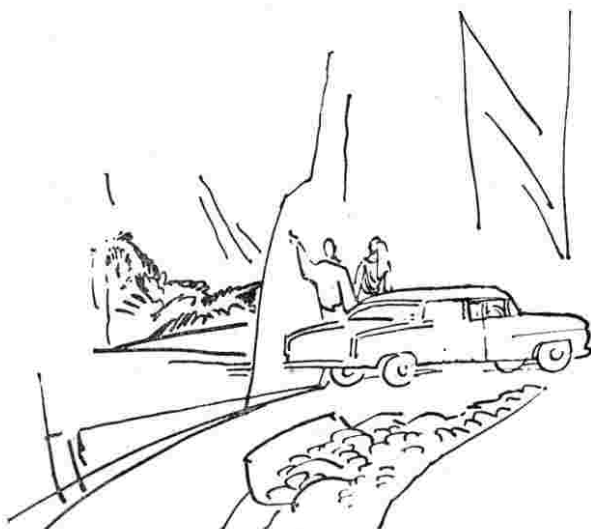
Миссия, освещенная,
гитры
Медри
на добрую
А. Карелин
30 сент. 71



ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

1

ПОВЕСТЬ



Рисунки
Л. Ефремова.

Анна Николаевна Лебедева, хотя и была еще бодра и деятельна, вдруг, охваченная неким предчувствием, решила незамедлительно вызвать из Москвы своего единственного наследника, племянника по мужу Костю, дабы окончательно решить, как должно ей поступать со своим имуществом и немалыми сбережениями. Если Костя, а она не видела его лет шесть, со своего последнего приезда в Москву, если мальчик этот, который ныне уже и не мальчик, уже студент, если он будет того стоить, то и быть ему ее наследником. Если же он того не стоит, то завешание ею будет написано в пользу старинной ее приятельницы, которая и жила с ней последние годы, хотя к приятельнице этой у Анны Николаевны накопилось множество всяких претензий. Когда человек стар, одинок, но и не без достатка, всякие подозрительные мысли, касающиеся его возможных наследников, нет-нет да и бередают душу.

Костя должен был, по мнению тетки, пройти у нее на дому испытательный срок. Ведь он, нынешний-то, был почти неведом ей. Разве что два раза в году открытки от него получала. На Новый год и на день рождения. По этим открыткам характер не просматривался. Возможно, они даже не им и сочинялись, а диктовал их ему отец. Брата своего мужа Анна Николаевна не любила. Вот в том-то и была вся сложность. Она его издавна еще невзлюбила. Ее Василий был тружеником, а тот, московский, его младший брат, трудолюбием явно не отличался, был легкомыслен, родственно далек, жил какой-то непонятной жизнью.

Ну, а что Костенька? Мальчиком она его помнила смутно. Да ведь и изменился. В отца он или, дай

господи, в деду, а следовательно, и в Василия? Его надо было вызвать и вынудить.

Анна Николаевна подгадала к летним студенческим каникулам и сама снесла на почту телеграмму. Лиза ничего не должна была знать. Лиза — это и была ее подруга. Вот уж вытянется у нее лицо, когда к ним в дом ворвется молодой человек из столицы, с лебедевскими вразлет бровями, а может, и не только одними бровями похожий на Василия.

Телеграмма была лаконична: «Костя прилетай немедленно тчк Стоимость билета возмещу Тетя Аня». Анна Николаевна хотела написать: «твоя тетя Аня», — но, подумав, решила «твоя» не писать. Это еще следовало установить: твоя ли.

Отправив телеграмму, Анна Николаевна вернулась домой и стала ждать, скрадывая ожидание пасьянсами. Ее мучили всякого рода расчеты. Если сразу же прилетит, значит, прискакал за наследством. Если чуть задержится, что и естественно (надо же в путь собраться, а путь далек, надо и дела уладить, не на день ведь едет), то следует полагать, что племянник не об одном лишь наследстве думает, что есть у него хоть малая привязанность к старой тетке. Ну, а если долго его не будет? Карты не давали нужного ответа. Жизненный опыт тоже ответа не подсказывал. Хотелось верить, что единственный племянник любит ее. Но, собственно, за что? Да и помнит ли даже? Шесть лет назад тринадцатилетний Костик и часу с тетюшкой не провел. Ему было скучно с ней.

Карты не утешали, пасьянсы не выходили, а если и выходили, то не без подтасовочки. И, как назло, выходили все пасьянсы у Лизы. И та ликовала. Ну, ну, посмотрим. Анну Николаевну только и тешило, что она приготовила для Лизы сюрприз.

День прошел, два, три. Пора! Анна Николаевна загадала: или сегодня, или... В этом последнем «или» таилась угроза. Старый человек, как он может наказать? А вот как: уменьшить долю наследства. Уменьшить, а то и вовсе ничего не оставить. Берегись, Костенька! Анна Николаевна то и дело мысленно обзревала свои богатства. От мужа, известного в городе хирурга, профессора, доктора наук, приехавшего сюда сразу же после института да и тут осевшего, остался добротный дом, машина осталась, дачка осталась, хоть и летняя, но с чудесным яблоневым садом. Да что там, и денег весьма порядочно и

всякого имущества. Всю жизнь прожили вдвоем, на одном месте, и она тоже работала, тоже была врачом. Вот и скопилось. Но не было, не было у них детей, все было, а детей не было. К старости Анна Николаевна стала склоняться если не к вере, то к веротерпимости. И хоть была она женщиной просвещенной, а врачи и вообще-то убежденные атеисты, но, нате вам, за последние год-полтора даже раз-другой в церкви побывала. Пусть говорят, что зачудила перед смертью старуха Лебедева! Вот и зачудила...

Уже перед самым сном, досадливо смешав карты, поскольку и не совсем честный пасьянс тоже не вышел, Анна Николаевна вдруг услышала робкий, робчайший даже звонок в передней. Лизы не было, она как раз в церкви была, и Анна Николаевна побрела отзорять.

Кто бы это так поздно? Почтальонша тихонько не звонит, всей ладонью на кнопку нажимает, ну, а соседи в сей поздний час пожаловать к ней вряд ли осмелились бы.

— Кто таков? — спросила Анна Николаевна, и голос у нее тревожно задребезжал.

— Мне нужна Анна Николаевна Лебедева. — Голос за дверью был не смелее звонка.



— Это я.— Анна Николаевна, не снимая цепочки, приоткрыла дверь.

— Ох, тетя Аня, вы?! — Голос за дверью радостно окреп.— А я-то думал, что с вами беда какая-нибудь стряслась!

— Вот те на!

Итак, племянник приехал. Анна Николаевна скинула цепочку и распахнула дверь, торопясь узреть своего наследника. От первого впечатления зависело очень многое. Анна Николаевна верила в свою способность с первого же взгляда ставить людям пробу, кто чего, стало быть, стоит в жизни. Как известно, врачи — народ самонадеянный.

Оно и простиительно: ведь врач не только видит человека нагишом, он его еще и прослушивает, он его еще и исповедует куда строже, чем на исповеди.

Она распахнула дверь, и перед ней в тускловатом свете лампочки предстал высокий и худущий парень, но, слава богу, вида не болезненного, не с впалой грудью, как у его батюшки, ну прямо Василия, ее Василия об юношескую пору.

— Слава богу, в деда! — облегченно вздохнула Анна Николаевна. Она продолжала его рассматривать, так и не впустив еще в дом. Брови взлет — фамильные, как у Василия. Нос коротковат, но прочен. Его, его нос. Рот вроде бы тоже знакомого очерка, крупноват, но не губошлепист, нет. Ну, а глаза, а улыбка, которой пока не видать, — то наиглавнейшее, чем живет лицо и чем само о себе повествует, — этого в полутьме прихожей все едино не разглядеть. Одет же он был, будто по Подмосквовью прогуляясь собрался: заношенный спортивный костюмчик, легкий рюкзачок на плече.

— Входи же, Костя. Отчего телеграмму не прислал о вылете? Не ты, так отец бы мог догадаться.

— Отец в командировке.

— Все ездит? Не наскучило? — Впустив наконец в дом племянника, Анна Николаевна решила позволить ему себя поцеловать. Она подставила ему щеку и, как старый князь Болконский в фильме Бондарчука — это место ей очень нравилось, — ткнула пальцем себе в щеку, приказав: — Целуй.

Костя покорно исполнил приказ тетушки, но промазал и громко чмокнул ее не в щеку, а в ухо.

— Фу, какой ты неловкий! — поморщилась Анна Николаевна. — Да и не родственник ты какой-то.

— Так я же вас почти не знаю, тетя Аня, — робко возразил Костя.

— Что верно, то верно. Ну, а вещи твои — этот рюкзачок, и все?

— И все.

— В спортивном этом костюме собираешься по городу расхаживать?

— Так я же ненадолго. Я только поглядеть, что тут у вас стряслось.

— У меня, молодой человек, ничего не стряслось. Как видишь, я благополучна. А что кликнула тебя, так это, дружок мой, не в моих, а скорее в твоих интересах. Ну, об этом у нас еще будет разговор. Устал с дороги? Помыться не желаешь ли? Вот все тут необходимые двери перед тобой. А я тебя в гостиной буду ждать, прямо по коридору. Не заблудись смотри, дом велик.

И пошла, попрямевшая, гордая, что дом ее действительно велик. У них, у московских-то Лебедевых, всего-навсего малюсенькая двухкомнатная квартирка. Разве это жизнь? Непутев был младший Лебедев, непутев. И все его носит где-то, стар уж, а все на месте не сидит. Непоседа. И такому вот сына господь послал. Справедливо ли это? Здесь, здесь сын надобен, в этом доме.

Хорошо хоть лицом-то мальчик в деда, а не в папеньку. А душой, а нравом? Ну, он еще воск, его еще лепить можно.

Пройдя долгий путь по длинному коридору до гостиной, Анна Николаевна пока только об одном порешила:

«Завтра же куплю парню новый костюм. Не кто-нибудь, племянник Лебедева...»

2

Наутро и верно отправились в универмаг. Вторым — Костя и две старухи: полная, рыхлая, трудно передвигающаяся ноги Анна Николаевна и ее верная подруга, сухонькая, пряменькая, суетливо-подвижная тетя Лиза.

Этому походу нескончаемый предшествовал разговор, и даже не разговор, а допрос перекрестный. Он начался еще вчера, длился поутру, за кофеем, который женщины пили долго и обстоятельно.

Ах, как обрадовалась вчера Косте тетя Лиза! Будто это к ней племянник приехал, а не к Анне Николаевне. И планы, планы сразу принялась строить. И с тем-то надо его познакомить, и туда-то сводить, и вообще откормить, поскольку он худ невероятно. Анна Николаевна, как придирчиво она в свою Лизу ни вглядывалась, так и не смогла решить, фальшивит та или радость ее неподдельна. Решила в конце концов, что некоторая фальшивинка все же имеется.

Уж больно ее Лизаветушка елей источала. Умна была Анна Николаевна, елей там всякий, сладкие речи, охи да ахи у нее доверием не пользовались. Но, правду сказать, и тетя Лиза была совсем неглупой старушкой.

Костя сперва даже растерялся и от действительно большого дома, в каких не только жить, но и бывать ему еще не доводилось, и от безумной, напористой Лизы, и от строгой, взыскующей своей тетушки. И спал он худо эту ночь. Ему отвели для жительства дядин кабинет — большую комнату на втором этаже, заставленную массивной докторской мебелью, книжными шкафами до потолка. Стены были в коврах, пол застилала шкура матерого, яростно оскалившегося волка. Дядя Василий сам его пристрелил.

Да, и еще висели по стенам ружья. И какие! С резными ложами, с насечкой, иные даже инкрустированные. И малого калибра и самого большого, для охоты на медведей, и одноствольные и двуствольные, а было одно и в три ствола.

Не спалось Косте. Виделась ему стена в отцовской комнате, единственное ружье на этой стене, одноствольная «Ижевка» шестнадцатого калибра, скромное, старенькое ружье. Почему-то все время перед глазами в темноте проступало это отцово ружье. И все вспоминалось, как мечтал отец о ружье хорошем, сильном и как, частенько заходя с сыном в охотничьи магазины, ну, там за гильзами, за порохом, подолгу простаивал он перед витриной с дорогими ружьями.

А те, дорогие-то, и в близком родстве не могли бы оказаться с замечательными ружьями дядиной коллекции. Смутно было на душе у Кости, не спалось ему.

Утром зарядка только и выручила: отец заставлял по тридцать минут себя разминать каждое утро, и это давно уже стало привычкой. Попрыгал, поприседал, покрутил руками — и чуток стало повеселее. Что говорить, впечатлял этот арсенал на стенах. Снял Костя со стены одно ружье, другое, разло-

мил, глянул в синеватую даль стволов. Стволы были давно не чищены. По поверхности пыль с ружья стиралась, за ними досматривали, но только по поверхности, тряпочкой, женской рукой. А стволы были не чищены, гладь их прерывалась. Костя решил, что вычистит их. А зачем? А для кого?

Но тут вошла в комнату, стукнув упреждающе в дверь, тетя Лиза и затараторила:

— Ах ты, милый ты наш! Ах ты, золотце наше! Глаза только распахнул — и уже за ружья. Весь в дыду. Вылитый! Ну, ну, смотри, примеряйся. Твои будут. Завтракать извольте пожаловать, Константин Сергеевич. Тетушка уже ждет.

И ушла. Но эта ее скороговорочка про ружья, которые «твои будут», поразила Костю. Он вдруг только теперь уразумел, кто он в этом чужом ему доме, что за роль ему тут уготовливается. Он прилетел на зов тетки не слепо, конечно. Разговор об овдовевшей Анне Николаевне давно уже велся у них дома, ее телеграмма не была неожиданностью. Одинокая старуха обращалась за помощью к единственным своим родственникам. Ей было худо, она умирала. Вот Костя и прилетел. Он даже боялся опоздать, не успеть на похороны. Но не было дома отца, не сразу удалось раздобыть нужные деньги на билеты в оба конца и на жизнь в чужом городе, ибо само собой разумелось — так они порешили с мамой, — что никаких денег за билеты Костя у тетки не возьмет. Старуха последние дни доживает, а тут еще про какие-то с ней толковать деньги. То, что жила она в достатке, было известно, но все едино брать со старого, доживающего свои последние дни человека деньги представлялось делом просто немислимым. А старуха-то, оказывается, умирать и не собиралась. Она даже не была больна. Так зачем же он вызван? А затем он вызван, выходит, чтобы можно было поприглядеться к нему как к будущему наследнику. И вчера весь вечер к нему и приглядывались. Оттого и вопросы все эти, которыми закидали его, будто ему надлежало заполнить некую длинную анкету для поездки в неведомую страну. И что же, все это, вот все, что вокруг, могло когда-нибудь стать его собственностью? Весь этот дом, мебель эта, книги? И эти ружья — тоже? Волчья шкура — тоже? Догадка эта поразила и смутила Костю. Нет, он не обрадовался — он смутился. За что, почему он станет владеть всем этим? Он смутился и изумился, он не был готов к внезапно предложенной ему жизни роли. Он не знал, что ему нужно делать теперь, как вести себя. Он не знал, чего ждет от него Анна Николаевна. Все эти ее вопросы, поглядывания, вся эта ее задумчивая многозначительность — зачем, к чему все это? Как должно ему отвечать, поступать, как вообще ведут себя будущие наследники?

Он ничего этого не знал.

Он даже какой-нибудь книжки про нечто похожее не мог припомнить! Наследник! Он наследник! Костя растерялся.

И вот шел он сейчас ведомый двумя старухами в универмаг, дабы обрядиться в новый костюм, поскольку, как ему было заявлено, племяннику Лебедева не к лицу ходить по городу в заносенных спортивных штанах, будто он какой-то забредший в эти места бездомный бродяга.

Жарко было. Вот это вот действительно была жара, не чета московской. И даже улица, которой они шли, состоявшая из нескольких рядов ветвистых тополей, дубов и лип, просеченная вдоль полноводными арыками, собственно, не улица, а парк-проспект шириной в добрые сто метров, — даже и такая за-

тененная улица почти не защищала от зноя. Искушаться бы. Или хоть разуться и зашлепать по дну арыка. Где там! Он шел, как под конвоем. Впереди — Анна Николаевна, позади — тетя Лиза. Старухи зноя будто и не чувствовали. Они были в темных нарядных платьях, Анна Николаевна в шляпе, тетя Лиза в панамке. Они двигались не спеша и торжественно, хотя каждая на свой манер: Анна Николаевна шагала грузно, медленными, но широкими шагами, а ее верная подруга семенила, но словно плыла, как это умеют делать чаровницы из ансамбля «Березка».

Костя то вперед глядел, то назад глядел, то в небо, шурясь, и никак не мог привыкнуть и к своим спутникам, и к этому сокрушительному солнцу, да и к самому себе посреди неведомого ему проспекта, в неведомом городе. Город, наверное, был красив, проспект этот и наверняка был замечательный, но Костя чувствовал себя потерянно и как во сне, что ли. Куда его ведут? Зачем? Не нужен ему никакой костюм. В этом городе и в одной рубашке не куда деться.

Долго шли. Пересекли небольшую площадь, по правую сторону которой был кинотеатр. Костя приметил, что у касс толпится все больше молодой народ, студенты. Еще длились каникулы, но уже возвращались и в этот город его студенты: кто с практикой, кто со строек. А был в молодой толпе у касс и вольный народ — школяры и совсем зазубрившийся народ, так называемые абитуриенты. Костю изо всех сил потянуло в эту толпу. Да еще и фильм шел тот самый: «Новые похождения Неуловимых». Заскочить бы сейчас в темный прохладный зал, забиться бы в толпу ребят — и нет никаких старух с их вопросами, расспросами, намеками, будто с ним разыгрывается какая-то пьеса Островского, и нет этого дома с множеством комнат, с внутренней лестницей на второй этаж — ну, совсем декорация — и с мебелью и убранством, как на сцене. Да куда там, какие там «Неуловимые», он-то как раз и был уловлен.

Позади осталась площадь, покинут был спасительный проспект-парк, они вышли на новый проспект, где тень от тополей была узенькой и зыбкой. Солнце тоже было Костиным конвоиром, оно его обезволивало.

И вот наконец универмаг. Большой, сверкающий стеклами витрин, покраше иного московского. Но там, внутри, было еще жарче. А уж когда начали напяливать на Костю то один пиджак, то другой, то в одну затискивая парильню, то в другую, Костя уже и слова вымолвить не мог. Безмолвным был он, когда старухи облюбовали ему костюм, безмолвствовал, когда они порешили, что в нем он и выйдет из магазина, для чего затолкали Костю в примерочную кабину — сто градусов в тени! — и велели переодеться. Молча прошествовал он и назад к выходу, спеленатый, чуть что не задохнувшийся. Он увидел себя в большом магазинном зеркале и не узнал. Таких парней в аккуратненьких костюмчиках, таких полусонных пижонов с застывшим взором он всегда глубочайшим образом презирал. А ведь это был он. Зеркало просто не могло отразить кого-либо иного, поскольку подле этого задохлика, чуть ли не под руки его ведя, шествовали две вполне знакомые Косте старухи.

Стало быть, это был он, удушенный и обалдевший, это был он, Костя Лебедев. Тут в пору было либо заплакать, либо рассмеяться. И Костя засмеялся. Из последних своих сил.

Анна Николаевна опешила.

— Костя, что с тобой?

— Это от радости, — пояснила Лиза. — Шутка ли,

в сто пятьдесят три рублика костюмчик. Ну, и от жары, конечно.

— Скорее всего от жары,— порешила Анна Николаевна.

Костя продолжал хохотать, ловя себя то в одно зеркало, то в другое.

— Это я сам над собой,— пояснил он.— Уж больно смешно.— Смех все еще не отпустил его.

— Не нахожу,— сухо заметила Анна Николаевна.— Или, может быть, смешно быть прилично одетым? Тебе нравится костюм-то? Я полагала, что ты молчишь, потому что согласен с моим выбором.

Еще одно зеркало помешало Косте ну хоть из вежливости согласиться с Анной Николаевной. Он снова хохотнул, уткнувшись в выходящего в прилипах в коленках брюках,— по-птичьему он как-то шагнул, задирая ноги. Ну и чучело!

— Необходимы еще рубашки,— сказала Анна Николаевна, недовольно отворачиваясь от своего странно развеселившегося племянника.— Но это в другой раз. Он действительно немножко перегрелся.

И снова — Анна Николаевна впереди, ее подруга позади, а он посередине — устремились они той же дорогой, но теперь назад, к дому. Костя шел и вспоминал рассказы про спортсменов, которым надо было перед соревнованиями сбросить вес. Кто в баню отправлялся париться, кто бегать начинал, натянув на себя шерстяное белье. И все это часами, часами. Его же муки длились да и продлились еще какие-то минуты. Сверток со старыми штанами он нес под мышкой. И только бы ему добраться до дядино кабинета, уж он этот костюмчик сдерет с себя!

3

Не тут-то было! Дома ему разрешили снять только пиджак. Да и то не на долгий срок: ожидалась гости. И вообще заведено было в этом доме следить за своим внешним видом. Привыкай, привыкай, Костенька. А собственно, зачем ему привыкать-то? Или он в плену?

Появилась тетя Лиза и пальчиком поманила за собой. Привела в прихожую, распахнула дверцы шкафчика, где лежали щетки для ботинок, вкрадчиво посоветовала:

— Башмачки надо почистить. Твой дядя Василий в таких всегда начищенных ходил, что хоть смотрись в них. И руки не забудь потом помыть. Ну, а упрямись, зайди к Анне Николаевне. Звала.

Костя остался один и в двух шагах от двери на улицу. Вот сделать эти два шага — и за порог. А там аэродром, самолет, а там — Москва. Так потянуло к двери, будто в спину кто подтолкнул. Но нельзя, неудобно, хоть денек еще надо тут побыть. А ботинки, и верно, следует почистить. Он этим делом и занялся. Вдруг звонок в дверь. Кое-как управился Костя с замками и задвижками и отворил.

Громадный мужчина возник в дверном проеме, в котором едва влез.

— С кем имею честь?— Мужчина был бородат, но не как нынешние модники, а как поп какой-нибудь или писатель из классиков. И был он обладателем оперного баса.

— Костя Лебедев,— представился Костя.

— Ага, наследничек! Я так и смекнул. Да и сходство сразу в глаза бросается. Лебедевский лик, что говорить. Правда, лик-то этот еще в твердом резце нуждается. Ну ничего, резец этот жизнь проведет. С нажимом проведет, вопреки порою и наперекор материалу. Живой, друг мой Костя, скульптор грубый

и с материалом не считается. Уразов, Лукьян Александрович. Скульптор. Вот именно!— Бородач протянул Косте руку и легонько, щадя, похлопал его по плечу. Молотом будто похлопал, такая была у бородача ручища.— Повезло тебе, молодой человек. Дьявольски повезло. Смекнул уже?

— Имя-то, имя-то нечестивое зачем поминаете, Лукьян Александрович?!— К ним по коридору семенила Лиза.— Вам-то не к лицу вроде бы.

— Мне как раз и можно,— усмехнулся Уразов.— Я, если что, работой грех замолю. Крестик из камня вырублю — вот и прощение мне. Бог, он ведь тоже разбирается, кто во прославление его имени дело делает, а кто лишь поклоны отбивает. Здравствуй, Лиза. Не грусти, бог милостив.

— А я и не грущу. Вот уж! И с чего бы это мне грустить?— Старушка всерьез разволновалась.— И вовсе мне незачем грустить. Напротив! Радость у нас в дому, радость. Вот уж бухнули, так бухнули, в святцы не заглянув.

— Не грусти, не грусти. Авось за кротость воздастся.— Уразов вступил в дом, дружески возложил на плечо Кости свою ручищу.— Веди, хозяин.

Но не Костя его повел, а он Костю. Уверенно прошагал по коридору, свернул к нужной двери, отворил ее размахисто, уверенно.

В этой комнате Костя еще не бывал. Это была спальня Анны Николаевны. И первое, что приметилось Косте, было громадное, бесформенное кресло посреди небольшой комнаты, у небольшого, круглого, на птичьих лапах стола. Анна Николаевна, утонув в кресле, легонько выбрасывала из колоды на стол карты. Они ложились ловко, туда, куда надо, хотя Анна Николаевна на дело рук своих не глядела, оборачиваясь к гостю.

— Входи, входи, Лукьян Александрович. Уже познакомились?

— Долго ли.

— И что скажешь?

— Что скажу? Лебедев!— Лукьян Александрович поцеловал учтиво старухе руку.— Нынешней, конечно, чеканки, но узнать нетрудно. Что, сходится пасьянстик-то?

— Да вы садитесь. Костя, предложи Лукьяну Александровичу стул. И сам садись. Побеседуем.

Стулья стояли возле стола, приносить и даже пододвигать их было не нужно, но Костя все же исполнил приказ тетки и подтолкнул навстречу Уразову стул. А Уразов ждал, сам руки не протягивал. Видимо, так тут было заведено, чтобы гостям пододвигались стулья. Ладно, пододвинуть было нетрудно.

— Нынешней, нынешней чеканки,— повторил Уразов, таясь приминая стул.— Да и мои, к примеру, что дочь, что сыночек. Сходство углядеть можно, но только внешнее. Иной раз думаешь: я ли им отец-то? Незнакомцы. Им, незнакомцам, все и оставим, Анна Николаевна. А уж они распорядятся. Хозяева. Накопители. Созидатели. Эх, иной раз такая досада берет, что поутру и вставать не хочется. Работать? А зачем? А для кого? На мой-то век ведь хватит. Как чувствуете себя, Анна Николаевна? Вид у вас бодрый, движения ловкие — поживем еще, а?

— Да я бы не прочь. Лиза, голубушка, кофейку бы нам!

— Сейчас, сейчас.— Лиза возникла в дверях и исчезла.

— Стараются,— усмехнулся Уразов, поведя глазами на дверь.— Всех нас пережить думает. У нее, вишь, с богом великая дружба. Ну, ну, поглядим, каков он заступник.



— Это вы о чем, Лукьян Александрович? — недовольно прихмурилась Анна Николаевна. — Лиза мне друг, давний и верный. Уж тут-то вы напрасно.

— Ну, ну, спорить не стану.

Костя слушал, поглядывая то на тетку, то на Уразова, вел глазами по стенам сплошь в фотографиях, засмотрелся на икону в углу, на крепкотелого младенца, которому не сиделось у матери на ладони, — он скучал, и взрослое лицо его было печально. Костя посочувствовал младенцу, а заодно и самому себе, нелепой своей роли, которую, видимо, еще какое-то время ему придется играть в этих декорациях и среди этих персонажей.

Впрочем, не все здесь было обращено в былое. В том же углу, где была икона, горделиво топорщился белоснежный, круто накрахмаленный докторский халат. Он не висел на плечиках, а, казалось, стоял в углу и был там хозяином. Всякий миг он мог понадобиться. Всякий миг ведь могли призвать его владелицу к исполнению долга милосердия, ибо была она врачом, а врачи, как известно, и на пенсии не избавлены от своего долга милосердия. Позвонит кто-то в дверь, только лишь покличет, и день ли, ночь ли, а иди, Анна Николаевна, поспешай на зов страждущего. Ты врач, ты сестра милосердия, пока бьется в тебе сердце. И белоснежный, топорщившийся докторский халат был наготове, он денно и ночью нес свою вахту.

Костю обрадовал этот халат рядом с иконой. Правда, задавака-халат, но свой, но понятный. Наверное, надев его, и Анна Николаевна делалась другой, проще, понятней. Вот бы поговорить с ней тогда, в тот миг, когда она опять станет врачом, снова ступит в нынешний мир, поговорить без тягостно-хитроумных этих вопросов, будто готовили его для поездки в какую-то неведомую страну. Да только доводится ли ей теперь надевать этот халат? Зовут ли ее еще на помощь?

Лиза внесла поднос с кофейником, с чашками.

— Сядись и ты с нами, Лизонька. — Анна Николаевна добро покивала своей подруге. — Костя...

Он уж понял: вскочил, уступая Лизе свой стул, хотя рядом стоял свободный. На него Костя и пересел.

У него дома тоже пили кофе, но не так. Не священнодействовали. Анна Николаевна пила свой кофе, как некий эликсир. Глотнет и прислушается, что там, в ней, сотворил этот глоток. Точно так же испыты-

юще, как курица, вскидывая голову после каждого глотка, прихлебывала кофе и Лиза. Уразов, посмаиваясь, вобрал в ладонь крошечную для него чашку.

— Нам бы, мужичкам, коньячку бы к сему напитку. — Он подмигнул Косте. — Верно говорю?

Костя промолчал. Уразов хоть и дружелюбен с ним был, да все приглядывался, изучал, а это не нравилось Косте, настораживало. Этому-то что было нужно?

— Будет, будет и коньячок, — сказала Анна Николаевна. — Вот соберутся все, тогда уж. А ты, Костя, уже знаком с коньяком, уже приобщился к этой дурной привычке?

— Приходилось, пил, но он мне не нравится.

— Клад, ну чистый клад парень, — сказал Уразов. — Мой, только зазевайся, стакан себе доверху нальет. Ты, Костя, где учишься, по какой стезе двинул?

— В МГУ, на факультете журналистики. Перешел на третий.

— О! Это уже нечто. МГУ — это нечто. А призвание есть? Пишешь? Печататься доводилось?

— Доводилось. К большим статьям нас особенно-то не подпускают, рано, ну, а заметок я порядочно уже напечатал. Иные и за подписью.

— Похвально, похвально.

— Я ведь только с практики. В районной газете работал, на Урале. Знаете Соликамск? Вот в этом городе. Центр калийной и бумажной промышленности. Там я даже две статьи напечатал и один фельетон.

— Похвально, похвально. Про что фельетон-то?

— Да глупая одна история.

— Фельетоны всегда про глупое, это верно. Про глупцов. Да, молодой человек, избрал ты профессию обоюдоострую. Иной из вашего брата и богат и знаменит, а иной — едва перебивается, как говаривали, с хлеба на квас... Зыбковатая профессия. Мой Григорий подался в технику, ну, а Александра, как то и подобает девице, изучает языки. В университете нашем — английский, дома — французский. Надо, надо нынче быть с языками.

— Уж если МГУ, так надо было на филологический, — сказала Анна Николаевна. — Основательнее знания. Журналистика действительно нечто ненадежное.

— По стопам отца, может быть, двинул? — спросил Уразов.

— Да нет. — Анна Николаевна повела рукой, будто искала в воздухе нечто неуловимое. — Отец у Кости и не поймешь кто.

— Мой отец занят очень важным делом, — сказал Костя. Голос его вызвенел обидой. Уже в который раз эта старуха с явным пренебрежением отзывалась об его отце. И Костя принимался заступаться за него, словно отец нуждался в этом заступничестве. А отец не нуждался. Он честно работал, его уважали, не было у Кости ближе друга, чем собственный отец. Костя встал. — Вы не должны о нем плохо говорить, Анна Николаевна. Вы его совсем не знаете.

— Да ты никак обиделся? — Анна Николаевна уставилась на племянника, не веря глазам своим. Ей не перечили в ее доме, не привыкла она, чтобы так-то вдруг кто-то встал из-за стола, гневно повыпрямившись. Еще миг, и она бы сама обиделась. Дрогнули бы оскорбленно щеки, губы бы ужались. Прав ли был Костя, нет ли, а уж право обижаться Анна Николаевна присвоила бы себе.

Еще миг, и Костя шагнул бы к двери. И не удержал бы его потом. Нет, не потому, что был он как-то особенно упрям, обидчив, вспыльчив, а просто потому, что молодость не умеет легко сминать в себе обиды, затаивать их, приберегать до случая. Это удел иных лет, зрелых, когда жизненный опыт придет. Красиво звучит: жизненный опыт, красиво бывает человек сдержанный, благовоспитанный, все так, но вот кто красив был сейчас, так это Костя, пребывавший в святом гневе своем и никаким не обереженный жизненным опытом. Лицо его было открыто, и все в этом юном лице прочитывалось.

Еще миг... Но тут вмешался Уразов. Он вскочил и горой встал перед Костей. Голос его загудел, всякому иному голосу преграждая путь.

— Вот молодец! Ну, что за молодец! Правда! Открыт! Отцова честь ему дорога! — Уразов любовался Костей, так и сая его за плечи поворачивал, разглядывая, а заодно и усаживая. И усадил, ручищи-то у него кого хочешь усадят. — Анна Николаевна, голубчик вы мой, да вам просто повезло на племянника! — Уразов даже разволновался и вполне искренне. Впрочем, жизненный опыт, а уж у Уразова-то он был, каким только не научает нас актерским наукам.

Смягчилось лицо у Анны Николаевны, разжалось. И верно: что мальчик за отца вступился, разве это худо?

— Костя, да ты не так понял меня. Ну, прости, сделай милость. Прощаешь?

— Простил, простил! — подхватила, зачастила Лиза. — Он не так понял, он погорячился. Костенька, да ты улыбнись, улыбнись, чего насупился?

— Оставь его, Лиза, — сказал Уразов. — Тебе-то зачем его улыбка!

— Да не мне, не мне. Разве я о себе пекусь?

— То-то и оно! — Уразов хмыкнул в бороду. — Пугает меня, Елизавета, этакая безмерная доброта. Ладно, так что же за работу, Костя, делает на нашей грешной земле твой отец?

«Какую работу? А очень, очень важную... Он... Он по образованию орнитолог, ну, орнитология — это наука о пернатых. И он работает инспектором по заповедникам. Вот какая у него работа. Он следит, чтобы не уничтожали животных, птиц, чтобы в холода их подкармливали, в наводнения и при пожарах спасали, чтобы их зимовья не разорялись. Вот такая у него работа. Разве это маловажное дело или легкое? Отец месяцами не бывает дома. То он в Астрахани, то в Гасан-Кули. Он и сейчас в Гасан-Ку-

ли. Это на Каспии, на границе с Ираном. Там громадная птичья колония. Там самые редкостные породы птиц. Например, розовые фламинго. А Каспий мелеет, и птицам приходится менять насиженные места. Там очень тревожное положение сейчас. Надо, чтобы птиц никто не пугал, чтобы ни единого выстрела не прогремело, когда идут стаи. А браконьеров еще хватает. И такие даже попадают, что в инспектора могут пальнуть. Его работа связана с опасностью. То ураган, то лесной пожар, то буря вдали от берега. И браконьеры, браконьеры. Иной даже какой-нибудь начальник. Кричит, документами размахивает, угрожает. А отец стоит на своем. Он никогда не уступит, если прав. И его уважают, я знаю, его во всех заповедниках уважают. Он справедливый и добрый...»

Костя молчал. Все ждали его ответа, поглядывали на него, а он ни слова. Эту речь свою об отце, о его работе Костя сам для себя произнес. Вслух он ее произнести не мог. Вслух надо было совсем немного слов сказать, всего только несколько точных слов. Отец не нуждался в защитительных речах. Он работал трудно и честно. Ему маловато платили, его звали в научно-исследовательский институт, где платили больше, советовали написать диссертацию, и тогда бы, став кандидатом наук, он и совсем бы много стал зарабатывать, но отец в институт не шел, а диссертация подвигалась у него очень медленно. Некогда было заниматься писаниной, надо было спасать, спасать птиц и зверей, в которых стреляли чуть ли не из пулеметов и чуть ли не из-за каждого куста по всей планете и которых травили, того не желая, когда посыпали поля всякими химикатами, и губили, губили, сводя лес, меняя русла рек, меняя лицо земли. Нельзя было терять ни минуты.

— Что же ты, что же ты молчишь, Костя? — спросила Анна Николаевна. Ровно прозвучал ее голос, она не хотела его обидеть.

Да, а как скажешь обо всем об этом? Целую речь надо держать, а ему не хотелось, чтобы получилась речь. Он хотел сыскать в себе всего каких-то несколько слов, но весомых, но таких, чтобы все тут поняли, каким громадным делом был занят на земле его отец.

— Он орнитолог, — сказал Костя. В глазах его стояли слезы. — Он инспектор по заповедникам. — Костя умолк. Он ничего не сумел сказать, как надо бы было. Не нашлись слова.

— Ясно, любит птиц, животных! — подхватил Уразов, помогая Косте. — Это — дело благородное, ничего не скажешь.

Костя наклонил голову, соглашаясь, но тихонько наклонил, страшась, что слезы выкатятся из глаз. Он молчал, он боялся, что и голос подведет его, комок стоял в горле.

— Благородное, благородное дело, — повторил Уразов. — А то ведь мы, охотнички, всю дичь повыбьем.

Костя поднялся.

— Можно, я пойду погуляю? — трудно выговорил он. И пошел, не дожидаясь ответа.

— Иди, иди, Костя, — нагнал его уже в дверях ровный голос Анны Николаевны.

4

Все так же пекло солнце, но Костя про жару забыл, перестал ее замечать. Когда задумался и если они серьезны, мысли твои, тут уж не до жары или холода. А все-таки почему его отец нуждается в заступничестве? Почему то, что он делает, кажется иным — вот тетке, да и старшему брату отца так казалось, — ну, что ли.

несерьезным каким-то делом, несолидным, не очень-то заслуживающим уважения? Обыватели, стяжатели потому? Но разве врач Лебедев был обывателем? И разве Анна Николаевна, тоже врач, тоже всю жизнь честно и для людей потрудившийся человек, каков бы там ни был у нее характер, — разве она обывательница? Нет, этого не скажешь. И все же именно они всю жизнь не умели понять его отца, оценить его работу, признать за ним право жить так, как он жил. И все потому, что он мало зарабатывал, не достиг чинов и степеней, не обзавелся ни дачей, ни машиной? Но, стало быть, они обыватели и стяжатели — эти старшие Лебедевы, хоть и были они врачами, людьми для людей? Туман, путаница, ничего не понять. В отца Костя верил, в своего отца он верил, и веру эту никому не дано было поколебать. Его отец был добрым, надежным, он был настоящим. Но он действительно почти ничего не достиг в жизни. Ни благ никаких, ни степеней, и даже война — а он провоевал всю войну, был солдатом, потом дослужился до капитана, — даже война не одарила его приметными наградами. Один-единственный орден Красной Звезды был у отца. В детстве этот орден казался Косте самой громадной в мире наградой, самой весомой. Но то в детстве. А ныне пришла пора все оценить настоящей ценой, пришла взрослость. Орден Красной Звезды был не самой великой ратной наградой, а должность инспектора заповедников и охранителя птиц — не самой почетной на земле.

Красив был этот город, хороша была эта улица, по которой брел сейчас Костя. В ней тишина жила — под зеленым сводом старых карагачей. Этот свод тянулся, уходил далеко, в загадку. Дома за деревьями едва проглядывались. Верилось, в этих домах интересно живут люди. На такой улице, где морщинистые, вековые, досматривают за жизнью людской стволы, эта жизнь не должна, не может быть мелкой и суетной. Выйдет человек на свою улицу, глянет на далекий свод, на деревья эти от века, услышит горный ручей в арыке, угадает в близкой дали невидимые горы, ветра горного глотнет и сам станет сродни всему этому. Добрай станет, шире, спокойнее. Но ведь на этой улице и дом Анны Нико-



лаевны. Из многих комнат, набитых вещами. Дом врачей, дом, куда, наверное, стучались даже ночами, ища помощи. Дом, в котором Косте трудно было еще хоть день прожить. Туман, туман — ничего не понять.

Навстречу ему шли двое — девушка и парень. Она шла легко, не чувствуя жары, и, казалось, старые плиты тротуара были для нее классами в детской игре: вот-вот начнет прыгать. Она что-то звонко говорила своему спутнику, переплетая слова смехом. Весело, легко ей жилось на свете. Ее спутник был бородат, был в джинсах в обтяжку, широкий браслет посверкивал на запястье. Да, а платьице на девушке было такое короткое, что никто — ни в Москве, ни в Париже и Лондоне — не посмел бы упрекнуть ее в провинциальности.

Они поравнялись с Костей. Он набрался смелости — все же он был здесь представителем столицы — и поглядел на них в упор, чуть ли не бесцере-

монно. Поглядел, и ему показалось, что он где-то уже их видел. Этого бородатика наверняка где-то видел. Нос протестный, а глаза лукавые, припятанные, и яркий хватистый рот торчит из бороденки, улыбочиво, бойко посверкивая зубами. Совсем недавно где-то видел он это лицо. Артист какой-нибудь? Кинозвезда заезжая? И она тоже кинозвезда? Ведь и ее лицо показалось ему знакомым. Поднятое, даже вскинутое, веселое, с удивленными и смеющимися бровями. Что-то и в этом лице было знакомо, напоминало, не припоминаясь. Глаза у нее были большие, в синеву, но тоже припятанные, не всмотреться. А может, хоть и столичным был Костя жителем, хоть и студентом МГУ да еще и из смелого племени журналистов, а может быть, просто смутили его эти в синеву глаза? У девичьих глаз есть такая особенность — смущать и загадки загадывать.

Костя отвел глаза, чувствуя, что и его рассматривают и тоже в упор.

— Стоп! — вдруг сказал молодой человек, бесцеремонно ухватив Костю за руку. — А ты не Лебедев ли, не наследник ли, что прибыл из столицы?

— Да, я Лебедев.

— Ну вот! А я смотрю, чьи это парень приметные брови нацепил? Не доктора ли Лебедева? Будем знакомы: сын друга вашего покойного дядюшки. Григорий Уразов.

— Костя Лебедев.

— А это моя сестрица, мадемуазель Александра Уразова. На год меня моложе, на десять лет умнее и на целое столетие образованней. Впрочем, не зубрила. Целеустремленность, воля. Я противоположность.

— Не зовите меня Александрой. — Она разглядывала Костю серьезно, внимательно, будто он был вещью какой-то и надо было решить, чего эта вещь стоит. — Это имя вам не подходит.

— Мне?

— Да. У меня ведь множество имен. И это очень удобно, знаете ли. Я — Александра. Аристократизм, торжественность, официальность. Я — Саша. Это уже некий интим, не правда ли? Я — Шура, наконец. Это, как домашнее платье, это для родственников. Зовите меня Ксаной.

— А это имя как растолковывается?

— Сами сообразите. Для вас оно подходит. А мы идем к Анне Николаевне. Наш отец был выслан вперед. Он вам не повстречался? Во-первых, бороды, а во-вторых, чуть-чуть похож на меня с братом.

— Да, Лукьян Александрович уже прибыл. Верно, вот теперь я понял, почему вы оба мне показались знакомыми. На отца своего похожи — вот почему.

— Мы — на отца, вы — на дядю. Верный признак заурядности, правда?

— На кого же прикажете походить?

— На самих себя. Чтобы быть в единственном экземпляре. Ну, пошли. Старики чтут в нас почительность. Из нашего папеньки можно веревки вить, если только не будешь опаздывать к обеду.

— Мудра, мудра, — сказал Григорий. Он шел позади, уступив Косте место рядом с сестрой. — А вы посмотрите. Хвала аллаху, парень оказался не карликом. Это было бы ужасно, если бы он был, скажем, ниже тебя на голову.

— Ну и пусть бы, велика беда, — сказала Ксана.

— Ах, сестричка, не прикидывайся. Не твоя ли это заповедь: откровенность превыше всего?

— Но только не в твоих устах, брат Григорий. Солгать, куда ни шло, ты еще сможешь, но быть откровенным — это требует мастерства. Вот, учись. — Она

обернулась к Косте. — А знаете, юноша, ведь вас прочтат мне в женихи. Вам сколько лет?

— Скоро двадцать.

— А мне скоро девятнадцать. Словом, разрыв в возрасте всего год. Мало. Вы москвич?

— Да.

— Странно, вы как-то не похожи на москвича. Вот покраснели вдруг. Вы не пугаетесь, я за вас замуж не собираюсь, хотя вы и выгодная партия. Ну, вы не как личность, а в качестве наследника одного из крупнейших состояний нашего города. Гриша, умоляю, загляни в его лицо. Он сейчас умрет от разрыва сердца. Костя, я напугала вас? О, простите! Но это заговор стариков. Я обещаю вам: вы никогда, никогда не станете моим мужем. Разве только...

— Ага, все-таки лазейку для себя ты оставляешь, сестрица.

— Глупый, не для себя. Нельзя же лишать человека пусть крошечной, но надежды.

— Боже мой, и я брат этой умнейшей из женщин?

— Да, умнейшей, и тебе не удастся, братишка, меня сплавить.

— И в мыслях и в мыслях не держу! — Григорий клятвенно воздел руку с пижонским браслетом, который сполз ему на локоть.

— Погляди-ка на него, Костя. Провинциальный актер! Фальшивый голос, фальшивый жест. Давайте условимся: никакой фальши в наших отношениях. Решено?

— Решено. — Они подошли как раз к дому Анны Николаевны, и Костя нажал на звонок, да так сильно, что звонок захлебнулся.

— Допекла ты парня, — сказал Григорий. Сочувствуя, он положил Косте на плечо руку. Отцовским движением, сам того не ведая. И хотя рука у сына была куда полегче, Косте она тоже показалась тяжелой.

Отворилась дверь, на пороге возник животом вперед Лукьян Уразов, и где-то под локтем у него просунулась Лиза.

— А, уже познакомились?! — Уразов излучал радушие и даже благодушие, но глаза его, припятанные, посматривали зорко, синими точечками посверкивая из глубины.

— Пожалуйте, пожалуйста, пожалуйста, — шелестел Лизин вкрадчивый голосок из-под его локтя.

5

Стол был накрыт в саду. Костя подумать не мог, что при доме есть сад. Да еще такой. И это в центре города. А сад был удивительно красив, он невелик был, с десятком деревьев, перевитых виноградной лозой, но деревья эти были хороши, с раскидистыми, сильными ветвями, с еще не выщербленными осенью кронами, и деревья эти стояли не по ранжиру, а вольно. В их листьях рдели неправдоподобно громадные плоды. То были яблоки, но царственные какие-то. И где-то журчала вода, ручей протекал. Его только слышно было, и все же исходила от него прохлада. Доцветали в этом саду удивительные, невиданные цветы, совсем такие, как на картинках к сказкам. В сад, как в лицо человеческое, можно влюбиться с первого взгляда. Костя влюбился в этот сад, едва ступил в него. И сразу отыскал в нем глазами близкие сердцу укромные уголки, и жалко ему стало, что раньше не знал он этого места, раньше, когда еще можно было, не стыдясь никого, играть в разведчиков, в охотников на львов, а лучше — на пятнистых пантер. Пан-

тер было не жалко, они были коварными, беспощадными.

Вот в этом саду, под навесом из виноградных лоз, — руку протяни и сорвешь виноградину — и был накрыт стол для гостей. И самым диковинным на этом столе, щедро уставленном всякими яствами, был самовар, российский, пыхтящий, жаркий самовар.

Анна Николаевна уже перебралась в сад, сидела в кресле во главе стола. Над креслом укреплен был большой из парусины зонт. Где-то, на какой-то картинке видел Костя такой зонт, такое кресло. И этот стол в саду с самоваром он тоже где-то когда-то уже видел. То ли фотография то была, то ли в фильме каком-то промелькнуло. В фильме про старину, про времена, возможно, не столь уж давние, но безвозвратно канувшие. Нет, не канули, да и вовсе не худо в них снова пожить — в тех временах, где сад чудесный, где самовар-симпатяга, где щедрый стол под тенистым деревом, а рядом ручеек журчит и девушка, которую зовут Ксаной, такая же, та же, почти та же, что и в рассказах у Чехова, в рассказах у Бунина. Нет, и та и не та. Нет, она нынешняя. И братец ее тоже. А вот спектакль здесь ставится из старых времен. Но решено, он в этом спектакле участвовать не будет. Разве что поглядит со стороны. Это даже забавно и даже полезно, если учесть, что он избрал профессию журналиста. Изучай жизнь, парень. Пригодится.

Его звали к столу, Анна Николаевна поманила его вялой рукой и указала на место справа от себя и подле Ксаны. Та уже чинно выпрямилась на стуле, стародавнем таком с плетеной из соломки спинкой. Костя сел рядом с Ксаной, и она скосила на него дерзкие свои, но сейчас приглашенные ресницами глаза.

— А что я говорила? — чуть шевельнула она губами. — Заговор! — Громко же и для всех она произнесла: — Говорят, в столице мини-юбки уже сходят? Верно это? Вместо мини стали макси носить, до пят. Верно?

— Верно, — кивнул Костя. — Стали встречаться особи в юбках до пят.

— Внял господь нашим молитвам, — сказала Лиза и благочестиво возвела глазки. — И во всем так будет. Поворот во всем! — Она пророчески вскинула руку.

— Боярыня Морозова, — сказал Григорий. — Внимание, внимание!

— А ты, бородушка, помолчал бы. — Лиза не обиделась, что с боярыней опальной ее сравнили, она была старушкой не обидчивой, но и спуску не давала. — Сам-то, сам-то каким стал. Ни дать, ни взять — опричник.

— Григорий Уразов! Стольничий царя Ивана! — сказала Ксана, пригавывая глаза ресницами. — А что, звучит. Жаль, опоздал, ты, братец, родиться.

— А я так думаю, что в самый раз Гришуна мой на свет вылупился, — сказал Уразов-старший. Он посмеивался, но был и серьезен, он был горд сыном. — Время наше затейливое, а Россия и всегда была не проста. Как там ни называй русского человека, а русский человек из любого обличья проглянет. И, дивное дело, похож, похож, один муж на другого, хоть и века между ними пролегли. На том стоим.

— В чем похож? — тихонько спросила Ксана, и ее глаза вспыхнули сердитой синевой. Она была не согласна с отцом. Она спорила с ним, и это был не сиюминутный спор. Потемневшие глаза ее, голос, который надо было сдерживать, — все говорило, что спор этот был давний.

— Во всем! — сказал Уразов-старший и строго глянул на дочь. — Природа человеческая — самый упрямый материал на свете. Это я тебе как скульп-

тор говорю. Гранит подчинится резцу и молотку, глина ляжет под пальцами, металл уступит огню. Природа человека, душа человека — даром, что сие все неосознано, — ни под какими кувалдами, ни в каких плавильнях не переменится. Ну, затаится — это так. Ну, на сто лет иной прикинется — тоже возможно. Но прикинется, а не станет. И чуть что, чуть щелочка какая-нибудь, а уж весь объем былой восстановлен. Доченька, не спорь со мной, глупа еще ты, хоть и умная. Поживи, пооглядись.

— Так я, выходит, стародавняя? Только тряпки на мне новые, только иные приметы жизни вокруг, а суть моя, душа моя прапрабабушкина? Уразовы — мы кем были при царе Иване?

— А может, и опричником был какой-нибудь из Уразовых, — усмехнулся отец. — Так далеко я в свое прошлое не заглядывал. Надобности не было. Разве вот Григорий заглянет или ты. Нынче у многих молодых тяга выявилась генеалогией своей заняться. Или не так? То-то и оно. Ну, кончили спор. Прямо беда это у нас, интеллигентов: только за стол, а уж и заспорили, зафилософствовались. Костя, а ты со своим отцом тоже, чуть что, в спор пускаешься?

— Спорю, конечно, — сказал Костя. — Не чуть что, но спорю.

— О пустяках каких-нибудь или о серьезном, как вот мы с дочкой?

Костя задумался. Как ответить? Конечно, спорил и он с отцом, и нередко. Но иной, что ли, звук был в этих спорах, звук, который живет помимо слов и в котором часто все дело. Просто спорили, не ожесточаясь. Звук в негромком споре Ксаны с отцом был какой-то ожесточенный. Это даже не спор был, это была ссора, и она возникла не только что.

— Как ты, дружок, медленно думаешь, — миролюбиво обронила Анна Николаевна. — Ну, ответь же нам что-нибудь.

— Да, я спорю с отцом, но необязательно вслух, — сказал Костя. — И отец тоже со мной спорит. И тоже не всегда вслух. Вот так мы спорим, спорим, а потом, смотришь, сама жизнь наш спор и рассудила. «Этот ты повзрослел», — говорит тогда отец. Или о себе: «А я-то, оказывается, отставать стал».

— Какая идеальная семья! — усмехнулся Григорий. Алый рот под русой подковкой усов, глаза голубоватые и холодноватые, весь лик заносчив и насмешлив. И верно, опричник. — А вот мы и вслух спорим и помалкивая. И никак что-то к согласию не придем. Прямо уразовщина какая-то.

— Притязаете сверх меры, — благодушно заметил Уразов-старший. — И то тебе дай и то предоставь. Эх, уж я жалеть начинаю, что не голодранцами вас взрастил! Меньше имеешь, на меньшее и притязаете, малости рад. Дурак я, хоть и умный.

И снова, даром что проговорил все это Уразов благодушно и даже посмеиваясь, звук сказанного был не благодушен, не миролюбив, а был ожесточен, как звук давней ссоры.

— Лукьян Александрович, а ведь коньячок на столе, — сказала Анна Николаевна и глазами скомандовала своей Лизе: мол, наливай, потчуй гостей-то. — И самовар заждался. Пыхтит, свистит, а мы на него ноль внимания.

— Моя вина, моя вина, — всполошилась, захлопотала Лиза. — Уж больно умные речи. Заслушалась.

Принялись за чай. Ксана стала учить Костю пить чай, как пьют его в здешних жарких местах. Во-первых, без сахара, а под карамельку или отломив кусочек от сотового меда. Во-вторых, не из стакана и не из чашки, а из пиалы. И пить надо маленькими глотками и дышать, дышать чаем, чтобы глазам стало влажно. Она подхватывала на ложечку кусочки меда, смеющийся ее рот стал медовым, и вспыхива-

ли зубы, и быстрый кончик языка, словно дразня, показывался и исчезал, показывался и исчезал.

Костя был старательным учеником, но ему трудно было управиться с пиалой и с медом, потому что глаза его были прикованы к этому дразнящему кончику языка, к этим перламутровым от меда губам. Одна капелька меда стекла Ксане на подбородок. Надо было как-то сказать Ксане об этом. Костя ничего лучшего не придумал — да он и не думал, он был в бездумье в эти минуты, — как протянуть руку и подхватить на палец эту капельку.

Пришли новые гости. Какой-то старичок в жарком суконном костюме, какие-то две пожилые дамы с громкими, требовательными, капризными голосами вполне и во всем преуспевших деловых женщин.

Смутно различал Костя лица сидящих за столом: он пил чай, как его научила Ксана, держа пиалу близко у глаз, и глаза, и верно, стало заволакивать, им стало влажно и жарко. Вполуха слушал Костя и то, что говорилось за столом. Ну, кричали дамы, ну, басил Уразов, ну, важно и отрывисто что-то говорила Анна Николаевна. Ну, похмыкивал язвительно Григорий, а старичок, смешливый донельза, тоненько все время смеялся, галантно прислушиваясь к тому, что нашептывала ему быстрогубая Лиза. Костя смутно все видел и худо все слышал, едва поспевая уследить за пиалой, за ложкой, зачерпывающей мед, за дразнящим кончиком языка Ксаны, за движением ее облитых перламутром губ и едва умея вникнуть в смысл того, что она ему, смеясь, говорила, в смысл этих простеньких поучений про чай и про мед, а все же полных глубочайшего смысла.

Все за столом уже давно приметили, как труден Косте этот урок чаепития. И немало уже шуток было отпущено по его адресу. На счастье, он их не слышал. Но Ксана слышала. И ей вдруг невольно стало от этих поглядываний, улыбочек, и сама себе вдруг она опротивела, вся ее игра стала ей противна. Она поднялась стремительно.

— Спектакль окончен! — Она взяла Костю за руку. — Да оставьте вы пиалу наконец! Пошли! — Она повела его за собой, не выпуская руки. — Деревья, милые деревья, укройте нас от суетного мира!

6

Всего несколько шагов понадобилось сделать, чтобы сгинул суетный мир, чтобы встал перед глазами мир благословенный.

Здесь, у литой из глины стены, у древнего дерева, так оплетенного лозой, что, казалось, дерево это и родит виноград, и где влажной была земля — ручей был рядом, — здесь прохладно было и тихо, и наново здесь увиделась Косте Ксана, она грустной увиделась, печальной даже и сердечной, не насмешливой — совсем иной, чем там, в суете.

— Надоело, — устало сказала она, устало прислонившись к стене. — Все надоело. Сбежать бы куда-нибудь. Ну, что будем делать, Костя?

Она вгляделась в него, и он не отвел глаз, он тоже глядел на нее. Пожалуй, только сейчас он ее и рассмотрел как следует.

— Не вздумайте только влюбиться в меня, — сказала она. — Или уже готово, влюбились?

Он молчал. Рассмеяться бы ее словам, но как-то не смешно ему было. Ответить бы какой-нибудь бойкой фразой, но не придумывалась такая фраза. Тихо и робко журнал рядом ручей. Тихо и робко было на душе у Кости. Тихо и робко. Он не знал себя таким. Нет, он не влюбился в нее, но он не знал себя таким тихим и робким.

— Не смейте, не смейте в меня влюбиться! — настойчиво повторила она. — Старики дичь какую-то придумали, какую-то сделку, а мы им станем подыгрывать, да? Ни за что! Я не продаюсь за дом, за машину, за пачку облигаций в ящике комод! Я не то-вар! Условились? Решено? Мы расстроим их планы! Решено?

Он молчал.

— И потом, я люблю другого. Вам это понятно? Влюблена, втрескалась по самую макушку. Он не достоин мизинца моего, как считают все окружающие, но я люблю его назло всем окружающим. Вы что, оглохли, онемели?

— Нет, — сказал Костя, — со мной все в порядке. — Он услышал, как тишина и робость, поселившиеся в нем, заспешили, затолкались, чтобы покинуть его. — Решено, я в вас не влюблюсь. Условились.

— Ну, спасибо. — Она протянула ему руку. — Вы славный парень, но...

— Надо бы выбраться отсюда, — сказал Костя. — Я начинаю отсыревать от этого ручья.

— Я тоже. — Она снова взяла его за руку и повела. — Сейчас вступим в зону огня. Готовьтесь!

На миг все умолкли за столом, когда Ксана и Костя вышли на площадку перед домом. Сцена — и зрительный зал. И на сцене — Костя и Ксана.

— Давайте подурачим их, — шепнула Ксана.

Пойми ее!

Она взяла его под руку, она глаз с него не сводила, будто заслушалась его, а ведь он молчал. Она вокруг никого не видела, только его одного и видела. Ну пойми ее! Или это потому, что она снова попала в суетный мир? Косте не хотелось никого дурачить. Он сейчас сам себя почувствовал одураченным. Эта улыбка — ему, или это только игра? Но если игра, то как же эта девочка хорошо умела притворяться.

— Папа, мы пойдем погуляем! — звонко сказала Ксана. — Можно?

— Можно, можно, — отозвался Уразов. — Костя, вверяю тебе дочь свою. — Благодушием наполнил бас Уразова. Кругло все получалось, славно, по начертанному — вот про это и пел уразовский бас.

— Анна Николаевна, можно? — снова зазвенел голос Ксаны. Сама покорность, сама благовоспитанность, но и некое вот волнение, смущенность некая — оттого и вызвенелся голос.

— Можно, девочка, можно. — Кругло, славно все получалось, по задуманному.

— Занавес! — шепнула Ксана Косте и побежала, увлекая его к дверям, за которыми их уже никто не мог увидеть. И только прикрылась за ними дверь, как Ксана выпустила его руку, и вдруг даже сердитым стало ее миг назад улыбавшееся лицо. — Повели! Обрадовались!

— Я и сам было поверил, — сказал Костя. — Вам бы в артистки идти, есть способности.

— Костя, вы не обиделись? — спохватилась Ксана. — И верно, команду, заставляю валять дурака. Простите. Прощаете? Надо было все же проучить наших старичков. Они, видите ли, так решили. Прикинули, подсчитали — и решили. Но мы, мы решили иначе. Верно?

— Верно, — кивнул Костя.

— Проводите меня, надо доиграть все же нашу игру.

— Хорошо, давайте доиграем.

— Вы все-таки обиделись на меня. Да?

— Нет.

Они прошли через дом — по пути Костя прихватил свой новый пиджак — и вышли на улицу. Еще солнце светило, но оно уже подкатилось к горным вершинам, уже зацепилось краешком за заснежен-

ный пик, и теперь вот-вот жди, что нагрянет вечер. В городах рядом с горами всегда так: сразу рассвет, сразу и вечер. Об этом Косте рассказывал отец. Про горы, про реки, про птиц он много всего порассказал сыну. А сколько полезных советов он ему надавал, чему только не научил: и костры в дождь разжигать, и верхом ездить, и стрелять, и боксировать, и даже приемам японской борьбы обучил! А вот как быть Косте с Анной Николаевной, как быть ему с этой девушкой Ксаной, что шла сейчас рядом легким шагом, будто пританцовывая, — этому отец его не обучил. Да и не мог, пожалуй. Сам учись, Костя. Сам выбредай.

Жара спала, и ветер даже подул. Нет, в этом городе жить можно. Невысокие дома, старые дома с оградками чуть ли не вровень с крышей — эти дома уже не были загадкой для Кости. В одном из таких домов и он поселился. А вот за такой вот аляповатой, с побитой штукатуркой стеной может быть сад, — да, он и виден, этот сад, верхушки деревьев видны, — удивительный может быть сад, где тишина, прохлада, где ручей протекает.

— А вы в каком доме живете? — спросил Костя у Ксаны. — В таком же, как и у Анны Николаевны?

— Примерно. Но чуть получше, побольше. Отец ведь у меня человек хозяйственный.

— И сад при доме?

— И сад при доме. И даже фонтан есть в саду. И виноградник не запущен, как у Анны Николаевны. У нас замечательные сорта винограда растут. Могу угостить.

— Хорошо вам тут живется, — сказал Костя.

— Что вы?! — Она даже остановилась, чтобы посмотреть на него, не шутит ли. — Да я бы хоть сейчас... — Она не договорила, рукой только повела. Рванулась вверх рука и упала. Костя понял этот жест: на волю, на волю рвалась Ксана.

— А почему? — спросил Костя.

— А потому... Ну, вот и живите у нас, оставайтесь!



Ведь вы наследник. Все будет вашим — и дом и сад. Еще машина, еще дача. Много, наверное, денег. Остаетесь? Решили?

— Это все туман, — сказал Костя. — Не пойму, что это значит — наследник. Я Анну Николаевну едва знаю. Почему я ее наследник, ну, почему?

— А потому, что она старая, что нет у нее никого из родных, кроме вас. Вот вас и вызвали. Хотят изу-

чить, приручить. Ведь жалко же отдавать все кому-то незнакомцу. И планы насчет вас уже строят. Да, да, Костя, вам еще это наследство надо будет выслужить. Вам остаться здесь предложить, предложить перевестись из МГУ в наш университет. И вот вам уже и невесту начали подбирать, ну, совсем как у купцов лет сто назад. Стерпится — слюбится. Была бы ровня по достатку, своего бы была круга. Отец мой за эту идейку зацепился, а может, сам ее выдумал, — знаете почему?

— Ну?

— А чтобы и меня хорошо пристроить и Гришеньку нашего не обделить. Имущество. Наследство. Движимость — недвижимость. Поняли? Ну, а старушке вашей тоже это выгодно. Родня сразу у нее появится, сам Лукьян Уразов — родственник. Шутка ли! В нашем городе отец мой человек известный.

— Он скульптор?

— Да. У нас в городе все свое: и скульпторы, и художники, и композиторы, и писатели. Хорошие, нет ли, — это другой разговор. Когда я маленькой была, мне работы отца нравились. Я всегда радовалась, что у него очень похоже получается, сразу узнаешь, кого он лепит. Ну, а вот выросла... Шибко мы теперь умные стали, правда? Шибко образованные. Про Микеланджело знаем, про Родена, про Антокольского. Трудно стало нашим отцам. Вашему, как, не трудно?

— Он у меня просто инспектор заповедника, птичек стережет, чтобы не выбили. Если и трудно ему, то не по моей вине.

— Нет, и ему трудно с вами, Костя. Моему — по одной причине, вашему — по другой. Выросли мы, поумнели, образованные, с запросами, с вопросами. Хотя нет, вот Гриша наш отца вопросами не допрашивает, работ его не критикует. Гришке бы только денег карманных побольше — и нет конфликтов. А деньги у отца есть, вот он и откупается. Знаете что, не хочется домой. Пойдемте в кино.

— Я не против.

Им повезло: они успели к началу сеанса, и билеты в кассе были. Правда, фильм был старый, они уже видели его. Но это был такой фильм, который нетрудно и во второй раз посмотреть. Французская комедия «Семнадцатое небо». Очень милая современная сказка, местами даже остроумная и трогательная.

Кинотеатр наречен был гордым именем: «Ала-Тоо». Это было имя горных вершин, тех самых, за которые вдруг упало солнце. Миг один — и его не стало. Не закатилось, не зашло, а упало за горы. Держалось, цеплялось — и вдруг будто пальцы разжало. И стало разом темно. Повсюду фонари горели, а перед театром и вообще было светло от прожекторов и лампочек реклам, но все равно тьма нагрянула, потому что угасло небо. Только потом, уже когда глаза привыкли, стали загораться в небе звезды. То одна, то другая. Начало небо снова оживать, разгораться. Вдруг месяц откуда-то вынырнул, мусульманский, кривой, как ятаган. И в изгибе его зажглась большая звезда. И они поплыли рядом, рожек месяца и звезда, минуя тучи. Такого неба над Москвой Костя не знал. И этой вызвездившейся тьмы тоже не знал. И этих гор, запросто упрятавших солнце, и этих арыков, вдруг зашумевших в темноте, и этих деревьев, тоже зашумевших листвою, будто темнота развязала им руки, — ничего этого прежде Костя не знал. И эту девушку, рядом с которой он стоял, ожидая, когда прозвонит звонок на сеанс, эту девушку, поразившую его озорной откровенностью своей, озорной, да не без горечи, — и ее, такую вот, он тоже в первый раз в жизни встретил. Далеко отъехал он от родного дома, в дальний край, в места иные. Он притих, наш Костя, он стал на се-

бя не похож. Там, дома, разве он такой бы был, разве бы так терялся, так не умел бы ответить? Глянули бы на него те, кто знал его в Москве, не признали бы, пожалуй. Он сам себя не узнавал.

Звонок, а вот и звонок. Они вошли в зал, в неожиданно большой, высокий, из сборных безликих стен и заставленный современными креслами. В таких залах, которые ныне возникли по всей стране, сидишь и не ведаешь, в каком ты городе, в каком краю. Это отчасти и хорошо, если вдруг домой потянуло, если вдруг растерялся отчего-то, заехав в дальнюю даль. Ну, заходи в такой зал и считай, что ты где-нибудь в Черемушках кино пришел посмотреть. Посмотришь, выйдешь, сядешь в автобус — и вот ты и дома. «Где был?» — спросит мать. «В кино». «Хороший фильм?» «Да старый, «Семнадцатое небо». «Есть хочешь? Ряженка, пельмени в холодильнике. Тебе некто Колька звонил. Так и назвался: Колька. Хороший хоть парень?» «Хороший...»

Начался фильм. Парижскому мойщику окон снились всякие страсти-мордасти. Начитался перед сном детективных историй. Да и размышлял перед сном. О красивой жизни. А надо вставать, а надо бежать да вкалывать. Ну, а потом он увидел Ее. И любовь с первого взгляда. Разве так бывает? В жизни, конечно, так не бывает. И эта лестница, по которой он добирался до самых верхних этажей небоскреба, — ведь это совсем уж не по правде. Сценарист и режиссер придумали лестницу, чтобы зритель понял: ему рассказывают сказку. И чтобы зритель не был слишком взыскателен и не придирался бы по пустякам: мол, так не бывает. В сказке все бывает.

Ксане нравился этот фильм. Это потом, когда он кончится, она снисходительно скажет, что фильм совсем пустынный, или еще как-то обидно о нем отзовется. И Костя согласится с ней. Но это потом, когда фильм кончится и они выйдут на улицу. А пока Ксане фильм нравился. Она смотрела на экран и улыбалась. У нее добрая была улыбка, сочувственная, она желала добра этой девушке и этому парню, парижской горничной и парижскому мойщику стекол. Костя поглядывал на Ксану, он больше на нее глядел, чем на экран, и всякая ее улыбка находила отклик и на его лице. Он тоже желал добра горничной и мойщику стекол. Было обидно, что они так все-таки запутались и заврались. Ну чего вы, ребята? Зачем ему придумывать, что он писатель, а ей сочинять, что старинный замок, где ее отец был всего лишь сторожем, принадлежит ее семейству? А по правде разве нельзя? Ведь лучше же, если по правде. К тому фильму и идет, тем и кончится, что он и она скажут друг другу правду. Но — вот странность! — пока они лгут, в фильме все, почти все, как в жизни, а когда скажут друг другу правду, фильм снова станет сказочкой. И снова эта лестница неправдоподобная возникнет на неправдоподобной стене небоскреба. Лгали — и им верилось, они вызвали сочувствие, сказали правду — и лопнул фильм, как мыльный пузырь. Значит, правда не для этого фильма, не для этой истории.

Костя смотрел на Ксану и сравнивал ее с девушкой из фильма, с очень милой девушкой, непосредственной, веселой. А ведь Ксана была красивее ее. Смотри-ка, красивее французской кинозвезды. Она смеялась лучше, задумывалась лучше, была умнее. В таком фильме она бы не уместилась. А в каком бы уместилась? Костя поглядывал на экран, поглядывал на Ксану и придумывал для нее фильм. В этом фильме и он, конечно, принимал участие. Этот фильм начинался на ночной улице, под кривым клинком луны, под звездным небом. Они шли куда-то. Они шли, шли, шли... Дальше у Кости не придумывалось. Наверное, мешал экран, и мешало, что

Ксана рядом. Фильм кончился. Вместе со всеми они поднялись и вышли на улицу, вступили в тьму под звездным небом.

— А все-таки пустая картинка, — сказала Ксана. — Вы тут у нас заблудитесь, я вас провожу.

Она взяла его под руку, и они пошли по темной улице. Шли, шли и пришли к дому Анны Николаевны. По пути лишь несколько слов обронили. Не затевался разговор, но молчание им не мешало. Они все еще были, того не сознавая, в картине. Они додумывали ее, эту историю, которая скоро совсем истает в их памяти, но пока, но еще какое-то не-долгое время будет их занимать.

Улица не была так темна, как сперва показалось Косте. Правда, фонарям было трудно пробивать свои лучи сквозь листву могучих деревьев, но зато там, где лучи пробивались, сразу становилось светло. Полосатой была улица, будто громадная лестница легла им под ноги. Лестница не до крыши небоскреба, а куда-то в самое небо. И они шли, шли по этой лестнице, пока не дошли до дома Анны Николаевны.

Надо было прощаться. Те, в фильме, тоже часто прощались. И очень у них это красиво получалось. Но за них думали сценарист, режиссер.

— Мы еще увидимся? — спросил Костя.

— Наверное, — сказала Ксана. — Наши заговорщики что-нибудь да придумают. — Она вдруг заскучала с ним, и, кажется, заторопилась куда-то. Глянула на часы и даже подалась вперед, так заторопилась. — Я побежала!

И верно, побежала, забыв даже руку протянуть. Побежала по полосатой улице. Костя ждал, не оглянется ли. Нет, не оглянулась, позабыла про фильм.

когда была. Не с кем ходить. Не двум же старухам туда заявиться. Только людей насмешим.

— А помните, Лукьян Александрович нас приглашал? — сказала Лиза. — Ведь тоже отказались.

— Лукьян очень шумен. Не с кем, не с кем ходить. Ну, ступай, дружок. Лиза тебя покормит, а там уж как знаешь: книжку ли возьмешь, телевизор ли станешь смотреть, спать ли ляжешь. Как знаешь. — Анна Николаевна ссутулилась и отвернулась от Кости. Она не удерживала его, не собиралась томить расспросами. Ей одиноко, она стара и одинока, но она уже и привыкла к этому.

Косте стало жаль ее. Уж очень горестно это у нее произошло: «Не с кем, не с кем». Он предложил:

— Хотите, прямо завтра и сходим на какой-нибудь фильм. Днем, кажется, «Неуловимые» идут. Смотреть можно.

— Я бы лучше музыку послушала, — сказала Анна Николаевна. — Также не помню, когда была последний раз в концерте.

— Условились, пойдем завтра на концерт.

— Ну вот уж сразу и условились, — улыбнулась Анна Николаевна. — А вдруг у тебя по-иному завтра вечер сложится, не до меня будет. Подосадуешь, пожалуй, что пообещал сгоряча.

— Не подосаду. Только бы билеты достать. Но может быть, никакого концерта завтра нет?

— Как так нет! — оживилась Лиза. — По всему городу афишки расклеены. Певица из Москвы. Знаменитость. И оркестр при ней. Эстрадный. Анна Николаевна, а верно, давайте сходим.

— Да будут ли билеты? Ведь знаменитость.

— Лукьяна попросим, он достанет.

— Ладно, утром позвоню ему. Мол, забесились старухи, на эстрадный концерт, вишь, желают пойти. Лиза, а не грех, тебе-то не грех? Замолишь?

— Замолю! Постом и молитвою! Не согрешишь — не покаешься.

Развеселились старые женщины, заулыбались.

— Ну, спасибо, Костя, спасибо, дружок! — Анна Николаевна попрямее села, пободрее. — Вот и на душе не так грустно, не так одиноко. А теперь ступай, отдохни. День-то, наверное, длинным покажется.

Да, день был длинным, Костя устал. Ни есть не хотелось, ни читать, а еще того меньше разговаривать со словоохотливой Лизой, которая все пыталась накормить его и все о чем-то заговаривала, пока он, сидя на кухне, торопливо пил чай. Но вот и Лиза его отпустила. Он поднялся в дядин кабинет, где на диване уже была постлана постель, на одеяле лежала выутюженная пижама, а подле дивана, робко ступив на волчью шкуру, стояли шлепанцы. Все для него, для того, чтобы было ему удобно. На письменном столе рядом с диваном был поставлен поднос, а на нем бутылка боржома и стакан. И этот боржом был тоже приготовлен для него. Да, еще стоял на подносе маленький бронзовый колокольчик. Костя сперва даже не понял, зачем он нужен, этот колокольчик. Он взял его в руки, гася в ладонях разом же родившийся звук, стал разглядывать. Старинная вещица, длинный язычок так и норовит затрещивать, поднять шум. Вот что! Этот колокольчик, только тряхни его, призывает сюда Лизу, а то и Анну Николаевну. И в этот колокольчик звонил его дядя. Здесь все сейчас было, как при нем. Косте предстояло надеть дядину пижаму, нацепить на ноги дядины шлепанцы, пить, как то дядей было заведено, боржом и звонить, если что понадобится, в колокольчик. Костя вступал в чужую жизнь, ему уготовляли чужую роль. И чужие ружья, скрестив руки, кур-

7

Лиза отворила Косте дверь, едва он позвонил. Будто ждала его за дверью. Наверное, так оно и было: любопытством горели ее зоркие глазки. Но спрашивать ни о чем она не смела. Право спрашивать принадлежало хозяйке дома. К ней — время было еще не позднее — и препроводила Лиза молодого человека.

— Ждет.

Костя был принят в спальне. Анна Николаевна уже приготовилась ко сну, была в халате, причудливо расшитом и тяжелом, ну прямо царское какое-то одеяние. И двигалась Анна Николаевна по комнате медленно, важно, хотя была занята самым будничным делом: стелила постель.

— Я что-нибудь не так сделала? — встревожилась Лиза.

— Не так. Пустое, я сама. Ну, Костя, как время провел? Приглянулась ли тебе Александра?

Александра-то ему приглянулась, но вот Анна Николаевна, пожалуй, и не обязательно про это знать. А как она с Лизой разговаривает, какой тон ледяной!

— О господи, опять молчит! Ну, ну, поняла: не мальчик, чтобы перед старой теткой отчитываться. Прости.

— Мы были в кино, — сказал Костя, смягчаясь.

— Интересная картина?

— Пока смотришь. А посмотрел — и нет ничего.

— Так, так. — Анна Николаевна присела на низенький мягкий стул, глянула на себя в трюмо и отвернулась недовольно. — Я в кино и не помню,

ками хмурились на него со стен. И скалился матерый волк, никак не желая признать в нем хозяина. И книги за стеклами шкафов смотрели смутно и косо, их названия на корешках не прочитывались, эти книги собрал здесь не он.

Костя торопливо зажег лампу на столе и погасил люстру. В полумраке меньше виделось глаз вокруг. Глаз, которые спрашивали: «Это ты, что ли, нынче наш хозяин?» Костя торопливо разделся и лег. Пижаму он положил на стул, а стул подальше от себя отодвинул. Он этой пижамы тоже побаивался. Наденет, а она вдруг стиснет ему плечи, скрутит руки и спросит: «А по какому праву?»

Устал Костя, слишком длинный он прожил день, вот ему и мерещилось. Поскорей бы заснуть! Он погасил лампу на столе. Стало темно, как там, на улице, когда они вышли из кинотеатра. Костя посмотрел на окно, на едва обозначившийся в стене прямоугольник. Сперва ничего не светилось в этом прямоугольнике. Но Костя не отводил глаз, он надеялся, что хоть одна звездочка да зажжется в небе. Нашлась такая звездочка, и другая, и третья. Развиднелась темнота. Костя ждал, не заскочит ли в окно этот кривой, как ятаган, месяц. Ждал и не дождался. Заснул.

А вот Анне Николаевне не спалось. Она и вообще-то худо спала, часто просыпалась от всякого шороха. Иной раз от тишины просыпалась. Тихо было в ее доме, гнетуще тихо. Она просыпалась, прислушивалась, тишина пугала ее. Не тишина, впрочем, а одиночество. Все дело было в нем, в одиночестве, нагрянувшем после кончины мужа. Все дело было в мыслях, которые не давали заснуть, а если заснешь, то не отпускали и во сне и будили, пугая снами. Они были про одиночество. Сны обозревали жизнь, итожили ее. И были совсем не кошмарами — нет, сны были медленными, серого цвета, бессильными, ватными. Просыпаясь, Анна Николаевна пугалась: а не умерла ли? Сердца не слышно было, ничего не слышно было. Но потом — и то была радость — приходила, вспоминалась какая-нибудь боль: нога занозит, в боку колюет. Это означало, что жизнь длится, не оборвалась. Но это означало, что снова придут мысли об одиночестве. И они приходили. Все же, очень похожие на серые, ватные сны.

Вот и приехал племянник. Он спит сейчас в комнате мужа. И оттого, что он там, что комната эта не пуста, и весь дом стал не пустым, тишина в нем стала не такой безнадежной, окончательной, неудачливой. Дом ее ожил. Все тихо, а он ожил. Оказывается, тишина не тогда гнетет, когда совсем ничего вокруг не слышно, а когда знаешь, что везде вокруг пусто. Приехал племянник, он здесь, он в ее доме, снятся ему сейчас молодые сны.

Не спалось Анне Николаевне, она все думала, как сделать, что должно сделать, чтобы Костя остался с ней. Он был ей необходим, он отгонял от нее одиночество. И сколько всего завиделось впереди! Бог мой, сколько всего! Даже почудилось, что зазвучали в ее молодые голоса. Голоса Кости и Александры...

А они и звучали, они сейчас и звучали. Не для нашего бедного уха, а для такого, которому дано слышать сны. Косте снилась Ксана. Он разговаривал с ней. Они шли рядом и разговаривали. Он о себе рассказывал, она — о себе. Чего-то никак не мог понять Костя в ее рассказе. И это мучило его. Слова ее звучали явственно, а смысл их был туманен. Он все спрашивал ее, как маленький: почему, почему, почему? Она была терпелива и объяс-

няла, но он все равно не мог чего-то понять, главного чего-то. И это томило его. Он решил, что им надо вырваться из темноты, что тогда он поймет. Он попросил Ксану, чтобы она повела его в горы, за которыми совсем близко лежало солнце. Ксана согласилась и повела его по узенькой горной тропе. Она шла уверенно, знала дорогу. Все вверх, вверх, вверх. Конца не было этой тропе. Костя спросил:

— Куда мы?

Ксана, смеясь, ответила:

— На семнадцатое небо.

Костя спросил:

— А что будет там?

Голос Ксаны поманил:

— Узнаешь...

Но не было конца этой тропе. Вдруг солнце оказалось совсем рядом, они незаметно подобрались к нему, всего несколько шагов оставалось до солнца. Жаль, нельзя было пройти их, слепило глаза. Костя проснулся.

За окном, разом выкатившись из-за горного хребта, ослепительно пылало солнце.

8

Костя проснулся, вскочил, привычно раскинув для зарядки руки. Но сон не отпускал его, он этот сон еще додумывал. Что же такое не смогла объяснить ему Ксана? Но как теперь узнаешь? Разве что снова заснуть? Костя с силой разводил и сводил руки и чувствовал себя сильным. Он побокси́ровал с воздухом, и кому-то невидимому очень досталось от его кулаков.

Вещи в комнате присмирели, глядя, как боксирует Костя, как высоко подпрыгивает, какой он ловкий. Волк хоть скалился, но покорно терпел его прыжки. Да и скалился он не так страшно, как вечером. Вроде бы даже не скалился, а улыбался. Не очень приветливо, конечно, как и подобает волку. А ружья не хмурились, не насупливали свои брови-курки, они жмурились, солнце ослепило их, и они самодовольно жмурились и сверкали, зная, что хороши. А книг за стеклами шкафов просто не стало видно, стекла загородили их от солнца. Решив, что ослепнут сами, но книги спасут.

Мир воцарился в комнате. Костя так осмелел, что налил боржома и залпом осушил стакан.

— А что, не так уж плохо! — громко сказал он.

И тотчас откликнулся из-за двери голос Лизы:

— Проснулся, Костенька? Чай в столовой станешь пить или в сад отнести?

— В сад, — сказал Костя и вспомнил про сад. Вспомнил и обрадовался.

Костя становился самим собой, каким был дома. А все-таки далеко же он заехал! Не заехал — залетел. И просто не верится, что он здесь всего день и две ночи. Второй день только еще начинался, второй только день. А кажется... кажется, что он здесь прожил, ну, месяц хотя бы. И даже не месяц, а дольше, да и не в сроке дело. У него начиналась здесь новая жизнь — вот в чем дело. Совсем новая жизнь. Правда, он властен был взять да и оборвать все, взять и прямо сегодня вернуться домой. Властен, но уже и не властен, хотя и не знал, не догадывался, что попал в плен. Напротив, к нему воротилась уверенность, он этим утром снова обрел себя, весело у него было на душе, озорно даже, и прекрасна, и удивительна была жизнь, как этот сад, добро обнятый солнцем.

В нем было тихо и загадочно. Он показался Кос-

те опустевшей сценой в опустевшем театре. Еще недавно звучали тут голоса, вот за этим столом пили чай, и девушка по имени Ксана-Саша-Александр учила его, как обращаться с пиалой, и ее смеющиеся губы были перламутровыми от сотового меда. Сыграна была пьеса, ушли актеры и зрители, всю ночь пустовала сцена. А вот сейчас на нее снова вышел один из артистов, который в списке действующих лиц обозначен именем Костя и пояснением, что он студент МГУ и ему двадцать лет. И все, и начинай действовать, товарищ студент.

Что ж, он и начал действовать. Сад не комната — вот где можно по-настоящему размяться, пошвырять себя и встряхнуть. Костя разбежался и перескочил через скамейку. Потом подпрыгнул, ухватился за сук, стал подтягиваться, подумал, что не худо бы тут поставить турник. А подумав это, он вдруг замер, тревожно соображая, что турник — ведь это надолго, а разве он здесь надолго?

Появилось, ступило на сцену с подносом в руках еще одно действующее лицо, обозначенное в пьесе именем Лиза и краткой характеристикой, что она стара, что она давняя подруга хозяйки дома и роль ее в этом доме очень схожа с обязанностями домработницы.

Лиза вошла и изумилась, став свидетельницей Костиных прыжков и подтягиваний.

— Господи помилуй, господи помилуй! — шептала она. — Ведь убьется, жилы растянет!..

Костя увидел Лизу и спрыгнул на землю. Он понял, что изумил старуху. Но разве это было все, что он умел! Он встал на руки и пошел к Лизе на руках. Вот что он умел! Мир перевернулся в глазах, муравьи и жучки стали приятелями, и влажной травой дохнула земля. Костя снова стал на ноги и как ни в чем не бывало взял у Лизы поднос.

— Какое утро замечательное! И не жарко!

Старуха таращила не него маленькие глазки. Будто подменили парня.

— Боек! — только и нашлось у нее слово.

Костя поставил поднос на стол. На подносе был его завтрак. Рядом с европейской выдумкой, сосисками, лежал киргизский чурек. Чайник с кипятком был электрический, а чайник с заваркой распisan синей памирской вязью. И соседствовали, чтобы мог Костя выбирать, стакан в подстаканнике и желтая пиала с зелеными разводами.

Костя взял пиалу.

— Вам налить? Вы из стакана?

— Я уже напилась. Ладно, налей, выпью за компанию. Это где же ты на руках-то выучился ходить?

— Ну, наука нетрудная.

— А вчера-то, вчера-то еле ноги передвигал. — Старуху не оставляло изумление.

— Вчера было жарко.

— Что вчера, что сегодня — солнце одно. Нет, ну будто подменили тебя. Вот бы Анна Николаевна глянула. Другой совсем племянник-то.

— Хуже стал? Лучше? — Радостно было у него на душе, а спроси, отчего, ответ бы не отыскался. Костя налил в пиалу чаю и поднес ее близко к глазам. Влажно стало глазам и жарко.

— Смотрю, понравилось тебе из пиалы чай пить, — сказала Лиза, присаживаясь к столу. — Урок вчерашний не позабыл. Ну, Костя, поживешь с нами? — Лизин голос тихо журчал, никак не окрашивал слова. — Денек да денек — и месяц прошел. Месяц да месяц — глядишь, год миновал. А уж там и привыкнешь. Я тоже на недельку в гости приехала. Растянулась моя неделька на пятнадцать годков. Здесь и похоронят. Сосиски-то хороши?

— Хороши.

— Здесь и похоронят. Бог даст, Анну Николаевну



не переживу, одна, как перст, не останусь. Анна Николаевна наша, хоть и похварывает, а еще крепкая, еще жить ей да жить. И с десяток лет еще поживет. А я нет, куда мне! Вот я уйду, ты останешься. Все не одиноко будет нашей Анне Николаевне. Лепешку ешь. Что за еда без хлеба? Или не нравится?

— Нравится.

— Я сперва тоже по хлебу черному скучала. Нет тут нашего ржаного, днем с огнем не сыщешь. Ничего, привыкла. Мама твоя, как думаешь, горевать не будет, что сынок ее вон куда укатил? А? — Мимоходом, невзначай задан вопрос. Настолько невзначай, что Лиза не стала даже ждать ответа, сама ответила: — Ничего, привыкнет. Известно ведь: рыба ищет, где глубже, а человек...

— Так вот вы где уединились! — В дверях из дома в сад стоял Григорий Уразов. Картинно стоял,

подбоченившись, по-ковбойски этак установив длинные свои ноги в тегасских джинсах. Да и в тегаской шляпе он был, в самой настоящей, из тончайшего серого фетра, с высокой тульей, с задорными полями. Мечта, а не шляпа! Где только он ее раздобыл?

— Звоню, звоню — вымер дом. Наконец, сама Анна Николаевна отворяет. Миллион извинений, конечно, но где же ваш Костя? А он вон где, вон с кем. И так это вы увлеклись беседой, что даже звонок не услышали. Костя, обкрутит тебя раба божья, в церковь затащит. Берегись! Тетя Лиза, не сердитесь, я и сам почти верующий.

— Оно и видно, какой ты верующий. Шапку бы хоть снял. Прости меня, Гриша, но смешно на тебя глядеть. В кальсонах каких-то, в дамской шляпе. Смешон!

— Обиделась. — Григорий сдернул шляпу, поведя рукой не хуже самого Грегори Пека. — Прошу прощения. — Он обернулся, кланяясь, уступая дорогу. — Анна Николаевна, простите великодушно, что позабыл снять перед вами шляпу. Уж больно я в ней себе нравлюсь, вот в чем суть.

— Я так и поняла, Гришенька, так и поняла. — Анна Николаевна важно ступила в сад. — С добрым утром, Костя. Как спал нынче? Сны вещие не снились?

Была она в своем царском халате до пят, на голове что-то вроде тюрбана. Величественная старуха, ничего не скажешь.

— По горам лазил, — сказал Костя. — Все вверх и вверх. Почти до самого солнца добрался.

— Руки к солнцу протягивал? — серьезно спросила Лиза.

— Протягивал.

— Гордыня это. Поберегись, Костя, не простой сон, не обожешься бы тебе!

— Тыфу, Елизавета! — вспыхнула Анна Николаевна. — Еще накаркаешь! Занавески плотней надо было задернуть, вот солнце бы ему и не приснилось.

— А горы? Нет, матушка, всего не объяснишь, непростой сон.

— А горы — это потому, что мы в горы сейчас закатимся, — сказал Григорий. — Правильно, вещий сон. Я затем и пришел пораньше, чтобы утешить Костю в горы. Надо, надо москвичу на наши горы глянуть, на наше джайлоо. Согласны, Анна Николаевна, надо ведь?

— Согласна, — наклонила голову Анна Николаевна. — Ну, раскрывай свои карты: машину пришел кланить?

— Так не для себя же! Наследника прокачу! Можно?

— Бери, — медленно наклонила голову Анна Николаевна. — Но только...

— Ехать тихонько! Вернуться засветло! Спиртного божье упаси! — Григорий протягивал к Анне Николаевне ладонь, будто подавания ждал. — Обещаю! Клянусь! Как перед богом!

Анна Николаевна опустила руку в карман халата, извлекла оттуда большую связку ключей, не спеша отцепила от связки два ключика.

— Как перед богом? — переспросила.

— Да покарает меня его десница! — Ладонь Григория нищенски тряслась.

— И покарает, покарает! — зло выкрикнула Лиза. — Кошунствуешь!

Рука Анны Николаевны с ключами миновала судорожную ладонь Григория. Анна Николаевна протянула ключи Косте.

— Возьми, Костя. Я их тебе вручаю. Совсем.

Костя не ждал этих слов и этого движения руки. Он растерялся.

— Мне?

— Тебе, тебе. — Анна Николаевна была торжественна и печальна. Распрямилась, голову высоко подняла. — Бери. Владей!

Костя взял ключи.

— Но я не умею водить машину.

— Научишься! Плевое дело! — Григорий просто изнемог от Костиной бестолковости. — Анна Николаевна, это он от радости обалдел. Костя, тебе же «Волгу» подарили. В пояс, в пояс! Делай, как я! — Григорий низко, в пояс поклонился Анне Николаевне. — Ну, повторяй за мной!

Григорий, конечно, балаганил, но Анна Николаевна и Лиза были преисполнены серьезности. И они ждали, что Костя и впрямь начнет сейчас кланяться. Нет, спина не гнулась.

— Спасибо, — сказал Костя и подкинул на ладони легонькие ключи. Помолчал, подумал, что бы еще сказать, но ничего не смог придумать.

— Пребывает в шоке, — пояснил его состояние Григорий. — Вам, как врачу, Анна Николаевна, это должно быть понятно. Шок от радости. Необходимы встряска, горный воздух, отвлекающая беседа. Вернется со слезами благодарности. — Григорий схватил Костю за локоть и поволок. — Наследничек, ключи не оброни!

Огорченная, недоумевая, глядела вслед молодым людям Анна Николаевна.

Она была подавлена собственным широким жестом, который, пожалуй, и для нее самой был неожиданностью, и она была огорчена и подавлена таким полным отсутствием отклика у Кости на этот ее великий дар. Она смотрела вслед молодым спинам, мелькавшим уже возле гаража, и преисполнялась горечи.

— Еще неизвестно, заслужит ли племянничек-то, — тонким от досады голосом усомнилась Лиза. — Скажет ли еще хоть спасибо...

Анна Николаевна вздрогнула от этих слов, она думала о том же.

9

Казалось, машина едет нескончаемой аллеей из могучих деревьев, едет парком, чуть ли не через лес, а не городом.

Шершавые, древние стволы свободно возносились к небу, и не деревья подлаживались к домам, а, скорее, дома к деревьям. Славные люди строили этот город.

— Отцу бы здесь понравилось, — сказал Костя.

— Ты о чем? — Григорий не понял его. — Еще бы! Один дом чего стоит. Везет же людям! — Григорий хорош был за рулем. Он вел машину одной рукой, а другую протянул навстречу ветру. Высокую ковбойскую шляпу он сдвинул на затылок. В позе его не было никакого напряжения, встречные машины его не занимали, светофоры не настораживали, пешеходы не смели пересекать путь. Глядя на него, можно было решить, что управлять машиной совсем не трудно, стоит только взяться за руль, нажать на что-то там — и покатил, покатил, откинув голову. А не попробовать ли? Слишком неожиданен был подарок Анны Николаевны, Костя еще не привык к мысли, что едет сейчас не на чужей-то там машине, а на своей собственной. Он и в мечтах-то не жил мыслями о машине, особенно о такой, о «Волге». Его мечты редко-редко подбিরались к мотоциклу, еще реже — к крошечному «Запорожцу» и тут же

замирали. Легко мечтать о несбыточном, мечты наши тогда бескрайни, и трудно, больно мечтать о чем-то таком, что вполне реально, что можно бы и иметь, да где там, не по деньгам реальность. Костя не мечтал о «Волге», он не был готов владеть ею, машина эта — а в таких же он ездил множество раз — вдруг представилась ему сейчас и непомерно большой и даже загадочной, будто выросла, иной стала, совершенно отличной от себе подобных. И все потому, что ему предстояло владеть этой машиной. Она стала его собственностью. И он оробел. Он не радовался, он не был готов к этой радости, он оробел.

Григорий никак не мог успокоиться:

— Почти новая «Волга»! Кирпичный гараж с таким припасом, что хоть еще одну машину собирай! Да, только это — машина вот и гараж — делают тебя богатым человеком. Везет же!

Костя взмолился:

— Прошу тебя, перестань! Затвердил: везет, везет! Ничего этого я не чувствую. Пойми, я совсем даже не рад.

— Вот сядешь за баранку, тронешься с места, тогда и поймешь. Это страшнее любви, Костя. Машина страшнее любви. Но надо самому водить, обязательно самому. Да что! Я вожу, а машины нет. Отец к своей близко не подпускает. Мыть — извольте, водить — никогда. Разве что при нем. И тогда начинается: «Тише! Тормози! Притормаживай!» О, эти наставления стариков! Шага не сделать без ихнего «притормаживай!». А сами, а даже еще и теперь... Исханжившееся племя!

— Что-то я не вспомню, чтобы мой отец мешал мне жить.

— Ты хоть не ханжи, столичный житель! — Рывком Григорий остановил машину. — Посмотрите направо! Наш университет! Знаменит красавицами и командой альпинистов. Выйдем, Костя, здесь где-то обретается сейчас Александра. Глаз да глаз за ней нужен. Украсть могут.

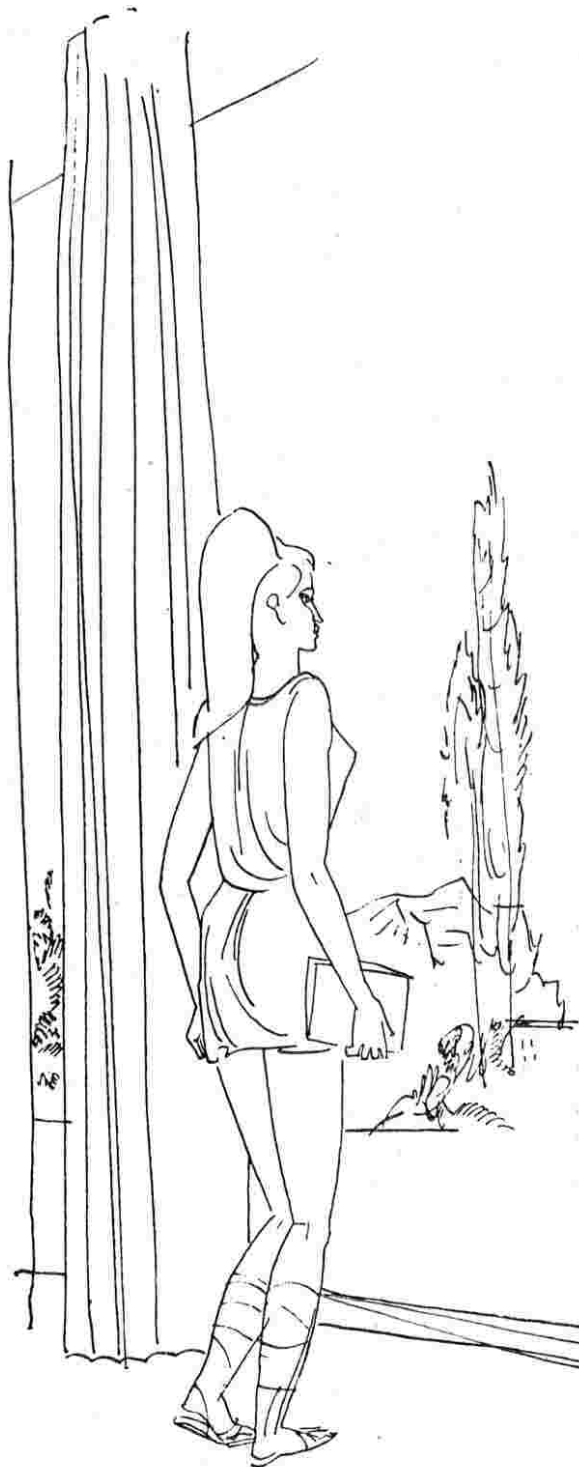
Костя вышел из машины. Асфальт мягко поддался под ногами. Здесь, на площади, перед фасадом из неперменных белых колонн, не было старых деревьев, их спасительной тени, и солнце ринулось на Костю, слепя и обжигая. Он кинулся к зданию, под тень колонн, в римское это великолепие, где, жаль, мрамор заменяла штукатурка. Тут он снова обрел зрение.

У дальней колонны, держась в ее тени, стояла девушка в коротком платье-тунике, в легких сандалиях со шнуровкой выше щиколотки. Светлые длинные волосы были подняты и собраны в пучок, прическа эта была совсем такой, как у римлянок на барельефах. И вправду, римлянка стояла у этой колонны, да и колонна не такая уж была аляповатая, а тень от нее, в которой стояла девушка, была торжественна и прекрасна. И вдали были горы, в синеве были горы. Костя загляделся на девушку в тунике, и когда она вдруг замахала рукой и произнесла его имя, он сперва не поверил, что она обращается к нему.

— Да Костя же!

Римлянка в тунике — это была Ксана.

Он подошел к ней, стараясь не ступить на тень от колонны, оберегая тень. Хорошо бы побыть сейчас вдвоем с Ксаной, ни о чем не говоря, лишь запоминая все! Эти горы вдали, в покойной синеве неба, эту колонну, хоть и нынешнюю, но с древней мраморной тенью, и Ксану, нет, Александру, — сейчас она показалась ему Александрой. Пожить бы во всем этом, хоть на миг ощутив себя в прошлом, веря, уверовав, что ты там. Зачем вдруг? Не объяснить. Захотелось.

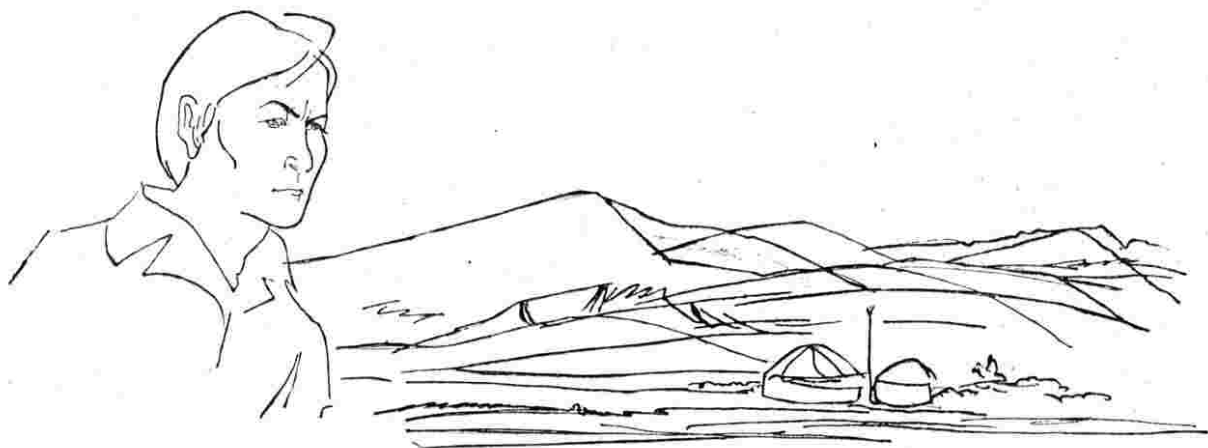


— Здравствуйте, Александра, — сказал Костя. Она подняла руку, повернув ее ладонью к нему. Тоненькие кольца браслетов, звеня, упали на тонкий локоть. Так, наверное, и здоровались юные римлянки в те, из синевы и мрамора, времена.

— Что с вами? К чему вы прислушиваетесь?

Костя не успел ответить, к ним спешил Григорий.

— Вот вы где! А мы, сестрица, за тобой. Умчим



тебя в горы. Пошли, машина подана. И знаешь чья? Вот этого кабальеро.— Григорий, сдернув шляпу, раскланялся перед Костей.— Анна Николаевна при мне вручила ему ключи. Владей, мол. Кого ты ждешь? Едем!

— Поздравляю, Костя. Рады? — Ксана рассматривала его.— Шутка ли, собственная «Волга». А водить умеете?

— Нет.

— Ничего, научим,— сказал Григорий.— У нас не Москва, движение небольшое. Через неделю будет с правами. Поехали, поехали! — Отчего-то очень торопился Григорий, даже подхватил сестру под руку. Не терпелось попасть в горы.

Ксана уступила, пошла за ним, но шла неохотно и все время оглядывалась, кого-то искала. Вдруг остановилась, высвободив руку из цепких пальцев брата. Костя глянул туда же, куда и она.

Мимо скамеечек сквера, мимо клумб с цветами, не страшась солнца, которое неистовствовало в этом сквере, где еще не успели разрастись деревья, шел, приближаясь к университетским колоннам, высокий черноголовый парень в белой рубашке. Даже издали видна была его улыбка. Он улыбался не кому-нибудь, а просто так, без всякой видимой причины. И вдруг его заносило в сторону от прямого пути. Что-то его заинтересовало в той стороне, а потом в другой стороне. Он шел очень вольно, и вольно выбрасывались вперед его длинные ноги, вольно взмахивали длинные руки, и сумасшедшее, испепеляющее солнце было ему нипочем.

Костя поглядел на Ксану. Так вот кого она ждала! И, смотри-ка, улыбнулась ему ответно и такой же неудержимой улыбкой. Просто так, потому что утро, и солнце, и горы, потому что радостно на душе?

— Опоздали! — мрачно произнес Григорий.

Ксана пошла навстречу парню, вступила в зной, не страшась его, а парень, увидев Ксану, приветственно вскинул руки и заулыбался еще радостней, теперь уже для нее, для Ксаны, но шага не прибавил, продолжал идти все так же вольно, заноса длинные ноги в разные стороны.

Вот встретились они. Вот обменялись рукопожатием. Снежные горы, синева небес, извечное солнце, и девушка в тунике, протягивающая руку дерзкоглазому хозяину этой знойной земли. Век какой? Нашей ли эры или до нашей? Он и Она. Теперь они улыбались друг другу.

— Александра, едем! — неуверенно окликнул сестру Григорий. Он знал, догадывался, что она не послушается его, если даже и услышит.— Поехали! —

зло буркнул он Косте, будто тот был в чем-то повинен, и зашагал к машине. Ковбойская тень сутуло легла на асфальт.

Костя послушался Григория, побрел за ним. Да и что ему тут было делать, как можно было тут оставаться — на этой площади, рассчитанной лишь на двоих? От университетских колонн до противоположных зданий вдали — вся площадь, все ее клумбы, дорожки, скамейки — все было рассчитано лишь на этих двоих — на девушку в тунике и ее друга, хозяина этой земли. И небо, и горы, и солнце — все принадлежало здесь им.

Машина тронулась. Неведомо зачем, Григорий свернул к тому месту, где стояли сейчас сестра и ее парень. Нарушая все правила движения, он поехал серединой площади, ехал и сигнализировал. Он еще надеялся на что-то.

И Костя надеялся. Вдруг Ксана оглянется. Вдруг решит поехать с ними.

Оглянулся парень.

— Куда путь держите? — Улыбка не сходила с его лица, угловатого, прочного, с зорким прищуром.

— В горы! Поехали? — Григорий нажал на тормоз.— Глянем, как оно там, твое джайлоо. А? Шашлычок организуем. Ну, Туменбай, едем?

— Джайлоо, — задумчиво произнес Туменбай и оглянулся на горы. — Тысячелетнее джайлоо. Я бы поехал... — Он глядел на горы, солнце не мешало ему, хотя и стояло над горами. Он привык к своему неистовому солнцу, он потому и прищурился от рождения, что родился на этой знойной земле. Туменбай... Вот как его звали. И верно, Туменбай — это имя ему подходило. Звучком своим, протяжностью и своей загадкой. Впрочем, ведь и Костю — коротенькое, невидное его имя — можно было превратить в Константина.

Щедры улыбаясь, парень протягивал Косте руку:

— Туменбай.

— Константин, — сказал Костя.

— Вы новый у нас человек?

— Новый.

— Нравится у нас?

— Нравится.

— А в горах еще лучше. Джайлоо — это горное пастбище. Мы, жители гор...

Ксана прервала его. Отчего-то она нахмурилась, помрачнела, ее голос был сух.

— Житель гор, если уж ехать, так ехать. Иначе твое солнце испепелит нас. — Она быстро пошла к машине, руками защищая голову от солнца, вдруг ощутив его пламень.

Снежные вершины, до которых было рукой подать, когда Костя смотрел на них с университетской площади, почти не придвинулись, хотя машина долго уже была в пути, хотя уже скалы замелькали, круто вверх вздымая свои странные тела. А снежные вершины почти не придвинулись. Машина въехала в горы, и холмистые склоны вокруг, скалы эти, деревья, примостившиеся на кручах, — все уже было горами, а снежные вершины так и оставались все в том же недалеком отдалении. Вот оно, вот теперь только и понял Костя, что это означает: снежные вершины. Они лишь кажутся близкими, доступными. А взойди, попробуй.

Костя не знал, на что смотреть. Он извертелся, сидя на своем хозяйском месте рядом с Григорием. Ксана отказалась сесть впереди.

— Вам отсюда будет лучше видно, — сказала она. — А я здесь не в первый раз.

Сейчас она сидела за спиной у Кости. Рядом с ней сидел Туменбай. Они не разговаривали между собой, разговор был общим, но все же так выходило, что вел этот разговор Туменбай, объясняя, рассказывая. И так выходило, что Ксана управляла этим разговором. Она спрашивала, и Туменбай отвечал. Ксана была добра, и добр был Туменбай. Они говорили только о том, что могло заинтересовать Костю, разговор велся ради него, чтобы ему было легче освоиться в горах, но что-то было в этом разговоре еще и такое, что жило тайком, пряталось за словами, таилось в звуке голоса. И тогда общий разговор этот, в который и Григорий и Костя вставляли слова, становился странным каким-то, тревожным, тревожащим. Он был разговором двоих на виду у двоих, он был загадкой, тайной, про которую знали только Ксана и Туменбай.

Горы занимали Костю, все вокруг было новым и удивительным, но он не мог забыть про Ксану и Туменбая, не мог не вслушиваться в их открытые и вместе сокрытые слова. И он оглядывался, все время оглядывался, будто скалу, или дерево, или еще там что-то провожая глазами, а на самом деле лишь затем, чтобы снова глянуть на Ксану, на Туменбая, чтобы понять, угадать их тайну — тайну их слов, их взглядов, которая становилась теперь и его тайной, тайной его участи, хотя он этого еще не понимал да и не мог понять.

А горы, их снежность, их вершины, так все и оставались далекими. Много стало различимее, проглянули извилистые борозды в снегу, следы недавних лавин, открылись, увиделись пропасти, похожие на великаны разверзшиеся рты, но и стало понятно, как еще долг до всего этого пути. Стало понятно, что пройти его тебе не под силу. Да и не было никакого пути к вершинам — это стало понятно. Между тем машина все шла и шла, вверх и вверх. И вдруг орел сорвался с недалекой скалы — его не было видно, когда он там сидел, — и шумно и тяжело сперва, а потом все легче и легче стал уходить в небо, к вершинам.

— Иногда я завидую орлам, — сказал за спиной Туменбай.

— Иногда? А еще кому? — спросила Ксана.

Косте захотелось оглянуться, потому что Туменбай ничего не ответил. Вслух он ничего не ответил. Костя приказал себе не оглядываться. Хватит, хватит оглядываться! Костю тоже поразил орел. Не сам по себе, а то, что был он не в клетке, что жил здесь, в этих скалах. Вот распахнул громадные серые, пыльные крылья и полетел по своим делам. И видно было, как поджимал он лапы, чтобы удобнее было лететь,

виден был сонно-яростный его глаз, два оранжевых кружка, точных, как дульца. Белесым, истершимся от работы был страшный, ни на что не похожий убийца-клюв.

Орел был уже далеко, а Костя никак не мог прийти в себя. Серьезно и страшно махал вдали крыльями орел. Серьезными, страшными были эти неприступные горы. Все вокруг было серьезным, нешуточным. Голоса за спиной были серьезны. Слова, которыми обменивались Ксана и Туменбай, утратили свой прямой смысл, в них жила тайна, и это было серьезным. Узкая дорога, лепившаяся, играючи со смертью, то к скалам, то к пропасти, — это тоже было серьезно. И легкость, с которой Григорий крутил баранку, беспечная его поза — все это было не более как рисовка.

Машина вдруг выскользнула в долину, на плоский пятачок в горах, где даже какие-то домики стояли, легкие и пестрые, неожиданные и негаданные в этих местах.

Крохотная долина эта показалась просторной, миролюбивой, приветливой, хотя горы нависали над ней, и, кажется, то были уже совсем близкие горы.

— В прошлом году обвалом накрыло здесь два дома, — сказал Григорий. — Все погибли, кто в них был. Но вот, полюбуйте, снова такие же два дома и на том же месте. Человечество не извлекает уроков из прошлого.

— Аллах милостив, так думает человечество, — сказал Туменбай. — Зачем два обвала на одно и то же место? Аллах тоже любит разнообразие.

— Интересно, какие он пошлет нам здесь шашлыки? — Григорий с наслаждением бросил машину вперед по раздавшейся дороге, с наслаждением, когда машина встала, уронил руки на колени. — Устал! — признался он. — Ответственность. Кабы своя машина и своя только жизнь... Э, да мы тут не первые!

У пестрого домика, окутанного дымком от жарившихся шашлыков, уже стояла машина, и шофер, подняв капот, поил ее из ведра, как и всадник бы поил своего коня после трудной горной дороги.

Костя ступил на землю и глянул вокруг. Запомнилось: эта машина с поднятым капотом, близкий снежный склон горы, на котором явственно проглянули угрюмые глаза над широким приплюснутым носом, — проглянула громадная, из снега и камня, морда зверя. Скорее всего это была морда львицы, хмурая и неумолимая. Львица была голодна. Запомнился великанье роста малый в белом, очень коротком для него халате. Громадными ручищами он ловко поворачивал над ящиком с углями шампуры с шашлыком, сразу ухватывая по нескольку штук. Был он так толст, так круглолиц, такие под распухшими рыжеватыми усами победоносные посверкивали у него зубы, что сомнения быть не могло: все эти шашлыки он сам и съест. Запомнилась появившаяся на веранде пестрого домика женщина с усталым и удивительно знакомым лицом. Устало присела она к столу, устало подперла рукой подбородок, устало и равнодушно встретила и миновала взгляд Кости. Он знал, что знает ее, но никак не мог узнать. И это тоже запомнилось — это мучительное неумение узнать знакомого человека. Запомнилось, что, едва выйдя из машины, Ксана и Туменбай направились к горе. Они далеко не ушли, они просто отошли от других. Он что-то говорил ей, указывая на гору. Может быть, показывал голову львицы? Может быть, рассказывал про эту гору? Он был здесь у себя, и он вольно поводил рукой, как человек, которому все тут ведомо и который и сам всем тут ведом. Ксана смотрела на него прямо, не отводя глаз. За-

помнилось, как она смотрела на него. Запомнилось, какое у нее было лицо. Отчего-то тоже усталое, как у женщины на веранде. Та женщина была много старше Ксаны, но все еще была красива. Хотя нет, она не была красива. Это слово ничего не объясняло про нее. Это слово вообще почти ничего никогда не объясняет. Эта женщина могла быть и красивой и такой, как сейчас, усталой, понурившейся, отпускаящей себя в старость. Костя мучительно пытался узнать ее. А Ксана и Туменбай все так и стояли, глядя друг на друга, и Туменбай дарил и дарил Ксане свои горы. Трудно было смотреть на них. Запомнилось, как трудно, как мучительно было смотреть на них. Все вокруг было мучительным, все было хмурым, как голодная львица.

— Эй, Костя, на помощь! — позвал Григорий. — Шашлыки готовы!

Григорий стоял возле великана-повара, и тот надел его веерами из шашлыков.

Эти шашлыки снова объединили всех.

Уселись на веранде, неподалеку от женщины, которую Костя так все еще и не вспомнил. В пору было хоть спросить у кого-нибудь. Может, Григорий знал ее? Но Григорий на месте не сидел. Он в их компании взял на себя роль доброго малого, который за всем бегаёт, все раздобывает — вот бутылку вина раздобыл, стаканы, — и делал он все это с такой кротостью и готовностью, с таким несвойственным ему откликом на всякий жест, что ясно было: играет парень роль. Так ему нынче вот захотелось. Он и тост первый провозгласил, сразу же задав тон всему застолью, тон веселый и несерьезный. А между тем серьезные были его спутники. Но Григорий ничего знать не желал, ни знать, ни замечать.

— Ребятишки! — провозгласил он, налив всем в стаканы. — Сестра моя! Выпьем за то, что у нас у всех самое трудное позади. Мы вступаем во взрослость, в пору безответственности и компромисса. Никогда уже не придется нам писать диктанты и учить каждый день уроки. Мы обретаем, почти обрели свободу. Нам никто не указ, когда спать, когда вставать. Мы достигли возраста, которому дано право на брак, а стало быть, и на развод. Наше имущественное положение из области карманных расходов переходит в область расходования наследства. Мы свидетели события, когда один из нас... Молчу, молчу! Впрочем, зачем слова, вам стоит только глянуть на эту черную «Волгу» в экспортном исполнении, что примчала нас сюда, и вспомнить, кто ее владелец. Самое трудное позади, там, где остались бесправное детство и безденежное отрочество. Впереди — безответственная взрослость. Ура! Поехали! Я только пригублю: я за баранкой.

У Григория получилось: он рассмешил своих спутников. Он повеселил и усталую женщину, одиноко и неподвижно сидевшую все в той же позе. Она распрямилась, усмехнулась. У нее какое-то непроснувшееся было лицо, а тут вдруг промелькнула на лице улыбка, и оно проснулось. И тотчас Костя узнал эту женщину. Это была знаменитая эстрадная певица, из лучших, из настоящих. Когда начинал звучать ее голос по радио, Костя бросал все дела и слушал. У нее был правдивый голос. Верилось ей. Да она и не пела, что придется. В ее песнях были точные, угаданные слова. Однажды Костя побывал на ее концерте. Для него это было событием. Из тех, что запоминаются. И он запомнил эту женщину, какой она была тогда. Запомнил главное в ней — голос и глаза. Ведь на эстраде все актрисы немножечко на одно лицо, одной, что ли, выделки. Но голос, но глаза — это свое. Глаза у этой женщины были печальны и умны, зорко умны, и правдивы, как голос. Вот проснулось лицо, проснулись глаза, и Костя ее вспомнил.

Он хотел было поделиться своим открытием, но вовремя спохватился. И хорошо, что никто больше не узнал ее. Что только бы тут началось, если бы Григорий догадался, кто эта женщина! По всему городу были расклеены афиши, но на афишах она была другой. Печаль? Усталость? Афиши не знали, что это такое. Они демонстрировали победоносность, оптимизм, неувядающую молодость.

Актриса догадалась, что узнала, и догадалась, что ее не выдадут. Они встретились глазами — она и Костя, — и женщина поблагодарила его, наклонив голову. Костя почувствовал: теперь она про него что-то там такое решает. А что? Отчего, мол, невесел? А он разве невесел? Но ведь сам же вот об этом подумал. Да, ему было невесело. И тревога, тревога не отпускала. Хмурая какая-то тревога.

Отец рассказывал ему, что высоко в горах, пока не придет привычка, всегда испытываешь тревогу. Только та ли эта высота и та ли тревога? Костя поглядывал на своих спутников, не томит ли и их высота. Григория она не томила. А если что его и томило, то страсть к шашлыку. Как же он вкусно ел, с каким дикарским азартом! Вымазал всю свою борденку, даже лбу досталось. И дар речи утратил — только мычал да охал. Туменбаю и Ксане тоже было не до высоты. Они не спеша ели и переговаривались. Опять эти ничего не значащие слова с утаенным в них смыслом. Если что и томило их, то необходимость отыскивать такие слова, необходимость помнить, что они не вдвоем.

Как за помощью, потянулся глазами к актрисе Костя. Зачем он здесь? И что ему делать дальше? Как поступить?

Женщина сочувственно покивала ему. Она улыбнулась ему. Больше ничего она для него сделать не могла.

Вдруг послышались мужские голоса, уверенные, с напором, и на веранде сразу стало тесно от троих шумных и бойких, полноватых, лысоватых, но все еще молодцеватых мужчин. Они были разодеты причудливейшим образом. Рыбаки не рыбаки, охотники не охотники. Тяжеленные горные ботинки, размашистые куртки, пробковые шлемы. Пожалуй, они могли бы сойти и за рыбаков и за охотников, даже и на львов и на тигров, если только условиться, что события разворачиваются на опереточной сцене.

Эти brave молодые, эти бывалые охотники, наверняка читавшие «Снега Килиманджаро» — а ведь они забрели тоже в нештучные места, — оказались коллегами актрисы. Теперь уж Косте было нетрудно их всех узнать. И скрипача, и тромбониста, и вот того, невысокого, коренастого, который был конференсье ансамбля и, кажется, мужем этой актрисы.

Ни рыбалка, ни охота явно не удалась. Места действительно тут были хемингуэвские, времени до концерта было предостаточно, но так и не подстрелили милые эстрадники горного козла, так и не далась им в руки горная форель. Зато вот шашлыком их судьба не обошла. И добрым глотком вина тоже. Пышноусый великан самолично доставил к их столу несколько шампуров с шашлыками. Гости были почетные, и он даже выпил с ними, хотя и отнекивался сперва:

— Не пью, аллах не велит.

Но раз такое дело, раз этот громадный, смешной детина боится какого-то аллаха, то тем непременно надо заставить его выпить. Аллаху наперекор и себе на потеху.

— Мы просим, — вскопчил коренастый. — Вот она просит. Знаменитая на всю Европу певица.

Ну, выпил великан, уставившись на знаменитую женщину, хотя она и ни о чем его не просила, ей в тягость была эта затея мужа.

— Еще, еще! — Коренастый был из настойчивых, он снова налил великану.

— Не могу.

— Жена, проси!

— Оставь ты его.

— Проси!

Есть люди, которые громадное значение придают пустякам.

— Проси, тебе говорят!

Вот как, знаменитая на всю Европу певица, действительно прекрасная певица, женщина уже и не молодая, женщина умная, зоркая, и что же, она поднялась, покоряясь этому окрику, покоряясь своему пустопорожнему повелителю.

— Прошу вас...

Жаль ее стало до слез.

— Якши, якши! — Великан так заторопился покончить с этим проклятым вином, что облил рубаху. Выпив, он быстро пошел прочь. Почетные гости вели себя не так, как им бы подобало. Они разочаровали его.

Усаживаясь, женщина встретилась глазами с Костей. Он покивал ей. Он улыбнулся ей. Больше ничего он для нее сделать не мог.

А муженек ее не унимался. Вскружили ему голову горы. Шутка ли, куда попал! Это вам не Ай-Петри и даже не Казбек. Это вам, уважаемые, Тянь-Шань. Здесь, если повезет, можно тигра встретить. Если повезет, конечно. Но и без тигра до конца дней хватит рассказов про эти суровые, заоблачные, опасные места, где он охотился. Нет, убить никого не убил, врать он не будет, но... Вошел в роль человек. Куртка, горные башмаки, да шлем, да этот склон горы рядышком, да миновавшая дорога, когда то и дело замирало сердчишко, — вошел в роль, вообразил себя таким альпийским удалцом. И показалось ему, что девушка за соседним столом, прехорошенькая, кстати, просто прелестная девушка, не сводит с него восхищенных глаз. С ним рядом жена, с девушкой рядом ее спутники. Пустое! Сердце сердцу весть подает. И где, как не в этих суровых горах, торжествовать праву сильного. Коренастый поднял свой стакан и устался на Ксану. Он ждал ответного движения. Он не сомневался, что победителем и неотразим.

И ответное движение последовало: поднялся из-за стола Туменбай.

— Зачем так много хамства в одном человеке? — спросил он, не возвышая голоса. — Хотите, чтобы вас проучили?

— Ты?! — Коренастый, отшвырнув стул, пошел на Туменбая, но вдруг споткнулся и встал. Он увидел такие глаза, такие приузившиеся, выжелтившиеся зрачки, увидел такое напрягшееся, сжавшееся для броска тело, что понял, угадал в этом парне нешуточную для себя угрозу. Такой просто не мог отступить, не уметь, не знал, как это делается. Тигра тебе захотелось встретить в этих горах? Изволь, перед тобой был тигр.

— А, стоит ли так горячиться! — Коренастый артист, с молниеносной быстротой ощутив опасность, являл сейчас всем чудо перевоплощения. Какой там носитель грубой силы и всех этих нелепых одежд! Маскарад все это, забава! На самом-то деле он милый, интеллигентный, деликатнейший. Произошло недоразумение, его просто не поняли. Пятая и раскланиваясь, ловко и непринужденно, как и должно умелому конферансье, он возвратился к своему столу.

— Я очень рада, — тихо сказала актриса.

Он только зыркнул на нее. Ответить он не посмел. Кто его знает, этого тигроподобного, что, какая малость заставит его действовать. И тогда... Нельзя было рисковать. С такими, как этот парень, шутки

плохи. Наглецы, кстати сказать, отлично знают, с кем шутки плохи. Это не верно, что наглые люди не умеют тонко понимать и чувствовать. Когда могут и прибить, наглый человек истончается и улучшается.

Костю изумил Туменбай. Костя влюбился в него в эти мгновения. Ах, какой парень, какой парень! И Костя поник и пал духом — теперь уже окончательно. Он заметил, как смотрела на Туменбая Ксана, когда тот поднялся. Он понял, что ее выбор сделан. Он и сам бы подсказал ей этот выбор, будь он ей братом или просто другом. Но он не был ни тем, ни другим. А кем он ей был? Смешно и стыдно стало ему, когда он вспомнил о планах тетки и отца Ксаны. Но ему даже и вспоминать об этих планах не нужно было. Он про них все время помнил, они не выходили у него из головы.

Но что же дальше? Туменбай так и стоял недвижно. Он не умел легко прощать. Он ждал, чтобы тот человек ушел отсюда. А тот человек только прятал глаза и горбился над столом. Но ведь он был не один. Его друзья, чувствуя, что трусят все скопом перед силами, куда меньшими, чем их собственные, просто извелись от этого чувства трусости и начали потихоньку роптать.

Еще минута-другая — и вспыхнула бы драка. Женщины поняли это — и актриса и Ксана, они поняли это. Они разом поднялись, будто сговорившись, и потребовали от своих спутников внимания к себе и послушания.

— Поехали, поехали! — приказала Ксана. — Сколько можно есть, обжоры вы несчастные! Нас ждут горы!

И актриса тоже там поминала о горах. Ведь мужчин надо звать к высоте — все вверх и вверх.

Уже в машине, уже выбравшись на серпантин, Григорий посетовал на сестру:

— А ты могла бы и не вмешиваться, Александра. Так бы измордовали этих пижонов, что по гроб жизни запомнили бы.

— Я этого и боялась, — мягко сказала Ксана.

Григорий хмурился, он был недоволен собой во всей этой истории. Чем дальше уносила их машина от места действия, тем яснее, должно быть, представлялось Григорию, как бы следовало ему действовать. Не Туменбаю надо было вступаться за Ксану, а ему, брату. Оглошал Григорий. Это его и злило.

— Что за народ? — спросил он. — Откуда взялись такие?

— Афиши с их фотографиями расклеены по всему городу, — сказал Костя. — Анна Николаевна даже собиралась сегодня вечером идти на их концерт.

Григорий присвистнул.

— Эстрадники! Лабухи! Нет, простить себе не могу!

— Эта женщина — очень хорошая певица, — сказал Костя. — Да разве вы никогда не слушали ее?

— Несчастная, какая же она несчастная! — ужаснулась Ксана. — Теперь я вспоминаю, да, она хорошо поет! Но разве можно быть женой такого человека? Мерзость какая!

— Зато он хорошо играет на трубе, — мстительно усмехнулся Григорий.

— Он конферансье, — сказал Костя.

— Болтун, стало быть! Эх, а не повернуть ли нам назад?!

— Гришенька, поздно, поздно, — ласково сказала Ксана. — Туменбай, что ты все молчишь? О чем ты думаешь?

— Я? О нас с тобой, Ксана, о чем же еще.

За всю поездку это была первая непотаенная фраза между Ксаной и Туменбаем. Да и надо ли им было теперь таиться?



11

А вот Костя чувствовал себя совсем неплохо. Ясность пришла. Безнадежность. Дело было не в горах, не в высоте. Тревога, жившая в Косте, томившая его, была сродни надежде. На что-то такое вдруг стал надеяться наш Костя, что-то поманило его, повлекло. Он еще и сам не понимал, что это с ним творится, а уже оказался в плену этой надежды, этой откровенной и сокрытой игры с ним, когда дарилась ему машина, когда сыскалась ему невеста, когда... А теперь ясность пришла. Ксана и Туменбай любили друг друга — вот что стало ему ясно. И Туменбай заслуживал ее любви. Костя

смирился с этим. Сразу же, безоговорочно. Он сам влюбился в Туменбай, в его смелость и еще в какую-то удивительную отрешенность и независимость, которые пленили Костю в Туменбае. И теперь Костя был снова свободен, был снова самим собой и думал, верил, что так тому и быть.

Машина выскользнула еще на один плоский кружок в горах, на усыпанное камнями блюдце, по краям которого, будто пришли сюда на водопой, стояли, покачиваясь, облака. Иные были похожи на белых слонов, иные, поменьше, на белых овец. Облака здесь цеплялись за близкие, надвинувшиеся скалы. И тоже были не сами собой, не облаками, а старцем в белой одежде, а женщиной с поднятыми руками, а заплывшим в небо китом.

— Здесь! — вырвалось у Кости.

Григорий понял его и затормозил.

Костя выскочил из машины. Он не верил глазам. Облака, бесконечно далекие облака стояли рядом с ним. Они покачивались, и стал покачиваться Костя, когда пошел к ним, протягивая руки.

— Стой! Там пропасть! — крикнул Григорий.

Верно, чуть сдвинулся в сторону белый слон, и Костя близко увидел темную пустоту в том месте, где только что стоял слон. Эта пустота, жуткая эта пустота поманила, позвала Костю. Он вспомнил, отец рассказывал, что в горах всегда тянет глянуть в пропасть. Даже совсем нормальные люди в горах, на высоте, порой становятся ненормальными. Костя прислушался к себе. Он был нормальный и, пожалуй, никогда так ясно все не понимал, как в эти мгновения. Ксана и Туменбай приближались к нему.

— Костя, осторожнее, осторожнее, — беспокоилась Ксана. — Смотрите, чтобы нога не подвернулась. Да не стойте же там!

А Костя вдруг понял — вот она, ясность! — он понял, что любит Ксану и никуда ему от этого не деться.

Мы взрослеем не постепенно, не скапливая день за днем. Мы взрослеем вдруг. От толчка какого-нибудь. От прозрения. Такой толчок-прозрение настиг сейчас Костю. И грустно ему стало, неумоготу грустно. Так опечаливаются лишь взрослые люди. И взрослое умение тотчас пришло ему на помощь, умение скрывать свои чувства. Лихим, бесшабашным, бесстрашным вздумалось прикинуться Косте. Ему показалось, что так надо. Ему показалось, что лучшего сейчас просто не придумаешь. Вот он какой! Глядите-ка! И он шагнул к пропасти, дивясь сам себе, своему спокойствию. Шагнул и погладил зыбкого белого слона по хоботу.

— Костя! — взмолилась за спиной Ксана.

Слон не привык, чтобы люди так близко подступали к нему. Он качнулся, и отпрянул, и истаял. А там, где только что стоял он, открылась пропасть.

Еще на ступню можно было придвинуться к самому краю. Костя так и сделал. Теперь его правый ботинок наполовину повис над пропастью. И теперь только пошатнись, только качнись.

— Костя, Костя, — тихонько окликал его Григорий, точно подманивал. — Учти, тут оползни случаются. Учти.

Костю позабавил испуганный голос Григория. Косте не было страшно, он даже еще чуть-чуть продвинулся вперед. Из темного провала дохнуло на него горьковатой каменной пылью.

— Костя, зачем? — спросила за спиной Ксана. — Зачем?

Да, зачем?! Вдруг закружилась голова, почти не заметно, но и этого было довольно, чтобы Костя выпустил из глаз закраину пропасти и чтобы поплыло, поплыло все перед глазами. И тут что-то руки схватили его за плечи, и он упал вместе с тем, кто

схватил его, упал на спину, соскользнув ногами в пропасть. Камни посыпались туда. Лежа, Костя вслушивался, как падают, шурша, камни. Он ждал, когда они достигнут дна, но отклика от их падения все не было.

— Ну, вставай, герой, — сказал Туменбай. Это он оттащил Костю от пропасти и теперь лежал рядом с ним. Туменбай вскочил, помог подняться Косте. — У нас в горах так не шутят, друг.

— Ничего бы не случилось, — сказал Костя. — Я как раз собирался отшагнуть назад. — Он прислушался: только сейчас пришел из глубины отклик от упавших на дно камней.

— Уж больно ты подозрительно качнулся, — сказал Григорий. — Я прямо обмер. С таким-то наследством — и падать в пропасть! Туменбай, ты спас жизнь наследному принцу. Требуй награды, Туменбай.

— Жаль, что не было у нас бутылки с вином, — насмешливо сказала Ксана. — А то бы, как Пьер Безухов на подоконнике. Глупо! — Она пошла к машине. — Вот что, поехали домой!

Да, глупо! А все-таки, а все-таки он сумел подойти к самому краю.

Весь спуск разговаривал в машине только Григорий. Он вдруг вздумал дать Косте урок автомобильной езды.

— Как пускать машину — этому ты обучишься за две минуты, а вот как вести ее, да еще если не по прямой российской дорожке, а по нашему серпантинчику — вот это дело не простое. Приглядывайся, теперь ты не пассажир, теперь у тебя машина. Пассажир всю жизнь рядом с водителем проведет, а ни одного знака, ни одного движения не запомнит. Ему это без надобности. Но вот начал пассажир копить денежки на машину, и не узнать человека. Все-то ему объясни, все-то покажи. Еще до машины ему пять лет тянуть, а он уже заядлым стал автомобилистом. Твой случай, Костя, посложнее. На тебя машина с неба свалилась. Ты еще не очухался. Малость обалдел даже. К пропасти вот стал кидаться. Радость — чего только она с людьми не творит. Ну ладно, обойдется, привыкнешь. А теперь смотри...

Григорий уселся попрямее, построже, напустив на себя инструкторскую серьезность.

— На руки, на руки смотри.

А за спиной безмолвствовали. Наверное, они сидят сейчас, взявшись за руки. Оглянуться бы, но нет, теперь Костя не мог на это решиться.

— Руки должны лежать на руле легко, свободно, — сказал Григорий. — Чутко лежать. Вцепился в баранку — и руль потерял, перестал его слышать. Усвоил?

Костя кивнул.

— Потерял, не слышишь руль, — потерял, не слышишь и машину. А в том-то и суть, чтобы ты был вместе с машиной, слился с ней, как с любимой девушкой. Ясно? Усвоил?

— Да, — кивнул Костя.

— Опыт по этой части имеешь?

— Да, — кивнул Костя.

— Что — да? Эй, парень, а ты меня не слушаешь?

— Нет, я слушаю. В том-то и суть...

— В чем?

— Ну, в руках...

— Ладно, пошли дальше. Теперь на ноги смотри. Смотришь?

— Да.

— Ногам волю не давай, помни о них. Особенно о правой. Нога может соскочить по собственной ду-

рости. Струсит и тормознет. И хана! При спуске тормозить — хуже нет. Надо ровно идти, чтобы не занесло. Ровно, понял?

— Да, — кивнул Костя.

Но если он посмел шагнуть на край пропасти, так неуверенно не хватит у него решимости оглянуться? Просто оглянуться, как оглядывался, когда ехали вверх. И спросить, вопрос какой-нибудь задать. Только и всего. Нет, он не мог оглянуться, не решался.

— О чем ты думаешь?

— О дороге.

— Ладно, допустим. Про дорогу и поговорим. Главное, как проходить поворот. Тут, конечно, многое от характера водителя зависит. Но для начала, Костя, надо все делать по правилам. Во-первых, помни о покрытии. Асфальт — одно дело, гравий, камушек — другое. И помни о боге, чем он нынче нас порадовал. Дождь, снег, гололед — все это диктует свою езду. Понятно, со временем автоматизм вырабатывается, но сперва...

— Гриша, ты про ветер забыл, — сказала Ксана. — Особенно в горах. Особенно на поворотах. Обязательно, Костя, надо учитывать силу ветра.

Он оглянулся. Он был признателен ей за ее доброту. Ведь она могла промолчать до самого города. И счастьем было, что Туменбай сидел поодаль от нее, уткнувшись в угол. Похоже, он даже подремывал, глаза у него были так узко прорезаны, что не поймешь, что там, за этими прорезями.

— Слава богу, подала голос! — сказал Григорий и вдруг утратил интерес к автоинструкторским наставлениям. — Приглядывайся, Костя, а я помолчу. Тут спуск не из легких, тут не до разговоров.

Они проехали пятачок с шашлычной. Музыкантов там уже не было. Наверное, сразу же покатили в город. Вечером им предстоял концерт. Нарядные, сияющие, жизнерадостные выйдут они на сцену. Правда, актриса будет петь и грустные песни, но это будет грусть возвышенная. Костя решил не ходить на этот концерт, если даже Лукьян Уразов и достал для Анны Николаевны билеты. Да что там этот концерт. Иное решение почти вышло из него, серьезное решение. Вот приедут в город, вот попрощаются, пожмет он Ксане руку, поглядит на нее еще разок — и все, прощай, Ксана, совсем, навсегда, на веки вечные. Будто тебя и не было, и этого города не было, и этих гор. Все приснилось. А есть ли на Москву вечерний рейс? Хорошо бы, если бы был. Костю пугала еще одна ночь в дядиной комнате. Пугали эти присматривающиеся к нему глаза чужих вещей. И присматривающиеся глаза Лизы. И присматривающиеся глаза Анны Николаевны. Разговор с ней. Зачем? Все показалось бессмысленным, тягостным.

За спиной опять воцарилось молчание, и опять у него не было решимости оглянуться.

12

Говорят: «Человек предполагает, а бог располагает».

Бог ли, случай ли — а что такое случай, про это ученые люди толкуют разное, — но только события дальше пошли совсем не так, как хотелось бы Косте, как он сам с собой порешил. Думалось, вот простится с Ксаной, и — в путь, а очутился в доме у Ксаны, где его уже ждали и где уже был приготовлен обед чуть ли не специально в его честь.

Въехав в город, Григорий даже не стал спрашивать у Кости о его планах. Согласно выработанному Уразовым-старшим сценарию, Косте надлежало нынче отобедать у них. Григорий действовал по сценарию.

Правда, Туменбай не был включен в этот сценарий, но тут уж Григорий ничего поделать не мог. Тут Ксана вмешалась. Она не отпустила Туменбая, когда он хотел сойти по пути. Узнав о плане родителя, она наметила свой собственный план.

— Обед, говоришь? Вот и чудесно, я давно собиралась позвать Туменбая к нам в дом. Нет, нет, Туменбай, прошу тебя, не спорь.

Что ж, так даже получалось интереснее. Григорий, посмеиваясь, вел машину через город. Планы отца были и его планами, но Григорий не любил скуку, а обед в отчем доме обещал теперь стать не из скучных.

Подъехали к дому. Он был у Уразовых такой же, как и у Лебедевых. С улицы такой же. Высокий дувал почти вровень с домом, прочные, без щелочки, ворота, небольшие окна на улицу да еще приуженные ставнями, деревья за дувалом, много деревьев, сливших свой пышные кроны. Там был сад, большой, должно быть. И туда, вовнутрь этого сада, и была обращена жизнь дома, надежно сокрытая от посторонних глаз. Европейцы устроились здесь на азиатский манер. Споры не было, так жить в этом жарком городе было удобнее, чем, скажем, вот в тех новых домах с ослепшими от солнца окнами, с поплавившимися какими-то стенами. Там в жару есть ли спасение? А дом Уразовых подманивал тенью, прохладой, журчанием воды. Костя приготовился к чуду, к такому же, как и в доме тетки, где этот внутренний сад, заплетенный лозой, поразил его.

И Костя вовсе не сетовал сейчас, что кто-то действует наперекор его собственным планам. Главным, ведь главным было принять решение. А он его принял. Он уезжает. Если есть рейс и если успеет, — сегодня же. А нет — так завтра. Это — главное. А когда все решено, то можно и помешкать чуть-чуть. Пусть этот сон еще продлится немного. Ксана, ее дом, этот город, эти горы — пускай это все еще продлится. Даже хорошо, что так вышло. Ведь решено: он уезжает.

Лукьян Александрович с первых же мгновений отдал свое внимание и радушие Косте. Он был приветлив и с Туменбаем, но Косте Уразов-старший чуть ли не являл свою родственность, а Туменбай был для него всего лишь соучеником дочери и не более того.

И тотчас соответственно повела себя Ксана: все внимание она отдала Туменбаю, а Костю попросту перестала замечать.

Что ж, помня, что он еще сегодня, ну, завтра уедет из этого города, помня, что он прощается сейчас с Ксаной, все время помня об этом, Костя какое-то даже утешение находил в том, как она обходится с ним. И он не ожесточался, а как бы со стороны смотрел на все происходящее. И ясно видел, как весь обширный дом Уразовых разделился сейчас на две части. Там, где находились Ксана и Туменбай, было так, как на старинных картинах, было высвечено, туда неведомо откуда падал добрый, мягкий, счастливый свет. Но туда ему было нельзя. А где находился он, все время ведомый куда-то Уразовым, здесь, как на тех же старинных картинах, краски были пригашены, жила неясность, было сумрачно и печально. И невозможно было выйти из этого сумрака и печали. Уразов крепко держал его под руку, водил от картины к картине, — а дом его был весь увешан картинами в старинных, тяжелых, позолоченных рамах. Люди на этих картинах были

громоздки, жирны, они поглядывали косовато и с хитрецей. И чванились своими нарядами, золотыми цепями и перстнями, выписанными любовно, тщательно, будто картины эти писались ювелирами.

Лукьян Александрович, гордясь, произносил имена художников, которые ничего не говорили Косте, а часто Лукьян Александрович и сам не знал имен творцов этих полотен, называя лишь школы, к которым, как ему думалось, они принадлежали.

— Из Рубенсовской конюшни картинка, его, его ученика. Умели в те времена писать женское тело. Просвечивает, живет. — Лукьян Александрович был рад случаю потолковать о своей коллекции. — Немалых денег мне стоила эта толстуха, скажу тебе, Костя. Не жаль. На картины не жаль. Да они и не дешевеют, картинки-то. Напротив.

— Наилучшее помещение капитала, — бесстрастно молвил Григорий. Не понять было, поддерживает он отца или спорит с ним.

Лукьян Александрович решил, что спорит.

— Да, помещение капитала! — сразу же осерчал он на сына. — Если не видишь в этом искусства, то разгляди хоть деньги. Не тряпки, не побрякушки, а ценности, и даже подтверже, чем любая валюта.

— Согласен, не спорю, — миролюбиво заметил сын. — Да только мне бы живых деньжат...

— Погоди, все твоим будет! Устроил аукцион! — Лукьян Александрович рассердился не на шутку. Да и Григорий, хоть и являл миролюбие, упрямо наклонил голову. Давний, давний возник у них спор. Но не при гостях же его длить.

— Смотри-ка, Костя, какие плоды, какие утки, какова снедь да посуда! — Уразов повлек Костю дальше вдоль стены. — Все собираюсь в столицу свезти эти натюрморты, к специалистам. Хочу дознаться, не великих ли мастеров под своей крышей держу.

— Так ведь вы же сами художник, — сказал Костя.

— Скульптор. Да, я, конечно, вижу, угадываю кисть, но кто тут кто — про это и не всякий искусствовед скажет. Потому-то художнички во всем мире на подделках и наживаются. Картина и подписана, а не верь глазам своим. Иное же полотно безымянно, а оно-то — бесценный клад.

— Совсем как в спортлото, — сказал сын. — Игра втемную.

— Болтай.

— А где же эти картины берутся? — спросил Костя. — У вас тут прямо музей.

— Музеи так и возникают. Картина к картине — вот и собрание. — Уразов оглянулся, шутя будто погрозила мясистым пальцем сыну. — Смотри, сын, возьму да и откажу все местному музею.

— А не жаль будет? — спросил Григорий.

— В том-то и дело, что жаль. А надо бы. — Уразов снова занялся Костей. — Вот эту женскую головку итальянской школы я в совсем глухом углу нашел, в районном у нас тут городке, у одной дряхлой старушки. Как уж эта картинка залетела в наши горы, этого и старушка не знала. Или забыла, может быть. Все твердила: «Память, память!». За «память» пришлось лишнего переплатить. Школа-то угадывается, но мастерства не видно.

— А вдруг это и есть тот клад бесценный? — сказал Григорий.

— Заветные те шесть цифр! — насмешливо подхватил отец. — Нет, Гришенька, в спортлото я не играю. Для ленивых мозгов игра. А вот здесь у меня, Костя, два полотна Айвазовского. — Уразов авел Костю в просторную комнату с большим, в полстены окном, за которым близко встали снежные вершины.

Если бы Уразов не предупредил Костю, что собирается показывать ему Айвазовского, то Костя при-

нял бы эти горы в окне за картину. Удивительна и прекрасна была эта картина. Не надо было быть специалистом, ценителем, чтобы понять это, чтобы вздрогнуть от радостного изумления перед этим окном в небо и горы.

— Повесил в самой светлой в доме комнате,— сказал Уразов.— Нарочно такое окно заказал, во всю стену. Люблю Айвазовского. Старомоден, говорят, монотонен, толкуют. Я это все мимо ушей. Люблю!

Наконец Костя разглядел два большие полотна на противоположной окну стене. Уж как старалось солнце для этих полотен! Да и художник был прилежен, выписывая свои волны, гребни, гребешки и брызги морские. Пожалуй, картины были и не так уж плохи. Но не повезло им: их затмили эти снежные горы в окне, строгие, неприступные и словно бы близкие. Костя знал теперь, что до них далеко. А они были рядом, опять рядом. И верилось, что они рядом, хотя помнилось, что это не так. Не повезло Айвазовскому.

— Мне эта картина больше нравится,— сказал Костя, кивнув на окно.

— Эх, милый! Так то природа.— Уразов задумался.— Пожалуй, а ведь, пожалуй, полотна не на месте. Костя, а ведь ты прав. Молодец, ну, молодец! Как думаешь, натюрмортам здесь не лучше будет?— Лукьян Александрович советовался с Костей, всерьез советовался и даже пояснил, почему:— Свежий глаз может иногда так подсказать, как никакой специалист не сумеет. Что скажешь, Костя? Как порешишь, так и сделаю.

Костя еще раз глянул в окно. В комнате было душно, только форточка приоткрыта. Там же, за окном, в легком, угретом воздухе зеленели, розовели, искрились виноградные гроздья. Если распахнуть окно, до них можно было бы дотронуться рукой. За стеклом же они были, как на картине. Пожалуй, итальянской как раз школы. Теплый, розовый виноград, живое небо, близкие и далекие горы. И опять эта картина, сотворенная природой, оказалась победительно лучше, чем натюрморты из уразовской коллекции.

Лукьян Александрович проследил, на что смотрит Костя, и все понял:

— Согласен, эта комната не для картин. Даже и для хороших. Окно подводит. Уж очень завидный в оконце этом вписан мир. Виноват.— Уразов уважительно разглядывал Костю.— Смотри-ка, ткнул носом. Тем только могу оправдаться, что зимой все затевал. Зимой в это окно даже и горы не часто заглядывают. То туман, то дождичек. Решено, отда-



дим эту комнату вазам. Я еще вазы, Костя, собираю. Малахит, яшма. Пойдем, покажу.

Они вернулись в комнату, где были Ксана и Туменбай. О чем-то они разговаривали. Разговор был серьезен, они не улыбались. Ксана просила о чем-то, Туменбай не соглашался. Попросила бы так она Костю, так вот, сведя ладони, Костя не сумел бы отказать. Все бы сделал. А Туменбай не соглашался, он терпеливо слушал, опустив руки, и не соглашался. Его несогласие жило в упрямом наклоне головы, в окаменелой твердости сухих плеч.

Увидев отца, Ксана умолкла, быстро заведя просящие руки за спину. Как девочка, которая что-то прячет от родительских строгих глаз. И Туменбай хоть и помедленнее, но тоже распрямился, разжал плечи. Пожалуй, только Костя успел заметить этот трудный разговор. Приметлив был он сейчас, все замечал. Ведь он прощался.

— А не приступить ли к обеду? — сказал Григорий. — Жрать хочется.

— Мой брат — счастливейший из смертных, — сказала Ксана. — Он всегда знает, что ему хочется. А ты, Туменбай?

— Иногда знаю.

— Сейчас знаешь?

Их трудный разговор возобновился, но теперь он шел на людях и потому снова стал потаенным, как там, в машине.

— Знаю, — сказал Туменбай и потянулся глазами к двери.

— Только-то? — Ксана, жалеючи Туменбая, покачала головой. — А как это называется?

— Ребята, перестаньте вы шептаться! — досадливо вырвалось у Григория.

— Мы говорим громко, — сказал Туменбай.

— Чуть что не кричим, — сказала Ксана. — Костя, вы нас слышите?

— Да.

— Ну вот, чего же тебе надо, мой придира-брат?

— Люблю ясность.

— Есть тебе хочется — вот и злишься. Папа, давай нарушим традицию, и ты покажешь гостям все свои сокровища после обеда. Твой наследник оголодал, а он в голоде страшен.

— Хорошо, согласен. Но с матерью-то надо Костю познакомиться. — Лукьян Александрович вдруг помрачнел, напрягся, трудно задумавшись, ужав в руке свою поповскую бороду. Только что был весел и всем доволен человек, картинками своими вот похвалялся, домом и вдруг слинял, померк, постарел. И Ксана тоже будто вздрогнула, чего-то испугалась. Иной заботой зажило ее лицо. Потрудней была эта забота, чем та, какую подметил Костя. Даже Григорий впал в уныние, понурился. Что с ними со всеми?

— Да, да, — сказала Ксана, решаясь. — Надо их познакомиться. Туменбай, пойдем же, я познакомлю тебя с мамой.

Так вот отчего он отказывался! Теперь Костя знал, о чем просила Туменбая Ксана. Но разве такое это трудное дело — знакомство с Ксаниной матерью? Общая тревога передалась и Косте.

— Пошли! — решил наконец Лукьян Александрович.

Еще одна дверь была в этой комнате, задернутая портьерой дверь. К ней и подошел Лукьян Александрович, тихонько отодвинул портьеру, тихонько постучал, прислушался, наклонив голову.

— Можно? — Ох, чуть ли не робея, потянул на себя дверь. — Машенька, я не один. Тут вот... — Лукьян Александрович взял Костю за руку, и они вместе переступили порог.

Окно в комнате было плотно зашторено, и в комнате жили сумерки, неожиданные в этот солнечный день. Посреди комнаты, как то бывает в спальнях, стояла широкая кровать. И пахло, пахло лекарствами, прогоркло и тяжело. Это был укоренившийся тут запах, он стал тут воздухом. Вон что, Ксанина мама была больна... Давно больна.

Костя всмотрелся в ее лицо на подушке, едва различив его. Женщина лежала с закрытыми глазами. Но вот она медленно стала открывать их. И все замерло в Косте, когда он повстречался взглядом с

ее глазами. Только они и жили на маленьком, иссохшем лице. И они так засветились в сумеречной этой комнате, что будто свету прибавилось. И они так смотрели, так пристально, неотступно, проникая, что не было сил выдержать этот взгляд. А надо было выдержать. Не для себя, не для того, чтобы утвердиться в ее глазах, а для нее, чтобы она не угадала в его испуге, смятении горестную правду о самой себе.

— Лукьян, отдерни штору, темно. — Говорить ей было трудно, каждое слово выговаривалось медленно, и после каждого слова начинала звенеть тишина.

— Сейчас, сейчас! — Лукьян Александрович суетливо подскочил к окну. — Вот, Машенька, вот, Мария Петровна, и тот самый Костя Лебедев, нашего Василия племянничек, про которого я тебе рассказывал...

Грянул свет. Костя зажмурился, сейчас можно было зажмуриться, а заодно передохнуть и от этих глаз.

— И вот, мама, мой друг Туменбай, — за спиной сказала Ксана. — Я тоже про него тебе рассказывала. — Звонко был голос Ксаны, и жил в нем вызов.

Костя открыл глаза. Туменбай стоял рядом с ним. Он тоже смотрел на Ксанину маму. А она теперь смотрела на них обоих. Они стояли рядом, как два солдата в строю, и, как у солдат, у них выпрямлены были руки, подняты были головы. Ксанина мать смотрела на них. То на одного, то на другого. Беззвучно шевелились ее губы. Может быть, ей казалось, что она разговаривает с ними.

Ксана наклонилась вперед, угадывая по движению губ слова матери.

— Костя, нравится тебе в нашем городе? — спросила она, вслух произнеся вопрос матери.

— Да. Но я уезжаю. Сегодня, наверное, не успею. Завтра...

— Почему? — спросила Ксана. Костя и сам угадал это «почему?» на губах ее матери. Но ему показалось, что она еще прибавила: «Не спеши». Показалось: Ксана этих слов не повторила.

«Мне трудно здесь, — хотел сказать Костя. — Мне очень трудно здесь». Он этих слов, конечно, не сказал, только беззвучно шевельнулись губы у него. Вслух он произнес лишь одно слово:

— Пора.

Ксанина мать внимательно следила, как шевелились его губы, родившие только одно слово.

— Не спеши, — проговорила она явственно. — Не спеши... — Она не понадеялась, что дочь правильно повторит ее слова. — Молодость... торопится...

Теперь она смотрела на Туменбая. Снова шевельнулись ее губы, беззвучно заговорив.

Ксана наклонилась совсем близко, боясь упустить хоть единое слово. Угадывая, она и сама зашевелила губами. Мать говорила, Ксана угадывала, разгадывала ее шепот, но молчала. И это безмолвие затянулось. Тогда вдруг Туменбай шагнул вперед, шагнул из строя и, прижав руки к груди, как это делают на Востоке, низко, медленно поклонился Ксаниной матери. А потом, едва распрямившись, рванулся к двери.

— Туменбай! — метнулась за ним Ксана.

— Стой! — Григорий схватил сестру за руку. — Ты еще побежишь за ним!

Захлопали двери в доме, стихли убегающие шаги Туменбая.

— Мама, прости! — сказала Ксана шепотом. — Прости...

Лукьян Александрович, как стал у окна, отодвинув штору, так там и остался. Он стоял, пожевывая кончик бороды, удрученный и отрешенный. Не вмешивался. Даже когда рванулся из комнаты Туменбай,

и тут не шевельнулся Лукьян Александрович, не молвил ни словечка. Здесь мать решала, здесь ее жила воля. Да, жила, еще жила, и все они, и дети и он сам, были подвластны этой воле, подчинялись этой женщине, маленькой, иссохшей, почти избывшей. Но воля ее не иссякла, и мать все еще была центром семьи.

Она снова смотрела сейчас на Костю. Все смотрели сейчас на Костю. Даже Ксана. А он, а ему было так не по себе, что впору бы повернуться и убежать, как это сделал Туменбай. Нет, Туменбай не убежал. У него гордо все получилось. Он что-то прочел по этим губам, что-то такое, чего его гордая душа не стерпела. И Ксана тоже прочла. И потому и молчала, что спорила с матерью, не соглашалась. Так зачем же тогда? Разве не Ксане решать, кто ей нужен? Разве не ей надо будет жизнь прожить с человеком, которого она, только она и должна выбирать? Она, и никто другой. А сейчас, а здесь ей пальцем указывали на него. Бери, мол, этого Костю Лебедева, бери, так будет лучше для тебя, для всех нас, мы-то знаем, что лучше. Вся семья была за Костю, но Ксана была против. В том-то и дело, она была против.

— Подожди... — медленно проговорила Мария Петровна. — Не спеши...

Она закрыла глаза, отпуская Костю, отпуская всех. Очень она устала.

— Пойдемте, пойдемте.

Лукьян Александрович снова задернул шторы и на цыпочках пошел к двери. В комнате жены он был совсем не похож на себя, он будто меньше сделался, и иной в нем проглянул характер. Не таким напористым и самонадеянным он выглядел. И, казалось Косте, в чем-то чувствовал он себя виноватым перед этой маленькой, угасающей женщиной.

Следом за Лукьяном Александровичем направились к двери Костя и Григорий. И тоже пошли на цыпочках. Ксана шла последней, оглядываясь, надеясь, что мать скажет ей что-нибудь. Мать молчала.

и какие-то мрачные, согбенные фигуры из гипса, и кресты, кресты, вырубленные из камня, большие, даже громадные кресты приткнулись по углам.

— Мастерская тут у меня, — пояснил Уразов. — Да ты не смотри, Костя, тут ничего такого не высмотришь. Работаю, деньги зарабатываю. — Он попробовал пошутить. — Для души работать — душа вон вылетит. Ну, Григорий, наливай. Водки. Мне в стакан. Доверху. Устал что-то я.

Не присаживаясь к столу, выпили. Григорий наклонился на еду, а Костя, помня упрек хозяина, взял кусок хлеба и стал жевать. Есть ему не хотелось. И каждая минута здесь ему была в тягость. Он чувствовал себя тут, как на кладбище. Эти кресты, кресты повсюду, надгробия. Они не были уж очень печальны, потому что были сделаны торопливой, беспечальной рукой, но, став рядом, все равно превратили этот сад в кладбище. А ведь здесь жила Ксана...

Уразов снова кивнул сыну, чтобы тот налил ему. Прежде чем выпить, прежде чем отпустить Костю, который, томясь, переминался с ноги на ногу, Уразов сказал ему, многозначительно и чуть уже пьяновато протягивая слова:

— Ты, Костя, только и вправду не вздумай уехать. Опротечиво поступишь, опротекишь. О тетушке своей, об Анне Николаевне, подумай, обо всем подумай. Одним словом, не спеши... Ну, а я повторю, пожалуй. Устал! Поезжайте!

Григорий отвез Костю домой. Надо было и машину в гараж поставить. Но чей это был дом? Чья это была машина? Запутываться начал Костя. Его дом был не здесь, но Григорий вез его к нему домой. Никакой не было у Кости машины, но не тут-то было, эта машина принадлежала ему, и если не он сам, то Григорий уже привык к этой мысли.

Всю дорогу, чертыхаясь, что подыхает от голода, что успел схватить только одну рюмку и один кусок колбасы, ругая на чем свет стоит и Туменбая и свою милую сестрицу, Григорий не забывал о машине, навставлял Костю, объяснял ему встречавшиеся по пути дорожные знаки, советовал запоминать, на каких перекрестках стоят орудовцы, советовал запоминать названия улиц.

Чудной, — если не сегодня, так уж завтра-то наверняка Костя уедет, улетит из этого города. Зачем ему запоминать названия здешних улиц? Без нужды ему, что тот молоденький орудовец ходит в приятелях у Григория, а вон тот, устрашающе усатый и кривоногий, ненавидит всех частников. Он уезжает, он улетает. Не сегодня, так завтра. И этот «кирпич», запрещающий проезд, и эта «прямая стрела», говорящая, что тут можно ехать только прямо, — все эти знаки-приказы не обязательны для него. Он тут недолгий гость. Прощайте, знаки, прощайте, горы.

Они расстались у дверей гаража. Передавая Косте ключи от машины, Григорий крепко пожал ему руку. Мало ему этого показалось. Он дружелюбно, чуть ли не по-братски обнял Костю.

— Не тужи, все обойдется. Так даже интереснее. Костя тоже обнял Григория, на случай, если больше не увидит его. Костя прощался с ним. Григорий этого не понял.

— До скорого! — крикнул он и побежал, придерживая рукой ковбойскую шляпу. — Жрать хочу! Помираю!

Анна Николаевна сама открыла Косте. Она ждала его. Оказывается, она была в курсе всех событий, всех его передвижений.

— Ну, как наш город? Приглянулся? А горы? Уж они-то, надеюсь, оставили впечатление?

Она знала и про званный обед, который не состоялся.

13

Когда все вышли, Лукьян Александрович осторожно притворил дверь, осторожно задернул портьеру, потом обеими руками провел по лицу, по бороде и распрямылся. И стал опять самим собой. Улыбнулся даже самонадеянно.

— Обедать, а теперь обедать.

Но какой там обед, не получалось с обедом.

— Я потом! — сказала Ксана и выбежала из комнаты. Захлопали в доме двери, послышались ее убегающие шаги.

— И мне пора, — сказал Костя. — Спасибо. Да я и есть не хочу.

— Что ж, неволить не стану, — помрачнел Уразов. — Но хоть по рюмочке-то. Нехорошо, в доме побывал, а до хлеба не дотронулся. Пошли, не держу.

По длинному коридору, в котором стояли, где только возможно, громадные зеленые и желтые вазы, словно это опять был не дом, а музей, прошли в сад. Сперва он показался Косте таким же, как и у Анны Николаевны. Тоже рдели в глубине ветвей громадные яблоки, тоже все оплел тут виноград. И фонтан подкидывал ломкую струю неподалеку от стола. Но, приглядевшись, заметил Костя, что это был все же какой-то странный сад. У ограды и вдоль стены дома здесь выстроились плиты из мрамора,

— Лукьян звонил только что, убивался.— Анна Николаевна внимательно поглядела на Костю.— Что, мой дружок, зацепило тебя?

Костя ничего ей не ответил, не сразу понял, про что она спрашивает. Поняв же, удивился этому откровенному слову «зацепило», задумался над этим словом. Зацепило... Как это? Как рыбу на крючок? Он — рыба, а Ксана — крючок?

— Не тужи, все обойдется.— А вот этого Анна Николаевна не знала, что слово в слово повторила только что сказанное Григорием.— Ты голоден? Пойдем, я накормлю тебя. Лиза нынче у нас с богом беседует. На весь день отпросилась в церковь. Хотела бы я знать, что у нее за молитвы на уме, о чем бога просит?

Она повела Костю в сад, где уже все готово было для обеда.

— И я с тобой чего-нибудь пожую.— Тяжело ступая, Анна Николаевна пошла на кухню.

Костя нагнал ее.

— Давайте, я сам.

— Нет, нет, не мужское это занятие — подавать к столу. Да мне и приятно тебе услужить. Не скрою, приятно.

— Давайте, я хоть помогу вам.

— Ну, помоги.— Наливая суп, устанавливая тарелки на подносе, Анна Николаевна все поглядывала на Костю. И, кажется, о чем-то все порывалась спросить. Но не спрашивала. Трудно ей было, не умела она придерживать свои вопросы, из тех была, что сразу ей подавай всю истину и не смей ничего утаивать. Так всю жизнь прожила, утверждая свое право спрашивать, осуждать, повелевать, привыкла властвовать. Да вот Костя не давался ей, никак не давался. То вспыхнет как порох, то отомолчится. Что толку спрашивать, если он молчит? С ним как-то по-другому надо было разговор вести. А как? Ждать, когда сам заговорит? Не умела Анна Николаевна ждать, не приучена была.

С подносами вернулись в сад. Анна Николаевна расставила тарелки, уселась, посадила Костю напротив, притихла. И Костя притих, задумался. Звенела тишина в саду, ручей шелестел. Костя вспомнил, как Ксана пила вчера здесь чай из пиалы, вспомнил ее смеющийся, облитый перламутром рот. Вчера это было? Вчера? Да не может быть! Это было еще тогда, когда он совсем другим был, чем сейчас. А каким? Легко тогда ему было, просто, свободно. Вернуться бы во вчера! Разве так это трудно — взять и позабыть один всего день из своей жизни, взять да и перечеркнуть его? Костя решил, что попробует это сделать. Он даже вилкой повел в воздухе, перечеркивая этот день.

— Да ты, никак, крестишься? — удивилась Анна Николаевна.

— Открещиваюсь, — сказал Костя.

— Досадуешь? А ты Расскажи, не затаивайся.— Анна Николаевна опять поспешила: замкнулся Костя, спугнула она его.— Что ж, молчи. И верно, когда я ем, я глух и нем.— Она подивилась своей кротости.— Ешь, Костя, стынет суп.— И сама, показывая пример, зачерпнула из тарелки.

Отобедали молча. Анна Николаевна почти и не ела ничего, из-под нахмуренных бровей рассматривая Костю. Странно ей было, тревожно и радостно. Похож, похож был этот юный Лебедев на человека, еще недавно сидевшего в том же вот кресле. Он мог бы быть их сыном, ее сыном. Вот зачем нужны дети — они нужны в старости. Всю жизнь не понимала этого она, все свои молодые годы. Дети помехой казались. Они и были помехой. Она видела, как мучаются с детьми ее приятельницы. Дети были

неблагодарны. Она видела это, она сотни примеров накопила про это. Жить для себя, для Василия, жить, умело оберегаясь от всяческих житейских невзгод, неудобств, — это с годами стало ее целью, ее верой, ее гордыней. Она гордилась умной своей жизнью, налаженной, благополучной, безмятежной. Что только не бушевало вокруг, какие только бури не гуляли по земле, а для нее с Василием то был легкий ветер. Они не прятались, не хитрили, не чурались работы. Нет, просто они не рисковали. Им посчастливилось с работой, им посчастливилось с городом, где они начали свою самостоятельную жизнь, им посчастливилось друг с другом. Страшно было потерять все это, потерять душевный покой. А дети — это всегда риск. И годы шли, годы прошли. Бог не дал? Сама не захотела. Ошиблась. Это была ошибка. Глядя на Костю, глядя сейчас на Костю, Анна Николаевна сокрушенно призналась себе, что это была ошибка. Ее собственная. Врач, она так привыкла управлять с людьми, что вот и с собой управилась, материнством своим распорядилась. Она слишком возомнила о себе, о своем уме, проницательности, предусмотрительности. Вот и расплачивается сейчас одиночеством. Паренек, что сидел напротив, был не ее сыном, но он был единственной ее надеждой в борьбе с одиночеством.

— Любой ценой, любой ценой! — вслух сказалось у Анны Николаевны ее окончательное решение.

Костя поднял голову от тарелки.

— Вы о чем?

— Костя, Лукьян что-то бубнил мне по телефону, что ты надумал уезжать. Чуть ли не сегодня даже. Правда это? — Анна Николаевна решила перейти к наступлению. Выжидать — это было не в ее характере.

— Да, правда, — сказал Костя.

— Ну, хорошо, удерживать тебя никто не станет. Но давай разберемся, дружок, на верный ли ты решаешься шаг. Поговорим начистоту, согласен?

Костя наклонил голову.

— Вот и хорошо. Ты хоть понял, что мать Ксаны твою сторону взяла, ты это-то понял?

— Я понял, что Ксана любит Туменбая.

— А ты, а себя ты за человека не считаешь? Прости, мой дружок, но за девушку надо бороться. Конечно, я не вмешиваюсь, но уж если запала она тебе в душу... Ты только пойми, Костя, Лукьян Александрович Ксану за Туменбая этого не отдаст. Он мне так прямо по телефону и сказал, что этому не бывать. А ты уезжаешь. Убегаешь.

— Зачем я ей?

— Глупый ты, глупый...

Верно, где было понять Косте, когда было научиться так понимать людей, так проникать в их мысли, чтобы уразуметь сейчас, что Анну Николаевну не Ксанина судьба интересует и даже не его судьба, а ее собственная. Труден ему был этот разговор, но и сладок. С ним говорили, как со взрослым, про самое что ни на есть взрослое. И Костя дал увлечь себя в этот разговор, увязал в нем все больше и больше.

А Анна Николаевна уже предвкушала победу. Да, мальчик этот глуп, как глупа юность, он еще воск — лепи что хочешь. Он будет еще и мудр, и зорек, и предпримчив. Она сделает его таким. Она, а не отец его и мать, сумевшие разве что выкормить его, дотянуть с грехом пополам до института.

— Да и она глупа, Ксанка наша. Уж ты не сердись, дружок, это так, вы еще несмышленыши.— Анна Николаевна рассмеялась даже, так вдруг позабавили ее все эти безысходные горести молодых людей.— Да знаешь ли, друг мой, что я сама, когда за Васи-

лия выходила, любила вовсе и не Василия? Он мне пресным казался. Господи, что за дурочка я была! Вот как раз, как вы теперь. Другого я любила.— Она зажмурилась, ладонями загородилась от света.— Лица уж и не вспомню. Помню только, что быстрый был, куда-то все рвался, не сиделось ему на месте. Куда-то все звал меня...— Она не отняла ладони от лица.— А зачем? Разве я не счастливую жизнь прожила? Ты скажи, разве у каждой такой дом к старости, все, все, что есть у меня,— разве это у каждой?— Она не отнимала ладоней от лица.

— Нет, где уж у каждой,— сказал Костя, почему-то вдруг пожалевав свою старую тетку, и эта жалость к ней прозвучала в его голосе.

— Останься, Костя,— попросила Анна Николаевна.— Останься. Ну хоть ненадолго еще. Ты же наследник мой. Все, все тебе откажу. Все! Знаешь ли, что у Марии Петровны рак? А какая была женщина! Маленькая, да великана своего в кулачке держала. Уходим мы, уходим...

Анна Николаевна все так и не отнимала ладоней от глаз. Там, в темноте, оживало, рождалось сейчас позабытое. И вздрагивали, мелко вздрагивали в нее плечи.

14

Костя остался, промаялся весь день и решил к вечеру, что останется здесь до конца каникул. Это уж не побег, если он уедет перед самым началом занятий. Никто не сможет тогда его упрекнуть, что смалодушничал. И Анна Николаевна не станет обижаться, поймет. Учиться-то ему надо. Решение было принято, все самому себе объяснено, самому себе доказано, и на душе стало поспокойнее. Он написал в тот же вечер письмо родителям, растолковывая и им свое решение. Он ничего только не написал им о Ксане. А что было писать? Уж с ней-то он простился, хоть и предстояло ему прожить еще какое-то время в одном с ней городе. Лукавил Костя, сам с собой лукавил. Не простился он с ней. Ради нее и остался. Ради мига единственного, когда встретит вдруг на улице где-нибудь. Ради боли этой и счастья взглянуть на нее. Но, пожалуй, то было не лукавством, нет, то было извечной игрой людской в прятки с собственной волей, с собственным разумом, с собственной гордостью и во имя надежды. Костя включился в эту извечную игру, сам того не ведая. Где ему было все знать про себя! Для этого ему надо было жизнь прожить, а он только вступал в нее. Или надо было для этого, чтобы рядом с ним оказался настоящий друг, чтобы рядом отец оказался, мать. Их не было рядом. Отец где-то все птичек своих оберегал, с браконьерами сражался, а мать не прочла в письме сына ничего такого, что могло бы встревожить ее. Ну, тетка старая удерживала, ну, город интересен, горы удивительные. Написал Костя и о машине, о царском этом подарке Анны Николаевны. Что ж, и это было в конце концов не столь уж необычным событием. Получив от сына письмо, мать перешлет его мужу — он все еще был в командировке, в птичьем раю Гас-Кули,— а сыну напишет только, что соскучилась, что в Москве жара не хуже, чем у них там в Средней Азии, и еще про то, чтобы он поосторожнее обходился с машиной, не вздумал бы ездить на ней, хорошенько не научившись. Она верила своему Косте, она привыкла ему доверять. У них в семье привыкли верить друг другу и ничего не утаивать. Они вообще были доверчивыми людьми, московские Ле-

бедевы. Доверчивость — удел хороших людей. Может быть, беда их?..

И, раз уж остался, Костя решил научиться управлять машиной. Те две недели с небольшим, которые оставались до конца каникул, надо было прожить здесь с максимальной для себя пользой. Во-первых, научиться водить машину. Во-вторых, написать очерк об этом городе, чтобы потом тиснуть его в их университетской газетке. Такие послеканикулярные очерки на их журналистском факультете были в традиции. Это был своего рода конкурс, кто напишет лучше. Вся хитрость была в том, что площадь многотиражки не позволяла размахнуться на полотно. Надо было написать предельно коротко, но чтобы и художественно было, чтобы образы получились и чтобы обязательно было сообщено в очерке нечто новое. А попробуй удивить студента журфака. Он и удивится, да не покажет вида. Тут надо поразить, потрясти, чтобы человек рот разинул. О чем же написать? Манили, манили горы. Но столько о них написано, и в той же их многотиражке столько. Одни альпинисты университетские чего только не написали! И про обвалы, и как подвели их страховочные веревки, и про ночи в снегу и во льдах. А он, про что он мог написать? Как сорвался серый, пыльный орел со скалы, как полетел потом в небо, так близко взмахнув крыльями, что, казалось, ветер от них коснулся лица? Об этом? Или написать про знаменитую певичку, которой тоскливо с ее развеселыми спутниками? Но это уже не очерк, а рассказ, это уже беллетристика. На журфаке мадам беллетристика не пользуется успехом. А может, написать, как он погладил по хоботу слона-облако? Написать, как стоял у самого края бездонной пропасти и как это замечательно — вдруг почувствовать себя смелым? Ведь это не выдумка, не предположение, он сам пережил это. Да, но как написать, как объяснить, зачем ему понадобилось встать у самого края пропасти? А верно, зачем?..

Нет, про горы ему, пожалуй, не написать: он там слишком мало времени провел. Лучшее он напишет об этом городе. И не надо спешить с решением, про что писать. Надо смотреть, присматриваться, глаза сами подскажут. «У журналиста думают глаза» — это одна из их журфаковских заповедей. Ну, а пока — машина. В гараже Костя обнаружил целую грудку книг по автомобилизму. Эти книги он немедленно перенес в свою комнату и принялся штудировать. В жизнь его вошли совершенно новые и загадочные слова: жиклёр, дроссель, трамблер, воздушный фильтр, как и смутно известные ему: аккумулятор, карбюратор, катушка зажигания. Он погрузился в изучение дорожных знаков, всех этих хитрых кругов, прямоугольников, треугольников и извилистых стрелок, всех этих «можно» и «нельзя». И в первый же вечер голова у него кругом пошла, и он отбросил надежду, что когда-нибудь сможет водить машину.

Но наутро явился Григорий, выслушал, насмешливо кривясь, все его сомнения и обронил лишь единое слово:

— Пойдем!

А ведь прав оказался Григорий, сказав ему вчера: «До скорого!» Не поверил в его отъезд, не придал значения его словам. Костя боялся, что Григорий станет спрашивать его, почему, мол, погрозил, да не уехал. Костя не знал, что станет говорить в ответ. Вчера, когда писал матери, он все легко объяснил и ей и самому себе. Сегодня этих объяснений уже не доставало. Ясность и простота его решения куда-то улетучились за ночь. Да Григорию и не скажешь так коротко, как матери в письме. Григорий больше

знал. К счастью, он, похоже, напрочь забыл, что Костя собирался ехать. Да и куда ему было ехать от машины, от привольного житья у старой тетки, которая готова была выполнить любое его желание? Не совсем же он дурак, этот Костя Лебедев из города Москвы. Так, наверное, думалось Григорию. Ведь он бы наверняка не уехал, подвернись ему такой случай. И хорошо, пусть так и думает. Главное, что не пристаёт с расспросами.

Снова едут они в машине по городу, снова утро, солнце палит, снова снежные вершины совсем где-то рядом. Такое же утро, что и вчера, да не такое. Такое же, да не такое. Теперь Костя знает про горы, про то, что путь до них далек. Теперь он знает, что Ксана любит Туменбая, и он знаком с ним, с этим Туменбаем, и согласен: да, такого можно полюбить. И где-то на одной из этих улиц — Костя не запомнил путь туда, думал, что не понадобится, — стоит дом Ксаны, и в этом доме есть комната с зашторенным окном, где умирает мать Ксаны. О многом теперь знает Костя, о чем не знал вчера утром.

— Поедем в сторону гор, — сказал Григорий. — Там есть площадочка одна. Как раз то, что нам нужно. Крути-верти — никуда не свалишься, никого не собьешь.

— А зачем? — не понял Костя.

— Как зачем? Сядешь за баранку.

— Прямо сегодня?

— Когда же еще? К вечеру будешь водить машину. Ну, для начала по прямой и на пустыре. Через денек-другой, если не трус, покатишь по своей улице. А там спроворим тебе права, и кататься. Город у нас тихий, не Москва, здесь с закрытыми глазами можно ездить. Вообще, Костя, смотрю я на тебя и думаю: а ведь ты как раз для нашего городка создан. Тихо тут, не суетливо, а уж красоты хоть отбавляй. Какой ты москвич? Вот я москвич, да, говорят, бодливой корове бог рогов не дает. Ничего, вырвусь! А ты оставайся, Костя, у нас. Станешь ты здешним домовладельцем. Да еще из первых. И фамилия твоя тут у всех на памяти. Как же, Лебедев! То был старший, теперь младший. Газета тебе нужна? Что ж, есть у нас и газета, да не одна. А там, глядишь, детишки у тебя с Ксаной пойдут, а там, глядишь, и в главные редакторы продвинешься. Чем не жизнь?

— Да, жизнь хоть куда, — в тон Григорию сказал Костя. Тот шутил, и ему должно было шутить. А между тем жизнь, про которую усмешливо толковал ему Григорий, была совсем не такой уж непривлекательной и унылой. В этой жизни Ксана присутствовала. Григорий о детях их даже помянул. Несбыточной, как сказка, показалась Косте эта жизнь. Вспыхнула в глазах и исчезла. Ведь шуточный вел Григорий разговор, чуть-чуть даже глумливый.

— А что ты тем временем станешь делать? — спросил Костя. — Завоеешь Москву?

— Непременно. Вот выдам замуж сестрицу и подамся отсюда. Ну, может, придется кончить институт. А уж потом... Григорий Уразов не для здешних мест. Здесь только горы высокие, а так провинция из провинций. Но ты не горюй, я буду наезжать к вам. Охота здесь изумительная. Кстати, ты дядины ружьишки не вздумай продавать, если что. Таких ружей теперь не найти. Подаришь хоть одно родственнику-то? Кем я тебе вскорости стану? Своим? Шурином? Деверем? Может, егерем?

— Скорее всего.

— Надо будет вашу тетю Лизу спросить. Она во всех этих родственных связях разбирается лучше папа. Ох, и не рада же она, что ты прикатил! Смотри, еще отравит. Думала, все ей достанется, и вдруг — ты. Обидно, а?

— Не болтай, — сказал Костя. — Хватит, пожалуй.

— А я не болтаю, я серьезно говорю. Деньги! Кто это придумал, какой умник, что в нашем обществе деньги теряют силу? Вот уж глупистика! Конечно, если этих денег всего ничего, то и не стоит о них говорить. Тогда, и верно, прокути все, как мы умеем, за один вечер — и basta. Но если денег много, если их тысяч за тридцать — а столько, говорят, твоя тетушка и стоит, — если еще и дом, и машина, и дача, то вы уж меня извините, дорогие товарищи, вы уж меня извините...

Ну вот они и подкатили к широкой, ровной площадке, похожей на дно высохшей реки. Город остался позади, впереди лежали горы, к ним уходила, заворачиваясь, дорога, по которой проезжал вчера Костя. Отсюда дорога эта казалась узкой стальной спиралью. Солнце сверкало на ее изгибах, на погребельно крутых поворотах. Не верилось, что вчера они взобрались по этой спирали вон до тех черных скал и еще дальше, дальше. Все, что было дальше, было скрыто от глаз.

— Это наша вчерашняя дорога? — спросил Костя.

— Она самая. А теперь смотри. Вот я остановил машину, выключил мотор. Вот опять включаю, повернув ключ. Так, есть зажигание. Теперь отжал сцепления — вот эта вот педаль, — включил скорости, рычаг на руле. Газ! Поехали! Понял? Запомнил?

— Да, кажется.

— Это все не сложно, не пугайся. Сложнее отработать автоматику движений. Все, что я показал, — это все делается почти одновременно, и делаешь это все не глядя, автоматически. Тут уж нужна практика. Да, вот еще про эту педаль не забывай. Это ножной тормоз. А эта рукоятка слева — это еще один тормоз. Не поможет ножной, хватайся за ручную. Понял? Запомнил?

— Да.

— Тогда давай берись за баранку. — Григорий остановил машину и вылез из нее, уступая водительское место Косте. — Давай, давай, не робей, тут упасть некуда.

— Ничего у меня не выйдет, — усомнился Костя, но к рулю пересел. — Надо бы еще книжечки подчитать.

— Выйдет. — Григорий обошел машину, сел рядом с Костей. — А книжечки ты потом подчитаешь, когда уже ездить начнешь. Ну, ключ... Так! Сцепления... Скорости... — Григорий легонько подтолкнул Костину руку, помогая ему перевести рычаг скорости. — Так! Газок! Поехали!

Машина рванулась, замерла, снова рванулась и пошла. И когда Костя повернул чуть влево руль, машина послушалась его и стала заворачивать влево. Это было чудо! Он правил машиной, она подчинялась ему, она катилась вперед. И это было чудом. Несчетное число раз ездил Костя на автомобилях, но ничего подобного не испытывал. Разве только в детстве езда доставляла ему какое-то особенное удовольствие. Но то было в детстве. Теперь же во сто крат сильнее, чем в детстве, была та радость, которую испытал Костя. Это ни с чем нельзя было сравнить. Машина двигалась, катилась, потому что он управлял ею. Она слушала его, он слушал ее, они угадывали друг друга — и это было так удивительно, так здорово, что у Кости руки задрожали на руле. И эта его дрожь, его радость тоже передались машине. Она покатилась, подпрыгивая, будто развеселилась.

Еще и еще раз, еще и еще раз останавливал и пускал машину Костя. Он не замечал времени, не чувствовал жары, хотя солнце палило нещадно. Наконец стало тяжело машине, закипела, перегрелась в ней вода.

— Хватит, на сегодня хватит, — сказал Григорий. Он терпеливо все время сидел рядом с Костей, подсказывая ему только тогда, когда нельзя было не подсказать. Григорий оказался хорошим учителем. Он не мешал, не громоздил один совет на другой. «Сам, сам! Давай, давай! Получается...»

У Кости действительно получалось. И он был счастлив, просто счастлив.

Но, верно, на сегодня довольно. Косте стало жаль машину, он почувствовал себя виноватым перед ней. От машины валил пар, как от загнанной лошади.

— Переждем, — сказал Григорий. — Пусть вода остынет. Они вышли из машины, и Григорий поднял капот, помогая машине перевести дух.

— Да, между прочим, Ксана вчера весь город обегала в поисках своего Туменбая, — сказал Григорий и тоже как бы между прочим. — Пропал парень, сбежал. — Григорий ходил около машины, носком ботинка ударяя о покрышки, проверял, не спустили ли. — Обиделся. Он у нас обидчивый. Ты понял, про что вчера мама говорила Ксане?

— Нет.

— И я не понял. А вот он, похоже, понял. И в горы. Чуть что — и он сигает в горы, на свои любимые джайлоо, к своим любимым овечкам. Там у него дед в чабанах. Вот к деду и подался. Будет там стишки свои сочинять. Он ведь у нас поэт. Что ж, обидя, говорят, — сестра поэзии. Пожелаем ему удачи. Поехали, а?

— Поедем.

— Ты что притих, Костя? — уже в машине спросил Григорий. — Онемел? От радости?

— От какой это?

— Ну как же, машину начал водить.

— А-а...

Всю дорогу до дома Костя промолчал, хотя Григорий и пытался с ним заговаривать. Так, о пустяках, о дорожных снова знаках, давал всяческие наставления, касающиеся машины. Костя молчал. Он прислушивался к себе, помня про недавнюю в себе радость, про то удивительное чувство, которое охватило его, когда машина пошла, когда он повел ее, но радости не было, то короткое счастье сгинуло. Оно было вот именно что коротким.

Простились у гаража, и Костя побрел домой. Теперь что ни говори, а это был его дом. Но зачем он здесь, зачем остался — этого сейчас Костя понять не мог. Смалодушничал, дал себя уговорить.

— Костя, я попозже зайду за тобой, закатимся куда-нибудь! — крикнул уже с улицы Григорий. — Ксану прихватим! Условились?

Костя не ответил. Никуда ему не хотелось закатываться, даже с Ксаной. Он-то ей был не нужен. Она вчера весь город обегала в поисках своего Туменбая. Вот, вот кто был человеком. Повернулся и ушел. И нет его. Он в горах, он там, где белеют эти вершины. Косте трудно было ему не позавидовать.

Лиза встретила Костю. Она построже стала с ним. — Запылился-то как! Душ бы хоть принял!

Душ — это был удачный совет. Костя залез в ванную, скинул, торопясь, одежду и крутанул сразу оба крана, горячий и холодный. Но на него обрушилась только холодная струя. Он позабыл, что здесь надо было подогревать сперва воду в колонке. Ничего, так даже лучше получилось. Ему и нужна была сейчас холодная вода. Самая холодная, ледяная, с гор. Он так перегрелся, так истомился, что только холодная, ледяная вода и могла ему чуть-чуть поспособить.

— Чайник, чайник с кипятком возьми! — кричала за дверью Лиза.

Он не ответил: перехватило дыхание. Ледяная вода, вода горных вершин была беспощадна и милосердна. Она все мысли из него высекала, все до единой. Он стоял и ни о чем не думал, погибая от холода и радуясь своему безмыслию.

15

Снова обед в компании Анны Николаевны и тети Лизы. К счастью, их свои донимали мысли, им самим хотелось помолчать. Анна Николаевна только спросила:

— Осваиваешь машину, Костя?

— Осваиваю.

— А мыть кто ее будет? — спросила Лиза, воинственно вздернув маленькую головку, оплетенную косицами. — Я мыть машину отказываюсь.

— Зачем же, я сам буду мыть, — сказал Костя.

Вот и весь разговор за все время обеда, если не считать недовольных Лизиных похмыкиваний, будто она с кем-то бранилась, но молчком, и лишь эти похмыкивания и прорывались наружу. И если не считать, что Анна Николаевна не оставляла Костю заботливым вниманием, хоть и была занята своими мыслями.

— Еще супу? Еще мяса? — спрашивала она. — Хороши ли наши помидоры?

На похмыкивания своей Лизы Анна Николаевна никак не реагировала. А ведь похмыкивала-то Лиза явно в ее адрес.

Так и прошел обед. И только когда громадная дыня улеглась посреди стола и Косте было предложено ее разрезать — дело это, оказывается, всегда брал на себя профессор Лебедев, — вдруг начался за столом разговор, к которому Костя был совершенно не готов.

— Скажи, дружок, как ты обходишься здесь без денег? — спросила Анна Николаевна.

— А у меня деньги есть, — сказал Костя. — На билет я отложил, а на все про все у меня еще десятка осталась.

— На все про все... Десятка... Тебе, Костя, этой десяткой не обойтись. Вот что... — Анна Николаевна опустила руку в карман широкой кофты и выложила на стол большой потертый бумажник. — Это Василий бумажник. Он теперь твой, Костя. Трать на что понадобится. Я отчета спрашивать с тебя не стану, деньги в бумажнике твои. — Анна Николаевна продала через стол бумажник Косте. — Бери.

Костя так растерялся, что взял бумажник.

— И не скупись, если надо будет потратиться, — сказала Анна Николаевна. — Ты Лебедев. — Она поднялась. — Пойду к себе, сердце что-то пошаливает. — Анна Николаевна грузно, трудно двинулась через сад к дому.

Лиза подскочила к ней, подхватила под руку.

Оторопело смотрел на удалявшихся старух Костя. В руке он сжимал старый дядин бумажник, порывелый, истертый по сгибам. Костя и на бумажник глянул оторопело. Зачем он взял его? Почему не нашлось у него слов, чтобы отказаться от этого странного дара? Он раскрыл бумажник, понимая, что в нем деньги. Да, там были деньги. И столько сразу денег никогда в своей жизни Костя не видел. Он, если правду сказать, никогда и таких купюр в руках не держал, этих коричневатых-лиловатых хрустящих бумажек с цифрой сто на розовом отливе. Таких бумажек была целая пачка.

Костя кинулся за Анной Николаевной.

— Вы ошиблись! Зачем?! Куда мне столько денег?!

53

— Нет, мой дружок, я не ошиблась.— Анна Николаевна вместе с Лизой скрылась в своей комнате.

Что было делать? Костя пошел к себе наверх. Бумажник он нес в протянутой руке, на отлете. Сейчас он поднимется в дядин кабинет, выдвинет ящик в дядин письменном столе и положит туда этот дядин бумажник, набитый деньгами. Странноватый это был какой-то бумажник: бедный с виду и всемогущий внутри. А сколько там все же было денег, в этой плотно ужатой пачке? Костя вошел в дядин кабинет и прежде чем сунуть бумажник в стол, решил пересчитать деньги. Это и надо было сделать, чтобы никаких потом не произошло недоразумений. Костя был приучен бережливо относиться к деньгам. Правда, к живым деньгам — к рублям, к пятеркам. Эти же, сотенные, казались ему пришельцами из иного мира, чужого и пугающего. Все же надо было пересчитать их. Костя присел к столу и стал считать. Он долго считал, сотенные не давались его пальцам, даже царапались. Их оказалось двадцать пять штук. Двадцать пять сотен! Это означало, что в пачке было две тысячи пятьсот рублей. Новых рублей! «Она с ума сошла!» — подумал Костя. Ему страшно сделалось, неприятно, эти деньги пугали. И со всех сторон уставились на него курчавые ружья, волк с полу на него тарасился, обнажив клыки. Сбежать бы! Кинуться бы прочь отсюда! Эта мысль так взорвалась в Косте, что он вскопился, заметался по комнате. Ах, какая это была всрская мысль! Право же, право, иногда не стыдно и убежать.

На столе вдруг пробудился, вздрогнув, давно молчавший здесь телефон. Возможно, он подал голос впервые после смерти хозяина, и был этот голос глухим и тревожным.

Костя поднял трубку.

— Да?

А вот голос Григория — это он звонил — был звонкий, беспечен, солнечен даже, как день за окном:

— Костя, мы сейчас зайдем к тебе! Жди!

Можно было не отвечать, Григорий повесил трубку. И сейчас, минут через пять, ну, через десять, он будет здесь. В этом городе люди жили недалеко друг от друга. Им, может, и казалось, что город их велик, но, сравнивая его с Москвой, Костя видел совсем небольшой город, где все было рядом, где все друг другу были соседями. Дом Уразовых был в нескольких минутах ходьбы от дома Лебедевых. Если бы Костя получше разглядел вчера с улицы дом Ксаны, он наверняка сейчас мог бы в окно стиснуть его. Не из этого окна, так из другого. И, может быть, увидеть Ксану в окне или в саду. Но Григорий сказал: «Мы...» С кем это он идет к нему? Наверное, это он о себе так: «Мы — Григорий Уразов...». У Кости был один знакомый старичок в Москве, сосед по дому. Важничая, он всегда говорил о себе во множественном числе: «Мы сегодня на солнышке целый день греемся...» А был он один на скамейке, никого с ним рядом не было. Григорий, наверное, изволил пошутить. «Мы» — это его шутка. Это он важность на себя напускает. Ведь он для Кости главный человек сейчас, он учит его водить машину. А все же, а вдруг он и не собирался так глупо шутить и явится сейчас и еще с кем-то? С кем? Робкая, пугливая надежда пробудилась в Косте. Нет, этого не могло быть, Ксана не придет к нему, она ищет своего Туменбая, она ждет его. Ей зачем сюда приходить.

Надо было спрятать бумажник, покончить с этим. Костя потянул один ящик, другой. Все они были заперты, и не было в них ключей. Куда же девать этот бумажник? В кабинете дяди множество было укромных уголков, но это все были чужие тайники, и Костя не решался воспользоваться ими. Сунет он

куда-нибудь бумажник, а тот исчезнет. В комнате все было чужим, даже этот новый костюм принадлежал не ему. И в комнате все было его, должно было стать его, было ему обещано. «Все, все тебе откажу». Костюм, машина, теперь эти деньги в дядин бумажнике, — вот уже ему и начали «отказывать». Лишь бы только он остался здесь. Это было единственное условие, одно-единственное. Нет, не на две недели остался, а на годы. Бросить родителей, бросить университет!.. Зажить какой-то не своей жизнью!..

Внизу весело и напористо подал голос звонок. Григорий! «Мы!..» Костя сунул бумажник за валик дивана и побежал отворять.

Но Лиза опередила его, и когда Костя еще сбегал по лестнице, он услышал в прихожей голоса и Григория, и Лизы, и... Ксаны. Она говорила: «Здравствуйте, тетя Лиза», — и весел был ее голос. Приветлив, безоблачен. Костя замер на лестнице, ему надо было опомниться. А Ксана спрашивала у Лизы смешливо и благожелательно: «А где же наш Лебедев-младший?» «У себя, наверху», — сказала Лиза. — Двери отворять — моя обязанность. Я ведь тут, Александра Лукьяновна, вроде как на побегушках».

— Эй, хозяин! — на весь дом гаркнул Григорий. — Встречай гостей!

— Я здесь, — тихо отозвался Костя и стронулся с места.

И пошел, ступенька за ступенькой, отчего-то пав духом. Робость — он никогда не был дружен с этим чувством. Чего было ему робеть? Жилось ему легко, были рядом отец с матерью, жилось ему смело, безопасно. А вот теперь он частенько стал испытывать робость. В этом городе так все складывалось для него не просто, что и не мудрено было оробеть. А чувство это было скверное, липкое, как потная рубаха в жару.

— Здравствуйте, Александра, — сказал Костя и порадовался, что сумел прямо посмотреть в ее глаза.

— Вот уж я и Александра, — улыбнулась она и быстро протянула ему руку. У нее была теплая ладонь, даже горячая. А улыбалась она очень уж весело. Никаких забот не было у этой девушки. Никакого не было у нее Туменбая в бегах, и мать у нее не умирала от рака. — Что, так и будем стоять в этом коридоре? Пойдемте к вам. Я, кстати, ни разу не была в кабинете профессора Лебедева. Это ведь теперь ваша комната, да?

— Надо бы вам на «ты» переходить, — сказал Григорий. — Кстати, хозяин, хлебнуть у тебя не найдется?

— Я не знаю, — сказал Костя. — Надо у тети Лизы спросить.

— Вот так хозяин! Тетя Лиза, так как?

— От Василия Павловича целый погреб остался. Чего только нет. Прикажете подать, Константин Сергеевич? В кабинет? В гостиную? В сад? — Лиза язвительно кривила тонкие губки, язвил и ее елеинный голосок.

Ксана смотрела на Костю, она ждала, что он скажет, как поведет себя.

— Я сам спущусь в погреб, — сказал Костя. — Где он тут у вас? Григорий, пошли, глянем, что там есть.

— Во! Это уже по-хозяйски! — одобрил Григорий.

И Ксана тоже похвалила его, чуть кивнув одобительно. Его ответ ей понравился.

— И я с вами, — сказала она. — Погреб! Там, наверное, прохладно, как в горах.

— Нет уж, сама распоряжусь! — рассердилась Лиза. — Нечего по погребам лазить! Анна Николаевна пока еще меня от дел не отстранила. Куда вам податься?

— В дядин кабинет,— сказал Костя.
— Ступайте, принесу.— Лиза удалилась, рассерженная, разобитая чуть ли не до слез.
— Да, ситуация,— протянул Григорий.— А говорят, что Островский устарел. Ну, веди, хозяин.
Стали подниматься по лестнице, и Костя шел впереди, как и подобает хозяину. Он шел и прислушивался к шагам Ксаны. Своих шагов и шагов Григория он не слышал. А Ксана шла как-то странно. Шагнет и остановится, шагнет и остановится, будто ступени были для нее слишком круты. Костя оглянулся. Ксана не ждала, что он оглянется, не было на лице у нее сейчас веселой улыбки. И она, вот и она, робела сейчас чего-то, испуганное было у нее лицо.

16

Едва войдя в кабинет профессора Лебедева, Григорий кинулся к ружьям. Здесь их было столько, что у него глаза разбежались. Как в музее, в Оружейной палате.

— Это хорошо, а это еще лучше! — восхищался Григорий. — Вот так ружья! Вот это вот ружья!

Он решил и снял со стены самое приглянувшееся ему ружье. Это был короткоствольный карабин с магазином.

— Костя, друг, а ведь этот карабин у тебя отберут. На него специальное разрешение надо иметь. По сути, это многозарядная винтовка. Эх, американочка, да с тобой я хоть на льва, хоть на тигра! Хоть на нашего декана! — Григорий прижался щекой к ружью, как к любимой. — Заряжен зверобой?

— Не знаю,— сказал Костя.

Насторожившись, Григорий оглядел карабин.

— На предохранителе. Значит, заряжен. Ты, Костя, понимаешь, что это за машина?

— Догадываюсь.

— Ни черта ты не догадываешься. Снять с предохранителя, нажать на спуск,— и все тут взорвется, весь дом разнесет.— Григорий осторожно, почтительно водрузил карабин на место. — Надо отцу сказать, чтобы разрядил при случае. Он про эти ружья понимает не хуже, чем Василий Павлович понимал.

— А сам боишься? — спросила Ксана.

— Конечно, боюсь. Чужое ружье стреляет без предупреждения. Да и не приучен я, сестрица, к заморским ружьям. Вот разве что Костя когда-нибудь подарит... Хотя нет, зачем мне такое ружье? Что я с ним делать стану? Его у меня на первой же заставе отберут.

— Здесь вы и спите? — спросила Ксана. Она стояла посреди кабинета и оглядывалась. — Вам здесь не страшно, Костя?

— В первую ночь было страшно. А теперь привык вроде.

— Нет, вы не привыкнете. Я в нашем доме родилась, а все равно не могу привыкнуть. Ведь мы живем в домах, которые сделали наши родители. И все, что есть там, куплено, собрано ими. Вот мой отец собирает картины, ваш дядя собирал ружья. А зачем мне эти хмурые картины? А вам, зачем вам этот арсенал? Вы, наверное, ни разу и на охоте не были.

— Нет, я бывал. С отцом.

— Все равно вы не охотник, Костя. А теперь вот будете охотником. Эти ружья вас заставят. Понимаете? Мы живем не так, как хотим, а как устанавливается другими. Нам говорят: «так надо», — и мы подчиняемся, Мы не думаем, мы подчиняемся. Это очень неправильно, понимаете? Это несправедливо.

— Да,— сказал Костя,— я понимаю. Несправедливо.

— А что ты предлагаешь, сестра? — спросил Григорий. — Каждому из нас начинать с нуля? Ты не современна. Да это и не твои мысли. Это тебе твой беглый поэт напел. Все та же древняя песенка про счастье в шалаше. Ну, в его варианте это не шалаш, а кибитка или там юрта.

— Ты ничего не понял,— сказала Ксана. — Ты умный, но ты и глупый, Гриша. — Она осторожно, пугливо дотронулась носком туфли до оскаленной волчьей пасти. — Зачем Косте этот волк, ну, скажи, зачем он ему?

— Выбросит. Продаст.

— Не решится. Сразу не решится, а потом и поздно. А этот колокольчик, зачем он вам, Костя?

— Он мне не нужен.

— У отца тоже есть такой колокольчик. Зазвонит, и я бегу к нему. А раньше мама бежала. «Что тебе? Что подать?» — Ксана взяла со стола колокольчик, и он тотчас ожил в ее дрогнувшей руке.

— Иду, иду! — послышался с лестницы голос Лизы. — Уж и не терпится!

— Вот! — Ксана зажала звон в ладонях. — Вот, Костя, привыкнете и станете звонить, вызывать.

— Тут все можно переоборудовать,— сказал Григорий. — Чепуху несешь, сестра. Это у тебя от плохого настроения. Колокольчика испугалась. Волчья шкура не веселит! Поженитесь, все тут поменяете. Готов за небольшое вознаграждение быть вашим консультантом.

— Вот видите, Костя, он уже нас поженит. Да не он. Это дом Уразовых решил породниться с домом Лебедева. Наше согласие, оказывается, даже и не обязательно.

— А Костя согласен,— сказал Григорий. — Верно, Костя?

Вошла с подносом в руках Лиза, и Костя кинулся ей помогать. Он принял у нее поднос, на котором одиноко стояла бутылка невиннейшего кагора и множество было всяческих тарелочек и вазочек со сладостями.

— И это все? — вознегодовал Григорий. — Тетя Лиза, да вы никак нас за детей принимаете.

— Дети и есть.

— Мы студенты, мы уже сами можем детей делать.

— Господи помилуй,— смутилась тетя Лиза. — Какой у тебя, Григорий, язык распухший! Смотри, скажу отцу!

— А я весь в него.

— Где тебе! Зелен еще! — Тетя Лиза вдруг усмехнулась, остро глянув на парня. — Тебе еще грешить да грешить, чтобы с батюшкой сравняться. Нет, не проси, ничего другого не принесу. — Она ушла, одарив и Ксану и Костю острым своим, приглядывающимся взглядом. — Господи боже, помилуй нас...

— Что ж, кагор так кагор,— смирился Григорий. — В докторском кабинете можно и с докторского винца начать. Ну, а потом... — Он быстро управился с пробкой, торопливо, словно истомила его жажда, разлил вино по рюмкам. — Поехали! Так как, Костя, ты согласен?

Костя молчал. Отшутиться бы, но не шли на ум удачные слова. И Ксана молчала. Ей ничего не стоило свести все на шутку, но она помалкивала.

— Что же мы не пьем? — сказал Костя и первый осушил свою рюмку. Кагор был теплый, противный, у него был вкус подслащенного сургуча. Но этот сладкий сургуч все-таки поприбавил Косте смелости. — Я согласен,— сказал он и, чтобы понятно было, что он шутит, что это он только шутит, Костя добавил: — Где наша не пропадала!

— Ну, тогда и я согласна,— сказала Ксана и то-

же выпила.—Верно, где наша не пропадала! Фу, какая гадость!

— Тогда вам еще по одной,— сказал Григорий, торопливо наливая сестре и Косте.— За вашу помялку! Быть посему! Поехали!

— Быть посему!— повторил Костя и выпил. И с надеждой посмотрел на Ксану.

— Быть посему!— Она тоже выпила.— Фу, какая гадость!

— А теперь,— не унимался Григорий,— самое время вам выпить на «ты»! Возражений нет?— Он снова всем налил, потом взял сестру за руку и подвел к Косте.— Заведите руку за руку. Так. Смотреть в глаза. Выпили! И...

Костя придвинулся к Ксане совсем близко. Глаза у нее были закрыты. Она не отстранилась от него, только закрыла глаза. Кагор влажно и горячо растекался по ее губам.

— И!..— напирал Григорий.

Костя коснулся губами ее губ. Она не отпрянула, не оттолкнула его, чего он ждал. Ее губы покорно поддались, разнялись, скользкие и горячие. Костя услышал, как застучало в нем сердце, как заколотилось, заметалось.

Ксана отвела голову.

— Все?

— Теперь скажите друг другу «ты»!— приказал Григорий.

— Ты не умеешь целоваться,— сказала Ксана. Она смотрела на него и улыбалась своим красным, влажным ртом.— И от тебя пахнет кагором.

«А я люблю тебя»,— хотел сказать ей Костя, но сердце так стучало, что он оглох от этого стука. Он испугался, что не услышит собственных слов.

— Ты!..— сказал он и умолк.

— Готов!— насмешливо изрек Григорий.— Вот что, помолвленные, сбегаете-ка вы к старухам за шампанским. Я мигом!— Он кинулся к двери, прогромычал, нарочно шумя, по лестнице и принялся кричать что-то там, внизу, оповещая Анну Николаевну. Благая весть!

Оказывается, Григорий не шутил с этой помолвкой. И Ксана молчала, не остановила его, не запротестовала. Но ведь и ты сам, ты тоже не шутил...

— Ксана, ты это серьезно?— спросил Костя, как к чужому прислушиваясь к своему оробевшему голосу.

Она оглянулась, незнакомо посмотрела на него, сведя брови.

— Мама будет рада,— сказала она.

— А как же Туменбай?— спросил Костя, кляня себя, что спрашивает.

— Никакого Туменбая нет, его нет.— Ксана присела на диван, понурилась, зажав руки между коленями.— Ты не беспокойся, он уехал. Он, знаешь ли, убежал в свои горы. Гордый! А я тоже гордая...

На лестнице рос шум, скрипела лестница под тяжестью Анны Николаевны, которая сама сейчас поднималась сюда, чтобы поздравить Ксану и Костю. Благая весть, благая весть!

— Ну вот и все,— сказала Ксана и распрямилась.

матери. А она хотела благословить дочь. Ее страшил роман дочери с этим Туменбаем, с этим не от мира сего поэтом, гордым, вспыльчивым, непонятным. Что бы ждало дочь, выйди она за него? Чужая среда, чужие обычаи. Девочка не придавала всему этому значения, она еще была глупенькой, несмышленишем, хоть уже вот и стала невестой. Надо было подумать за нее, уберечь ее. Мать хотела умереть, зная, что дочь ее защищена от опрометчивого, пагубного шага в жизни. Спешил и Лукьян Александрович. Во-первых, по той же причине, что и жена,— мог ведь и Туменбай вернуться,— а, во-вторых, могла и дочь передумать. А Лукьян Александрович очень хотел, чтобы этот брак дочери с Костей состоялся. Для ее же блага. И парень был славный, не испорченный, и ясно было совершенно, что влюблен в нее по уши. Но и не только это. Выдать дочь за единственного наследника Анны Николаевны Лебедевой— это само по себе было делом очень заманчивым. План этого брака, этого союза Уразовых и Лебедевых в голове Лукьяна Александровича и зародился. А Анна Николаевна ухватила за этот план, как за спасение. Она тоже спешила.

Как еще взглянут на все родители Кости? Так ли легко будет им расстаться с сыном? Ведь ему теперь здесь жить, здесь у него теперь будет своя семья, свой дом. Надо было спешить. Потом, потом во всем можно будет разобраться, все обговорить, уладить. Потом! Пока же нельзя было терять ни минуты.

И Костя спешил. Ему всеобщая вокруг торопливость не казалась чрезмерной. Он был вместе со всеми, кто подгонял судьбу, и это было понятно, он ее подгонял, свою судьбу, потому что он любил. И когда утром на следующий же день повез их сам Уразов-старший в загс, чтобы они оставили там свои заявления, Костя был несказанно рад этому. Его только удивило, что все так буднично было в этом большом с колоннами доме, который здесь, как и в Москве, назывался дворцом. Они заполнили с Ксаной какие-то анкеты, и вот и все. Их пока еще не поздравляли, они пока еще не стали мужем и женой, впереди еще был целый месяц до назначенного дня, когда они станут мужем и женой. Целый месяц.

А как прожить его?

Лукьяну Александровичу тоже показалось, что месяц— это очень долгий срок.

— Нельзя ли побыстрее?— спросил он регистраторшу, молодую женщину с равнодушным, отсутствующим лицом.

— Таков порядок.

— А если есть некоторые обстоятельства, требующие сократить этот испытательный срок?

— Тогда договаривайтесь с начальством,— сказала регистраторша. Ей было все равно, она привыкла, что все здесь торопится побыстрее пройти эту нейтральную зону, этот месяц раздумий, сомнений, ожидания. Она привыкла и к тому, что иные не выдерживают этого срока и не являются по истечении его. Она привыкла на своей работе лицезреть счастье на заре и в зените, и, пожалуй, ее перекормили этим зрелищем, как работницу на кондитерской фабрике перекармливают шоколадом.

— Хорошо, я договорюсь,— уверенно пообещал Лукьян Александрович.— Какой у вас есть самый ближайший день?

— Самый ближайший?— Регистраторша полистала толстую книгу счастья.— Через десять дней, раньше все занято. Но только учтите, начальница не согласится.

— Согласится,— сказал Лукьян Александрович.—

17

Дети сказали свое быстролетное «да!», и на арену выступили взрослые, люди обстоятельные и серьезные. Надо было спешить, взрослые заторопились, их опыт подсказывал им, что нельзя терять ни минуты. Да и обстоятельства действительно были таковы, что надо было торопиться. Короток был срок жизни, остававшийся у Ксаниной

Не кто-нибудь в брак вступает. Уразовы да Лебедь. Слыхали такие фамилии?

Регистраторша привыкла на своей работе и к бахвальству.

— Да, я забыла спросить, какую невеста берет фамилию? Свою оставляет или мужа?

Лукьян Александрович задумался, оглянулся на дочь.

— Мужа,— сказала Ксана.

— Что ж, ты права,— согласился Лукьян Александрович, но и немного опечалился. Уж очень скор был ответ дочери. Она будто пробудилась, будто встрепенулась, выбрав себе на всю свою дальнейшую жизнь фамилию. И слишком явна была ее готовность отрешиться от фамилии отца.

Регистраторша внимательно посмотрела на Ксану, потом посмотрела на Костю и многое поняла: ведь всякая работа вырабатывает свою профессиональную зоркость. Ее узкие, здешнего прищуря глаза насторожились.

— А зачем вы так торопитесь? — спросила она у Лукьяна Александровича. — Вот уж бы не советовала...

— Это из-за меня,— сказал Костя. — Мне надо срочно ехать в Москву, чтобы перевестись в здешний университет.

— А-а-а,— пропела регистраторша, и веря и не веря.

Но это «а-а-а» пропелось и в самом Косте. Он вдруг уразумел, что ему придется так и поступить, что ему теперь жить здесь. Да, он только сейчас это понял. Не было времени подумать, хоть как-то осмыслить все. Он даже не успел еще домой написать. Письмо от матери пришло всего час назад. Письмо, в котором она была так бестревожна и лишь советовала сыну, чтобы он поосторожнее общался с машиной. Что там машина! Он вот женился, он вот в загсе! Он вот остаться надумал в этом городе! Кругом голова пошла у него от этих мыслей. Подумать бы, побыть бы одному, повременить бы, спросить совета у отца с матерью. Нет, думай не думай, а он уже был в плену обстоятельств. Он не знал по молодости лет, как ухватист этот плен, он только чувствовал, что назад дороги ему нету, да он и не собирался поворачивать назад. Напротив, его бы воля, он бы прибавил скорости.

Вот кто спешил, так это он. Но только его поспешность была свята.

За порогом Дворца Счастья светило солнце, слепило солнце. И за этим порогом вихрь подхватил Костю. Он все делал сам дальше, но, казалось, кто-то схватил его за руку и бегом, бегом увлек за собой. Было мелькание лиц вокруг, мелькание улиц, домов, в небе то вспыхивало солнце, то загорались звезды. Было шумно, было весело, было и страшно. Это был страх особенный, такой, что всегда где-то рядом бежит со счастьем, прячется в его тени.

Это был страх-сомнение, страх-предчувствие, страх-совесть.

Ксана была равна с Костей, добра с ним. Только она все задумывалась и часто, странно часто вдруг оглядывалась. Они шли куда-нибудь, ехали куда-нибудь, и вдруг она умолкала, замирала и принималась оглядываться, словно кто окликнул ее или кто-то ей померещился. Никто не окликал, никого не было.

Куда только не затаскивала Костю в эти дни Ксана! Весь город они обходили и объезжали. Она ему показывала город. Они побывали во всех рестора-

нах, чуть ли не во всех шашлычных. Вот когда пригодились Косте деньги, береженные им на обратный билет. Правда, они быстро истаяли, и вместе с ними истаяла последняя надежда на возвращение домой. Да Костя ведь и не рвался теперь домой.

Множество раз на дню, кружа по городу, возвращались они на университетскую площадь, к молотому скверу, за которым так отчетливо видны были горы, к колоннам университета, издали казавшимся мраморными, древними. Они вступали в тень этих колонн, и Костя вспоминал, как увидел здесь Ксану, в широком платье, похожем на туннику, в сандалиях с высокой шнуровкой — она была тогда девушкой из древнего Рима. Костя вспоминал, как шел тогда через этот сквер, не страшась солнца, парень в белой рубашке, как вольно он шел. Он был сыном этой земли.

Бывать на университетской площади было мукой для Кости, но Ксана так прокладывала их маршруты, что нельзя было эту площадь миновать. К счастью, она не задерживалась тут долго.

Благословенный город... Костя все смелее ездил по нему на машине, и никто не спрашивал у него прав, которых у него не было и быть не могло.

Машина — вот что помогало Косте в эти дни. За рулем он забывался, успокаивался, обретал веру в себя. Если бы можно было, он бы с утра до вечера не вылезал из машины.

Пришло письмо от матери. Теперь это было тревожное письмо, и все оно было о том, чтобы он не спешил, не спешил, чтобы дождался отца, которому вот-вот удастся по пути из Гасан-Кули завернуть к сыну. Но это было и доброе, прощающее, как только мать умеет прощать, письмо, в котором сыну желалось счастье. Мать спрашивала: «Ты счастлив? Сынок, ты счастлив?» Это было важнее всего для нее. Это было всего важнее для нее. О себе она не думала, она думала о его счастье.

А был ли он счастлив, наш Костя?

Да, конечно, он был безмерно счастлив. Но было ему и страшно. Страх не покидал его, бежал в его тени — страх-сомнение, страх-предчувствие, страх-совесть.

18

Они все время были вдвоем, им старались не помешать, не нарушить их уединения. Даже Григорий оказался деликатнейшим человеком. Так полагалось, ведь они были помолвлены, более того, они сдали заявления в загс, более того, уже близок был день, когда их должны были расписать, и им просто необходимо было получше узнать друг друга. Да им никто больше и не нужен был во всем мире, — только он ей и только она ему и были нужны во всем мире. Так полагалось, так считалось.

Они сидели у Кости в этот вечер. День промелькнул, как и все эти дни, знойный, спящий, оглушительный, суматошный. Радостный и безрадостный, потому что Ксана сегодня все оглядывалась, будто ждала, что кто-то выйдет из дверей, отделится от дерева, окликнет ее. Всякий раз, оглянувшись, она взглядывала на Костю, не заметил ли он ее движения. Он старался сделать вид, что не заметил. Но это было неправдой, он замечал, и он вздрагивал, когда она оглядывалась, и делался несчастным.

57

Весь день нынче он ездил с Ксаной по городу и покупал ей подарки. Так полагалось. Анна Николаевна даже список ему составила, что следует подарить. Вот когда пригодился дядин бумажник. Колкие сотни из него легко выпархивали и исчезали в ящичках касс. Было радостно дарить Ксане, было радостно выбирать с ней какие-то уже и такие вещи, которые должны были понадобиться им обоим в их скорой, в их теперь уже скорой совместной жизни. То была игра, где он был сказочным принцем. Ей стоило только сказать, только руку протянуть, как он уже шел к кассе и платил, и новый сверток укладывался на заднее сиденье машины. Костя купил Ксане кольцо. Не обручальное. Те кольца уже были куплены Лукьяном Александровичем и ждали своего часа. Костя купил Ксане кольцо с большим голубым камнем, чуть, лишь отдаленно, лишь бледно перекликавшимся с синевой ее глаз. Кольцо понравилось ей, и он купил. Надевая кольцо, Ксана глянула на Костю быстро, коротко, незнакомо, из глубины.

— Какой ты измученный, — сказала она. — Поедем домой. Ты устал.

Это была самая счастливая минута за все дни. Она заметила, что он устал, и в голосе ее прозвучала доброта к нему, участие. Правда, ведь правда же, ему было нелегко. И всю дорогу домой — они ехали к нему — она ни разу не оглянулась, ни разу за всю дорогу.

И вот они сидели вдвоем в дядином кабинете, который теперь стал его комнатой, их комнатой.

Вечер, как всегда, здесь сразу стал ночью. Солнце недолго висело над кромкой гор. Кто-то обрешал веревочку, на которой оно повисло, и солнце упало за горы. Темно стало, как ночью, хотя еще время было не позднее.

— Ты посидишь еще? — спросил Костя.

— Посижу.

А ведь они еще ни разу не поцеловались, если не считать их первого «ты», хотя и были помолвлены, да что там, уже почти были мужем и женой во мнении своих родных, которые все делали, всячески способствовали тому, чтобы они все время оставались вдвоем. А они еще ни разу не поцеловались.

— Ты знаешь, — сказал Костя, — я начинаю привыкать к этому кабинету. К ружьям этим, даже к волку. Пожалуй, придется мне стать охотником. — Костя поднялся и снял со стены тот самый короткоствольный американский карабин с магазином, который так приглянулся Григорию. — Возьму вот и убью тигра. Водятся тигры в ваших горах?

— Водятся. Далеко где-то, за перевалами. Нет, ты тигра не убьешь, Костя.

— Ты думаешь, я робкий?

— Ты?..

Костя стоял перед ней, прижимаясь щекой к стальной, обжигающей прохладе карабина, как это делал Григорий. Костя держал карабин стволом вверх. Он помнил, что этот карабин заряжен, что он смертельно опасен.

— Нет, ты не робкий, ты — добрый... Костя, иди ко мне...

Он качнулся и шагнул к ней. Вспомнил, что у него в руках карабин, и отбросил его, отшвырнул, как железную палку, презрев, что тот заряжен.

— Ксана! — сказал Костя, задохнувшись. — Хочешь, я убью себя? Чтобы не мешать, чтобы...

— Иди же... Только я не девушка... Тебе все равно?..

Солнце, упав за горы, так же и выскочило из-за них, будто кто-то связал за ночь веревочку и дернул солнце вверх, как воздушный шарик.

Была ли ночь? Они позабыли занавесить окно и сразу ослепли от солнца. Ксана поднялась, пошла к окну. Костя смотрел, как она шла. Она не стеснялась его, своей наготы. А он слеп от этой наготы, от этого солнца на ее теле. У нее была родинка на левой ноге, под самым сгибом. Оказывается, эта родинка была лишь началом цепочки, вступлением в тайну. Следующая родинка избегала на бедро, — а он не знал об этом, не увидел ночью. И дальше, дальше бежали родинки, поднимались по крутому изгибу и тонкой талии, прикасались к спине, к ключице. А он не знал об этом, он только сейчас узнал об этом, ослепленный юным, прекрасным телом женщины, которая была его женой. Но он не знал и того, что женщины, все женщины стыдятся, когда любят, пытаются прятать свою наготу, если любят, и им не стыдно ничего, если ты им безразличен. Им безразлично тогда.

Ксана подошла к окну и встала в его квадрате так вольно, так бесстыдно, хоть весь город смотри. Ей было безразлично. Она долго стояла у окна, смотрела на горы, вскинув руки к затылку. Не обернувшись, она сказала:

— Костя, поехали в горы. Хочу туда. Прямо сейчас. Ладно?

Он смотрел на эту нагую прекрасную женщину, не веря, что это жена его.

— Вдруг встретим там тигра, — сказала она, и он догадался, что она улыбнулась. Но плечи у нее вздрогнули, ей стало холодно. — Ты возьми с собой карабин. Ладно?

Она вернулась к нему, наклонилась к нему. Родинка, одна-единственная, добралась и до ее груди. Ее можно было поцеловать...

Они ехали по еще безлюдным улицам. Солнце катилось впереди них и указывало им дорогу, оно катилось над горами, нет-нет да и касаясь иной из снежных вершин.

Вчера бы Костя подумать не посмел, что может поехать в горы. Он еще слишком робко водил машину для этого. Но вот он ехал, и ему было не страшно. Он уверовал в себя, и уверовала в него машина. Им обоим было не страшно.

Еще длился город, и Костя вел машину с такой скоростью, с которой вчера бы ехать не решился. Но теперь вот он ехал, справлялся, и скорость только веселила его. Он мог бы и побыстрее поехать, если бы не светофоры. Все же он помнил, хоть улицы были пусты, что возле красных светофоров следует останавливаться.

Ксана посматривала на него и улыбалась. Ей нравилось, как он вел нынче машину, ей нравилась эта скорость.

— А вдруг в горах мы встретим не тигра, а Туменбая! — весело сказала она. — Вот будет забавно! Здравствуй, Тумен, скажу я ему. Где пропадаешь, как поживаешь? А это вот Костя. Ты знаком с ним? А ты познакомишься с ним еще разок. Теперь это мой муж. Ты удивлен? Почему ты не поздравляешь его? А меня почему ты не поздравляешь? Нехорошо так, Тумен. Тумен... Туман...

Она щебетала, ей было весело, очень весело.

Ее увлекла такая возможность: а вдруг в горах они и вправду встретят Туменбая.

— Знаешь, — сказала она, воспрянув. — Если мы его действительно встретим, то обязательно пригласим на нашу свадьбу. Ты не против?

— Нет, — сказал Костя и вдруг испугался скорости, с какой вел машину.

И тотчас раздался милицкий свисток. Костя затормозил. Машина тоже стухнула, ее даже чуть занесло, хотя асфальт был сух и шершав.

Устрашающе усатый и по-кавалерийски кривоногий орудовец манил Костю к себе пальцем.

Костя подошел к орудовцу, дивясь тому, как твердо этот человек стоит на земле. У Кости ноги подрагивали, земля под ними была неверна.

— Нарушаете! — сказал орудовец. — Права! — сказал орудовец и протянул к Косте громадную, как на плакате, руку.

Но у Кости никаких прав не было. В иное время он в этом бы признался. Он и сейчас бы признался, если бы не оглянулся. Ксана вскинула ладонь, приказывая ему быть находчивым.

— Права? — Костя очень натурально похлопал по карманам брюк. — Ах, черт, забыл права в пиджаке.

— А где пиджак? — У орудовца хищно вздернулись усы. — Дома пиджак, да? — Его нельзя было провести, этого стража порядка. — А чья машина, знаешь?

— Знаю, — сказал Костя. — Профессора Лебедева машина.

— Ага, признался.

— Так ведь и я тоже Лебедев.

— Ты? Лебедев? — Орудовец вонзил в Костю свой орудовский взор. — А-а-а!.. Да-да-да!

Пожо! Брови! Нос! По-хож! Родственник?

— Племянник.

— Да, я верю, ты племянник, — сказал орудовец, безмерно огорчившись. — Ах, как нехорошо! Племянник! Василия Павловича... Не могу я тебя задер-

жать. Беда! Не могу! Он мне ногу спас, твой дядя. Мениск! — Орудовец, негодуя на себя, изо всех сил стукнул кулаком по колену. — Ну, уезжай с глаз моих! Не могу...

Костя медленно пошел к машине, медленно за-



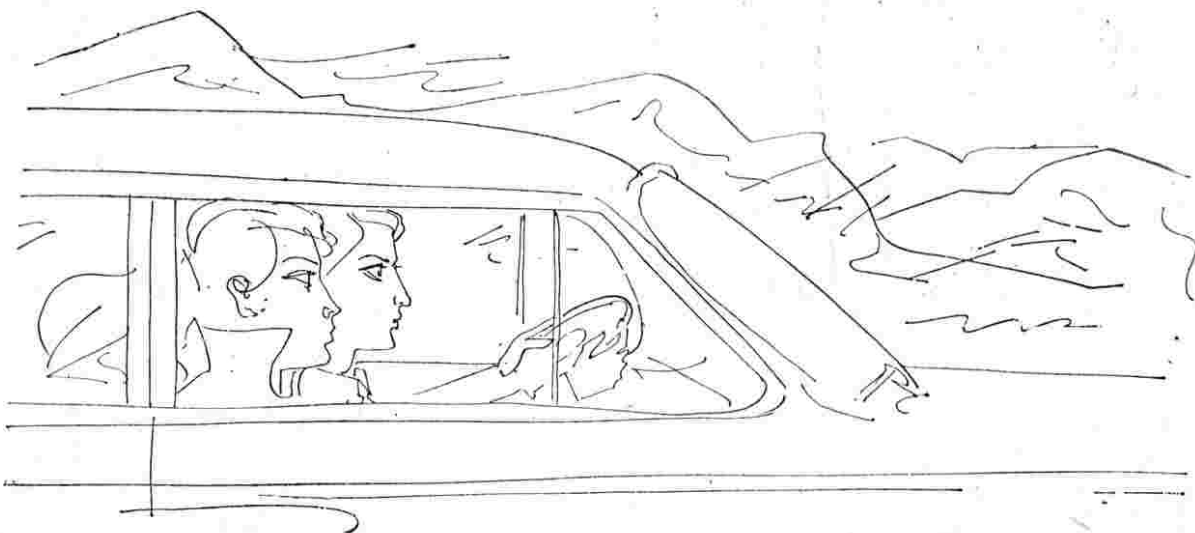
нял место за рулем, медленно пустил машину вперед.

— Молодец! — сказала Ксана. — Отговорился! Молодец!

— Мой дядя ему ногу спас, — сказал Костя. — Это только и помогло.

— Какой он смешной! — рассмеялась Ксана. —

лей. Да скалы справа, слившиеся в черную стену. А впереди было небо. А слева было небо. Пропасть и небо. И где-то высоко и уже в самом небе снежные стояли вершины. Кружилась голова от этой снежной белизны и синевы вокруг. И весело было у него на душе и печально. И смело. Как там, у пропасти, когда погладил он белого слона. Не побоял-



И зачем человеку такие кривые ноги? А он вот их любит, он в них влюблен. Костя, ну что ты плетешься?

Они миновали орудовца. Тот отвернулся, чтобы больше не видеть этой машины, которую должен был задержать, обязан был задержать, но не сделал этого, потому что в машине ехал племянник человека, спасшего его от хромоты.

Дорога заметно начала подниматься, но еще была пряма. Костя помнил эту дорогу. Он хорошо ее запомнил. И вдруг и ему тоже захотелось в горы, туда, где орел жил на скале. Туда, где паслись слоны у края пропасти. Туда, где был он смелым. Миг один, но смелым. Он прибавил скорость. Ехать было легко. Дорога начала раскручивать свои пока еще некрутые петли.

— Не плетись, не плетись, муженек, — сказала Ксана. — Ах, какое у него будет лицо, если мы его встретим! — Ей было весело, она улыбалась. Но вдруг притихла.

И вдруг послышался ей тонко натянувшийся голос, будто кто-то вдали, там, в горах, затянул протяжную, без слов песню, из тех, что поют в горах. Голос был тонок и даже слаб, но не прерывался, тянул. Он был странным, этот голос, он пугал почему-то. И горы, всюду были горы. Небо и горы. «Куда я? — замерев, подумала Ксана. — Зачем?» Она вскинулась было, чтобы велеть Косте остановиться, чтобы велеть повернуть назад. Но нет, горы и небо заворачивали ее, слова не вымолвились. Поздно было поворачивать назад.

Все вверх и вверх шла дорога, все вверх и вверх. Косте казалось, что машина летит. Всюду было небо, и только узенькая полоска под колесами была зем-

ся, протянул руку, шагнул на самый край. Не побоялся.

На первом же крутом витке машина заехала передними колесами за край дороги, за край пропасти и начала падать.

На кладбище в том среднеазиатском городе, где все это произошло, стоит надгробие-памятник. Большая, необработанная глыба гранита и два юных лица в профиль на этой глыбе. И все. И никакой нет надписи. Да и профили сами едва только намечены резцом, едва обозначены. Считается, что это надгробие не завершено. Рассказывают, что скульптор, который делал его, сошел с ума и умер, не довершив работы. А мне показалось, что он успел ее довершить. Что еще он мог сделать?

Виктор Коротяев



★

Не преступлю дозволенных пределов,
Сказав, что в биографию полка
Вошел пропагандист политотдела,
Как в поздний лес
Рассветная река.
Пропагандист не нажил капитала,
Но у него в активе на века
Заслуженное звание капитана
И слава полкового остряка.
О шуточки бывалого рубаки,
От коих привстают, глаза кругля,
И серого каракуля папахи,
И генеральской шерсти кителя!
Его не до конца считали ясным,
Шептали,

наступали на носки...
А он был весь —
до ноготочка —
красным,

И только были белыми

Виски...

Чтоб не растратить мне впустую силы,
Чтоб горечь не таскалась по пятам,
Уменьем до конца служить России
Ты поделись со мною,
Капитан.

★

Прошла моя пора довольства и веселья,
Чуждачеств и безумств минула полоса.
Давно мои леса горят огнем осенним,
И холодом болотным веют небеса.
В реке моей заметно воды потемнели,
И камни бородою бурой обросли,
Как ребра сквозь рубаху,
Выступили мели,
И выросли коряги, как из-под земли.
Зачем опять, томясь какой-то странной
жаждой,

В вечерние луга мои уходишь ты,
Неужто на ветру тоскливом и протяжном
Не грустно собирать померкшие цветы!
Не жалко их потом вpletать неторопливо
В нестройный и тугой девический венок,

А поиграв, шутя забыть его под ивой,
Чтоб утром изжевал какой-нибудь телок.
Не надо, не ходи под горькие березы,
Не надо, не стучи в погасшее окно.
Ты вечные мои несохнувшие слезы
За звезды вдохновенья примешь все равно.

★

Можно все еще вернуть,
Можно все еще уладить.
Только ласково взглянуть,
По головушке погладить.

Но в глазах,
В словах литых
Нет ни боли, ни печали:
Мы для нежностей таких
Слишком грамотными стали.

Вдруг да броситься на грудь...
И чего, скажите ради!
Вдруг да ласково взглянуть,
По головушке погладить...

Март

Посветлели поля за рекой,
Снова солнышком дали облиты.
Нет, пока до тепла далеко,
Но морозы уже пережиты.

Полоса снегопадов и бурь
Миновала, и даль засинелась.
Нет, пока не сплошная лазурь,
Но зато не сплошная и серость.

Март порядки диктует свои
И свои утверждает законы.
Пусть пока не одни соловьи,
Но зато не одни и вороны!

Конь

Не на день—навек приручали,
И память почти умерла.
Лишь вечной полынью печали
Под сердцем свобода жила.
Как титул высокий даруя,
Однажды
По скулам крутым
Прошла золоченая сбруя
И—словно родился таким.
При свете неверном и зыбком
Для всяких глупцов и кутил
Сойдет и сейчас за улыбку
Оскал от железных удил.
Уныло сменяются числа,
Душа ни к чему не лежит.
На поводе здравого смысла
Он с клячами вместе кружит.
Но только подснежник пробьется,
Засветится даль впереди—
Горячая кровь иноходца
Поет, задыхаясь, в груди.
И мышцы, под кожей грозно
Катаясь, играют тогда,
Трепещут тяжелые ноздри,
И сами трещат поводья!

Сергей Дрофенко



Надпись на книге

Книга. Первое звено.
Сколько их до смерти будет!
Слишком старое вино.
Никаких страстей не будит.
На обложке берег. Склон.
Даль. Река под небом вьется.
То ли тополь, то ли клен
в майской лихорадке бьется.
Впрочем, может быть, лоза.
Есть еще в придачу фото.
Смотрит смело мне в глаза
на меня похожий кто-то.
Отлетевшие года.
Жизнь. Находки и ошибки.
Ожидание суда.
Самосуд и стук машинки.
Нерушимая стезя.
Добровольные вериги.
Оттого-то и нельзя
сторониться первой книги.

Замоскворечье

Старые улицы Замоскворечья.
Особняки.
Арки, ворота, жилье человеке,
близость реки.
Вот я брожу по твоим переулкам.
Лязгнул засов.
Тянет меня к музыкальным шкатулкам,
бою часов.
Пусть прокричит перед боем кукушка,
скроется прочь.
Рядом помолится богу старушка.
Спустится ночь.
Есть еще камни, калитки, заборы.
Держитесь вы,
скверы, скворечни, подвалы, соборы,
иной Москвы.

Новый Иерусалим

Время к ночи. Солнце село.
В печке тяги больше нет.
И в подушке пахнет сеном
вечерами прошлых лет.
Но опять неутолимо

мы глотаем над рекой
воздух Иерусалима,
легкомысленный такой.
Снова здесь тебе не спится.
Омрачаясь и шутя,
запеваешь ты, как птица,
безглазое дитя.
Рыба, дремлющая в Истре,
вся — литое серебро,
прямо в сердце бьет, как выстрел,
как поэма — под ребро...
Но не выверились сроки,
и не обращает май
в независимые строки
лунный свет и песий лай.



Что может быть трудней
стихов о Пастернаке,
ушедшем в мир корней,
в соцветия и злаки!
Летающий и земной,
среди стволов горячих
он говорил со мной
на подмосковной даче.
Прохлада от реки
едва смягчила лето.
[Размер моей строки —
дань памяти поэта.]
Укронная скамья.
Лиловый очерк бора.
Что мог услышать я
во время разговора!
Не речи существо
под сенью полумрака —
я помню лишь его,
Бориса Пастернака.
Кричали поезда
на магистральной глади.
Он дал мне навсегда
две тонкие тетради.
Не знаю, что ему
за гранью жизни снится.
Быть может, свет в доме,
последняя страница.
Быть может, летний день,
костры на огороде
и мокрая сирень
на крашеном комод.



Полуночищает возраст.
Засиделся у тоски.
Не влетит случайный возглас,
речь трамвая, крик такси.
Есть в возможностях свободы
неотъемлемая честь —
перелистанные годы
от начала перечесть.
Сердцу видится ребенок
в ореоле малых лет.
По ночам о погребенных
у него раздумий нет.
Государство, государствуй!
Я солдат в твоём бою.
Благодарствуй, благодарствуй
за бессонницу мою.
Где ты, мальчик черноглазый,
образ пройденного дня!
Отзовись единой фразой,
непохожий на меня.
Мы сравним с тобою судьбы,

поглядим, что впереди.
Пусть меня карают судьи,
сердце рвется из груди.
Где твой дальний свет маячит!
Где найду твоё тепло!
Майский дождь по-детски плачет,
слезы брызжут на стекло...



Медлительны и нелюдими,
по взбудораженной реке,
сшибаясь, проплывают льдины
и исчезают вдалеке.
Мир тонет в гомоне и гаме,
и видно в полдень голубой,
что не река под берегами,
а берега плывут с тобой.
Припомнились былые годы,
и всплыли, как обрывки сна,
апрель, раскаты ледохода,
иная, южная весна,
края ребяческой отрады,
неискушенной жизни час,
благословенные утраты,
лишь в детстве ранящие нас.
Чего не вспомнишь в ясный полдень,
когда уходят холода,
и сам ты новизной наполнен,
как эта быстрая вода.
Стою один. Смеюсь и плачу.
Встречаю облака полет.
И вновь волнения не прячу,
как гибели не прячет лед.



Сегодня мне опять приснишься ты,
и, повторяя тот же сон вчерашний,
твое лицо, взойдя из темноты,
застынет в неподвижности всегдашней.
Движения не будет в этом сне,
не будет в нем конфликта и сюжета.
— Вот эта! — прозвучит вопрос ко мне.
И я опять шепну беззвучно: — Эта!

Память

В дождевых перехлестах
вижу Днепр, вижу дол,
вижу свой перекресток
и родительский дом.

Что, казалось бы, вечно!
Ночь! Речные огни!
Звезды в небе! Скворечня!
А ведь вечны они!

Годы их не голубят,
но вырастает их нить
в сокровенные глубины,
где их можно хранить...

Цветы

Цветы осенние свежи.
Взойдя на стол, как на треножник,
три астры, точно три свечи,
горят в ночах моих тревожных...

Три астры я принес извне.
Они сияют, как вначале.
Их непомерной белизне
я так завидую ночами!

Их жизнь им не принадлежит.
Душа цветов в моей исчезла.
Наверно, так и надо жить —
легко, бесхитростно и щедро...

Поэт

П. Антокольскому

Вот снова он встречает нас,
горяч, стремителен и крикливо —
артист, мудрец, великий князь
лесов, полей и книжных княжеств.
Египта каменная мощь,
и скандинавов древних Эдда,
и даль морей, и трепет рощ
доступны зрению поэта.
Он проникает сердцем в них.
Они живут в нем без раздора.
Его тетрадь — живой дневник
щедрот вселенского простора.
И я хочу прожить свой век,
как прожил он, смеясь и плача
всем жаром строк, всей дрожью вен,
от жизни ничего не пряча.
И так же встретить свой закат,
и так же на лице по праву
нести торжественный загар
времен высоких и кровавых...

Александр Ревич



Совсем я не был зол или жесток,
но был обучен действовать прикладом,
стрелять, швырять гранату, бить в подздох,
и сам я весь прострелен и заплатан.
Я вышел из обстрелов и атак,
и потому, как это и ни грустно,
порой во сне сжимается кулак
и челюсти смыкаются до хруста,
но ранним утром тянется рука,
уже забыв о грубом и жестоком,
чтоб выпустить на волю мотылька,
который бьется меж оконных стекол.



**ВИТАЛИЙ
СЕВАСТЬЯНОВ,**
летчик-космонавт СССР

ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА

*Моим погибшим друзьям
Георгию Добровольскому,
Владиславу Волкову
и Виктору Пацаеву
посвящаю*

Они совершили подвиг.
Подвиг ради науки, прогресса человечества.
Они блестяще выполнили сложный полет...
Испытание нового класса космического корабля
— орбитальной станции «Салют».
Четыре недели в невесомости...
Испытание организма человека
в этих необычных условиях.
Программа полета выполнена полностью.

Они шли к Земле,
возвращались на родную планету,
к коллегам, друзьям, близким...
Полет в космос — всегда полет в неизвестное.
Полет — испытание как космического корабля,
так и человека
в условиях,
которые полностью на Земле имитировать
невозможно.

И, как при каждом испытании, риск неизбежен.
Цена риска
определяется не только сложностью задачи,
но и делом,
ради которого человек идет на этот риск.
Они полностью осознавали огромное значение,
которое придавалось этому первому испытанию
орбитальной станции,
и свою моральную ответственность
не только перед будущим космонавтикой,
но и перед страной,
перед всем человечеством.

Они шли к Земле, они шли к людям...
Не хватило несколько минут...
Остались записи в бортовых журналах,
на магнитной ленте, фотографии, киноплёнки...
Они не смогли рассказать людям
о своих ощущениях
и о своем восприятии мира невесомости,
о приобретенных новых космических связях
и о тоске по земным.

Не успели...
Наверное, это был бы удивительно интересный
рассказ.

Я хочу рассказать
о своем субъективном восприятии космоса,
о том, что переживает человек
в длительном космическом полете.

Может быть,
они во многом поправили бы меня,
но я по-своему хочу рассказать о том,
чего они уже не расскажут...

Планета Земля — родной дом человека и человечества. Человек — совершеннейшее творение земных сил и земных условий. Миллионы лет эволюции прекрасно приспособили человека к жизни на нашей планете. Земля нас породила и накрепко привязала к себе.

По своей физиологической и психологической сути человек развивался как порождение земных связей. И эти связи постоянно укреплялись. Укрепились настолько сильно, что часто мы даже не ощущаем их. Разве мы замечаем, что живем прикованные к поверхности планеты земным притяжением? Разве мы ощущаем это притяжение в стремительном беге, непринужденном прыжке или вихре вальса? Разве мы чувствуем, что находимся на дне воздушного океана и что воздух, которым мы дышим, давит на плечи землянина полутонной тяжестью?

Но часто даже незначительное нарушение некоторых земных связей воспринимается человеком очень тяжело и может иметь трагический исход. И все же жажда познания природы, стремление властвовать над ней толкают человека на нарушение этих связей.

В первой половине XX века люди овладели техникой для передвижения в околоземной атмосфере. Это было первое раскрепощение человека от земной связи притяжения. Человек приобрел новые возможности для передвижения с невиданными ранее скоростями и на большие расстояния. Дальнейшее увеличение скорости передвижения потребовало выхода человека в верхние, разреженные слои атмосферы. Это нарушило земные связи человека в отношении газовой среды, вынудило брать с собой в кабину самолета искусственную атмосферу, аналогичную земной. В герметичной кабине самолета даже в двадцати — тридцати километрах от поверхности Земли человек чувствует себя как дома. Он заменил земную связь.

К середине XX века человек приобрел опыт свободного перемещения вплоть до порога своего дома — планеты Земля. За порогом, где кончается газовая оболочка, начинается космос. И вот во второй половине XX века впервые за всю историю своей эволюции человек вышел в космос.

Это было полное отрицание земного притяжения — встреча с невесомостью. Человек смог заменить, ис-

Эта статья написана автором для десятого тома ежегодника «Наука и человечество» (издательство «Знание»), который выйдет в конце 1971 года. Мы публикуем статью с любезного разрешения редакции ежегодника.

искусственно создать многие земные условия, необходимые для его жизни в космосе: он взял с собой запасы кислорода (искусственную атмосферу), запасы пищи, воды, создал системы, обеспечивающие его жизнедеятельность в совершенно автономных и необычных условиях. Его космический корабль стал маленькой искусственной планетой, и в то же время он остался кусочком Земли. Он был создан на Земле, по образу Земли, с учетом и повторением (заменой) земных связей, всех, кроме одной — притяжения.

Что же происходит там, в космосе, с человеком, потерявшим эту земную связь? Как физиологически и психологически переживает он полное ее отрицание? Как себя чувствует в необычных для земных условиях космического полета? Сможет ли он приспособиться к этому необычному состоянию, выполнять сложные функции по управлению кораблем, проводить научные исследования и эксперименты? Как долго сможет он находиться в космосе, сохраняя высокую работоспособность? Наконец, как скажется длительное пребывание в невесомости при возвращении снова в условия земной тяжести? Как встретит его Земля? Не будут ли длительное полное отрицание земной связи притяжения и затем ее восстановление пагубными для физиологического и психологического состояния человека? Эти вопросы волновали, конечно, не только космических медиков, но и нас, космонавтов. На некоторые из них я постараюсь ответить.

Ощувив невесомость, испытываешь радость. Радость освобождения от земной тяжести. Первое испытание невесомости на борту космического корабля, который только что вышел на орбиту вокруг Земли, сопровождается эмоционально приподнятым состоянием. Оно вызвано окончанием трудностей и переутомления, связанных с выведением корабля на орбиту, созерцанием совершенно необычного вида нашей планеты, поразительно яркой, с гаммой резких красок, тонов и полутонов, и холодного космоса, удивительным ощущением полета над Землей на большой высоте. Но сложные, требующие сосредоточенности обязанности по проверке бортовых систем корабля отвлекают от переживания эмоционального порядка. Приобретаешь спокойствие и настраиваешься на рабочий ритм.

Первый период пребывания в невесомости — это период адаптации. Это физиологическое и психологическое привыкание к условиям космического полета, и прежде всего к самой невесомости.

Физиологическое привыкание к невесомости характеризуется полной разгрузкой всех систем организма: теряется регуляция сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной и прочих систем, обусловленная земными связями, и приобретает новая регуляция этих систем, соответствующая новым условиям, прежде всего условиям невесомости. Кроме того, земная регуляция, возникающая в условиях земной тяжести и необычайно гармоничная для них, на протяжении миллионов лет эволюции человека выработала в его организме рефлекторные механизмы, на которые просто не обращаешь внимания, но которые совершенно необходимы для полноценного существования на Земле. В условиях невесомости эти механизмы продолжают действовать. И так как их целесообразность для организма человека предусматривает наличие земной тяжести, то в космосе они уже не только бесполезны, но даже приносят вред.

Например, на Земле большую часть времени человек занимает вертикальное положение — стоит или сидит. И под воздействием силы тяжести кровь постоянно отливает к нижней части туловища, к нижним конечностям. В процессе эволюции в человеческом

организме сформировался рефлекторный механизм работы мышц ног — сокращение их с большой частотой и малой амплитудой и сжатие сосудистой системы нижних конечностей для создания противогидростатического давления крови и тем самым обеспечения питания сердца. В условиях невесомости этот механизм продолжает действовать. А так как нет тяжести и, следовательно, отлив крови к ногам, то это приводит к «выжиманию» крови из нижних конечностей, вызывает прилив крови к голове (отек лица, тяжесть в голове). Избыток крови в верхней части туловища приводит в действие другой рефлекторный механизм, ликвидирующий избыток жидкости в организме, что, в свою очередь, приводит к уменьшению объема циркулирующей крови за счет ее плазмы (существенное увеличение гемоглобина в крови).

Итак, в период адаптации все системы организма человека начинают функционировать с новой регуляцией, рациональной для невесомости. Частота сердечных сокращений уменьшается, меняется режим работы пищеварительной системы и т. д. И все это чувствуешь и постепенно привыкаешь к субъективному восприятию этих изменений. Например, если в условиях земной тяжести после еды испытываешь, так называемую «приятную тяжесть в желудке», то в условиях невесомости следует привыкнуть к ощущению свободного плаванья как пищи в желудке, так и самого желудка. Нужно заставлять себя заглатывать пищу, свободно плавающую в пищеводе.

В период адаптации к невесомости сталкиваешься с совершенно необычным чувством — полной неработоспособности вестибулярного аппарата, механизм работы которого принципиально предусматривает наличие тяжести. В условиях невесомости первоначально информацию о своем положении в пространстве получаешь лишь от зрительного анализатора. Если закрыть глаза, не сможешь определить положение своего тела относительно корабля. Лишь длительная практика пребывания в невесомости обостряет восприятие — с помощью вестибулярного аппарата — инерционных характеристик движения и, логически их обобщая и обобщая, удается получить достоверную информацию даже при полном исключении зрительного анализатора (в полной темноте). Но в начале полета нарушение нормальной работы вестибулярного аппарата воспринимается как довольно сильное возбуждение и вызывает раздражение. К этому состоянию вестибулярного аппарата, принципиально невозможному в условиях Земли, следует привыкнуть.

Адаптация к невесомости включает и необходимость привыкания к совершенно новому методу перемещения.

В невесомости находишься в состоянии свободного плаванья, затрачивая на перемещение из отсека в отсек минимум энергии — легкий толчок. Сначала все движения нерасчетливы и плохо координированы. Это, несомненно, объясняется ненормальным функционированием вестибулярного аппарата и отсутствием обратной связи, обеспечиваемой им. Но, используя зрительный анализатор и опыт дозирования усилий на перемещение и на остановку, заменяешь ими функции вестибулярного аппарата в управлении движением в этих сложных условиях. И довольно скоро обретаешь навыки перемещения, достигая полного автоматизма движений, без того тщательного контроля всех своих действий по операциям, который первоначально совершенно необходим. Уже примерно на вторые сутки полета в космическом корабле привыкаешь перемещаться внутри корабля так же, как и на Земле, то есть не анализируя своих действий. Ведь на Земле мы не задумываемся о перемеще-



Это мы с дочкой.
 СОЮЗ-9. 10.06.70. Борт космического корабля

Эти фотографии я взял с собой в космос и смотрел на них каждый вечер—я хранил их между страницами дневника.

На девятые сутки полета у нас был выходной день. Мы с Андрияном играли с Землей в шахматы, пылесосили корабль, а потом устроили себе баню и даже пир устроили—выпили по пять глотков сока сверх нормы.

Вечером, открыв, как всегда, дневник, я вдруг захотел подписать эти фотографии. И написал самые первые, самые простые слова. Я писал эти слова для себя, думал, что покажу их, возвратившись на Землю лишь жене и дочке...

А сейчас понял, что эти две подписанные в космосе фотографии,—самая убедительная иллюстрация темы земных связей космонавта.

нии своих ног, когда идем! И если первое время управление перемещением в невесомости осуществляешь с помощью рук и ног, то затем эти функции, так же как и функции фиксации тела в определенном положении, все больше выполняют ноги. Ноги работают как рули. Они регулируют скорость перемещения, выполняют роль тормоза, разворачивают корпус в нужном направлении, прекращают движение и фиксируют надлежащее положение. В руках, как правило, держишь какие-либо приборы или предметы. Причем, если первоначально все передвижения в кабине космического корабля производишь головой вперед, то через некоторое время привыкаешь так же свободно перемещаться и ногами вперед.

Космонавт должен привыкнуть выполнять ответственные операции по управлению кораблем с ми-



10.06.70.
 Это моя семья. Корабль Союз Борт космического

нимумом нервно-психологических энергозатрат, сознавая, что это происходит не на тренировке, а в условиях реального полета. Он должен привыкнуть к необычным условиям полета на большой высоте над Землей, в ограниченном пространстве кабины, войти в ритм выполнения обширной программы полета, научных исследований и экспериментов.

Необходимо обрести психологическое спокойствие в непривычном для тебя режиме труда и отдыха. В космическом полете нет обычных земных суток со сменой дня и ночи; в течение 24 часов космический корабль совершает вокруг Земли шестнадцать витков, и каждый виток — это космические сутки. Смена дня и ночи — различной продолжительности. Могут возникнуть такие условия — полет вдоль терминатора Земли (линии раздела дня и ночи), — когда в течение нескольких суток космический корабль постоянно находится на свету и для космонавта Солнце не заходит. И вот в этих условиях привыкаешь жить по часам, чисто условно.

Итак, первый период космического полета — этап адаптации к необычным условиям, физиологическое и психологическое привыкание к ним — процесс довольно сложный. Он протекает для различных людей с различными трудностями и субъективно воспринимается ими по-разному. Он может длиться от одних до пяти суток, но в общих чертах переносится большинством космонавтов одинаково.

Период адаптации — это потеря земных связей, это привыкание к полному отрицанию некоторых связей либо к замене их. И нужно подчеркнуть, что, хотя эти связи на Земле укреплялись на протяжении всей жизни человека, в условиях космического полета они довольно быстро теряются. Обретаются новые связи, которые необходимы и рациональны для условий космоса и становятся для тебя устойчивыми и привычными. К невесомости привыкаешь.

Увеличение продолжительности космических полетов — это естественный путь развития космонавтики, это непременное условие освоения космоса. Поэтому очень важен вопрос, как долго может человек находиться в космосе, сохраняя высокую работоспособность. Решение этого вопроса было одной из основных задач полетов космических кораблей «Союз-9» и «Союз-11». Опыт этих полетов показал, что в течение длительного времени космонавты могут находиться в условиях невесомости, сохраняя высокую работоспособность, плодотворно и даже творчески работая.

В длительном полете, после периода адаптации, настоящему привыкнув к невесомости, испытываешь удовольствие от пребывания в этом состоянии. Далее следует постоянный процесс укрепления тех новых связей, которые ты приобрел здесь, в космосе. Причем некоторые из этих новых связей совершенно необычны. Их быстро обретаешь, укрепляешь в повседневной практике полета и затем, когда после длительного пребывания в невесомости возвращаешься на Землю, где они уже теряют смысл, то первое время чувствуешь их власть над собой. Они еще продолжают действовать. И этот период, как оказалось, гораздо длительнее и сложнее, чем период адаптации к космосу.

В невесомости обретаешь связи гораздо быстрее, чем освобождаешься затем от них на Земле. Этот период потери космических связей и восстановления привычных земных называют процессом реадaptации человека к земным условиям.

Я расскажу о некоторых физиологических и психологических связях, которые возникают после длительного пребывания в космическом полете и которые еще продолжают некоторое время действовать после возвращения на Землю в период реадaptации.

На Земле притяжение обуславливает и определяет порядок вещей и предметов, окружающих человека. Все они статичны, то есть если их не перемещает сам человек, то они неподвижны. И если положишь на стол книгу или вилку, не будешь беспокоиться: знаешь, что они будут лежать на том месте, где ты их оставил. И если даже случайно предмет упал (столкнули со стола), то знаешь, где его искать — на полу.

В условиях невесомости все предметы «живые». Там не нужно искать подпорку, на которую следует положить предмет, его можно оставить плавающим, но при этом на остаточных скоростях он обязательно «уйдет».

Эти необычные условия вызывают необходимость постоянной фиксации всех предметов, с которыми имеешь дело. В невесомости фиксируешь все: научное оборудование, кинофотоаппаратуру, предметы туалета и т. д. Опыт длительного космического по-

лета вырабатывает устойчивую связь фиксации предметов. И первое время на Земле эта связь продолжает действовать. Так, за столом во время первого обеда на Земле после возвращения из космоса я часто забывал положить вилку или нож на стол, а когда брал что-то еще со стола, старался все это одновременно удержать в руках, закладывая между пальцами.

В процессе земной практики обретаешь земную связь весового образа предмета. Беря в руки какой-либо предмет, подсознательно определяешь его вес и мышцам рук сообщая определенное усилие. Пустой стакан и тот же стакан с водой мы берем с разными усилиями, не задумываясь об их весе. В условиях невесомости все предметы не имеют веса. И в процессе длительной практики привыкаешь брать их, независимо от их массы, с минимальным мышечным усилием. Эта практика создает условия для потери земной связи и предпосылку для обретения устойчивой космической связи — потери весового образа предмета.

Эта связь продолжает устойчивое и длительное время действовать и после возвращения в мир земной тяжести, хотя она уже потеряла смысл и даже вредна. С действием этой связи я столкнулся в первые минуты после посадки космического корабля «Союз-9» на Землю. Привычным для невесомости минимальным мышечным усилием я снял с головы шлемофон — он выпал у меня из рук. Когда я поднял его, с удивлением обнаружил, что он имеет колоссальный вес. И в последующие первые дни пребывания на Земле я часто ронял предметы, когда брал их с меньшими усилиями, чем этого требовал вес предмета.

В условиях невесомости теряется земная связь по регуляции и координированию работы всей мышечной системы для нормального земного перемещения человека. И, вернувшись на Землю, вдруг обнаруживаешь, что ты почти разучился ходить. Все мышцы забыли повседневное и постоянное действие на них условий земного притяжения. И обычная земная тяжесть воспринимается как перегрузка величиной $2-2,5 g^1$, испытываемая на центрифуге.

Так как мышцы в условиях невесомости имели совершенно другую физическую нагрузку, то они отвыкли работать и здесь, на Земле, довольно быстро уставали. Уставали они и потому, что были ослаблены. Их тонус понизился, и масса существенно уменьшилась. И это несмотря на то, что мы регулярно выполняли специальный комплекс физических упражнений в тренировочно-нагрузочном костюме, в том числе упражнения с эспандером и другими приспособлениями. Постепенно к земной тяжести снова привыкаешь, мышцы крепнут, привыкают к увеличению нагрузок, и эффект действия перегрузки с каждым днем уменьшается. Обретаешь типично земную связь человека — постоянное присутствие земного притяжения.

Долго находясь в невесомости, чувствуешь, что все твои внутренние органы плавают. Это приводит к тому, что и мышцы, крепящие эти органы, мало работают, ослабевают. Поэтому сразу после полета испытываешь неприятное ощущение веса собственных внутренних органов, чего раньше никогда не замечал. И постепенно привыкаешь к тому, что сердце у тебя имеет вес и закреплено на мышечной подвеске.

В условиях невесомости привыкаешь спать в свободном плавании. При этом забываешь о давлении тела на ложе, что остро ощущаешь в первое время после возвращения на Землю. Кровать кажется не-

¹ «g» — ускорение силы тяжести.

обыкновенно жесткой, подушка лишней, и даже хочется опустить голову вниз с кровати, чтобы восстановить привычную для тебя космическую связь — прилив крови к голове.

Вообще нужно сказать, что сон в невесомости — это настоящее блаженство. Не нужно укладываться, не требуется под голову мягкая подушка. Просто расслабляешься и довольно быстро засыпаешь. Правда, в начале космического полета часто просыпаешься с чувством беспокойства; как на посторонние предметы, смотришь на свои вытянутые руки, которые плавают у тебя перед лицом. Это объясняется тем, что руки именно в такой позе занимают нейтральное, наиболее расслабленное положение и не дают сигнала обратной связи. Возникает необходимость их фиксации — засовывать руки в спальный мешок. Потом к этому привыкаешь.

Если плохо зафиксироваться в спальном мешке, то во время сна от движения рук или ног под воздействием случайных нервно-мышечных рефлексов можешь вращаться или даже выплыть из спального мешка. Сон продолжаешь, свободно плавая в кабине корабля. Обычно сон в невесомости крепкий, освежающий, с редкими земными сновидениями, и после сна испытываешь бодрость и прилив энергии.

В длительном полете космонавт испытывает постоянное воздействие ряда непривычных и необычных условий, которые порождают некоторые космические связи психологического порядка.

Например, выполняя различные операции по работе с научным оборудованием, с системами корабля, приходится часто перемещаться из одного отсека корабля в другой. При этом сохраняется та координатная система внутри корабля, к которой привыкаешь на Земле в процессе тренировок на тренажерах. Низ корабля — спускаемый аппарат, верх — орбитальный отсек. В условиях невесомости, часто выплывая в спускаемый аппарат головой вниз или выплывая в орбитальный отсек ногами вперед, что невозможно сделать на Земле, приобретаешь новую космическую связь — понятие высоты внутри корабля как глубины.

На Земле в силу постоянного ограничения земным притяжением понятие высоты стало для нас как бы синонимом трудности. Преодоление высоты всегда связано с понятием «работа». Ведь подниматься по лестнице с этажа на этаж труднее, чем просто идти по коридору. В условиях невесомости любой уровень высоты легко достижим. Маленький толчок — и ты подплыл к любым пультам, находящимся в различных уровнях высоты, нырнул — и достал то, что нужно. Так для нас высота стала глубиной. Эта космическая связь продолжала действовать некоторое время и на Земле. Забывая, что ты прикован земным притяжением, вдруг произвольно делаешь движение, чтобы легко оттолкнуться и подплыть к потолку, увидев там что-то. С удивлением обнаруживаешь, что это для тебя уже невозможно. И остро ощущаешь закрепощение, ограничение свободы перемещения.

Ощущение связанности земным притяжением как потерю обретенной в невесомости свободы испытываешь и в иных случаях, например, в разговоре. И это проявляется довольно своеобразно. На Земле мы обычно ведем беседу, занимая чаще всего то же положение, что и собеседник, — обычно вертикальное. Мы стоим или сидим. И наши глаза расположены параллельно глазам собеседника, по которым всегда стараешься определить, понятна ли ему твоя мысль. В условиях невесомости такое горизонтальное соответствие глаз собеседника может быть либо чисто случайным, либо в том случае, когда специально фик-

сируешься в этом положении. Поэтому в практике длительного пребывания в невесомости теряешь эту земную связь и обретаешь новую, обусловленную невесомостью — беседуешь, находясь в любом положении. Но привычка смотреть друг другу в глаза остается.

Так мы с Андряном Николаевым на борту «Союза-9» во время еды очень часто беседовали, находясь по отношению друг к другу «вверх ногами»: обычно я занимал нормальное положение в координатной системе корабля — ногами на полу орбитального отсека, а он располагался ногами на потолке. Ему нравилось такое положение, так как казалось, что при этом уменьшится прилив крови к голове.

И вот в первый момент после возвращения на Землю мы сразу потеряли возможность для проявления этой космической связи. И иногда в беседе искусственно, поворотом головы набол, пытались ее воспроизвести. Конечно, это происходило подсознательно.

На Земле в повседневной жизни мы привыкаем к окружающему нас спектру звуков. Горожане привыкают к шуму города. Те, кто живет в сельской местности, привыкают к голосам природы. Космонавт на борту космического корабля должен привыкнуть к резкому ограничению этого спектра: шум от работы вентилятора, электромоторов, регенерационных установок, холодильно-сушильного агрегата, тиканье бортовых часов, пощелкивание программных механизмов — вот весь набор звуков.

На фоне этого узкого спектра звуков особенно остро ощущаешь немоту и безмолвие окружающего тебя космоса.

Довольно быстро привыкаешь к этому спектру, и как только появляется новый звук: включился программный механизм или сработал какой-либо привод, — сразу жестораживаешься, анализируешь бортовые системы и выясняешь причину появления нового звука.

В космическом полете привыкаешь к постоянному «прослушиванию» жизни корабля и к анализу работы его систем по звукам. Так, по изменению звукового режима работы программного механизма четко определяешь момент вхождения в зону наземных пунктов радиосвязи.

Таким образом, вырабатывается устойчивая связь, порожденная этими необычными условиями. И по возвращении на Землю особенно остро воспринимаешь многообразие и богатство спектра земных звуков. Помню, с каким наслаждением впервые после полета я слушал пение птиц.

В длительном космическом полете, естественно, невозможно создать все многообразие земных условий, к которым человек привык на Земле. Космонавт находится в определенном замкнутом пространстве, общается только с членами экипажа, воспринимает определенный ограниченный спектр звуков, ограниченный спектр запахов, к тому же — определенная монотонность в работе и однообразный досуг.

Все это, конечно, компенсируется удовольствием наблюдать удивительно красивую поверхность Земли, эмоциональной радостью вхождения в радиосвязь с ней (очень приятно слышать знакомые голоса; помню, Андрян, побеседовав с женой и дочкой, сказал: «Как дома побывал»). Компенсируется это также напряжением в работе по выполнению сложной программы полета, сознанием уникальности обстоятельств, в которых ты находишься, и чувством возложенной на тебя высокой ответственности за успешное осуществление полета.

Наблюдая Землю, часто думаешь о ней. Часто вспо-

минаешь себя на Земле, запахи леса, трав, пение птиц.

Да, человек — сын Земли! И он остро ощущает отсутствие земных связей, он постоянно вспоминает о них. И чем длительнее полет, тем более остро испытываешь потребность их воспроизведения. Хотя бы в памяти. Нужна в космосе хорошая книга, повествующая о жизни на Земле, о людях, об их общении между собой, о природе Земли. Поэтому в редкие свободные минуты хочется почитать земные книги, видеть земные картины. У нас на борту космического корабля «Союз-9» было несколько цветных фотографий живописных уголков природы Байкала. Помню, с каким удовольствием мы пересматривали их уже в который раз где-то на десятые сутки полета. Испытываешь радость, словно встретился с близким другом, когда услышишь в эфире знакомую русскую песню, особенно пролетая над далекими континентами, например, над Австралией.

Очень часто вспоминаешь своих близких. Смотришь на фотографии, думаешь, как они волнуются за тебя. Часто вспоминаешь друзей, незавершенные земные дела.

Строишь планы, которые предстоит осуществить по возвращении на Землю.

Да, духовно человек в космосе живет Землей, в этом ему помогают устойчивые связи, которые не только не исчезают, но даже обостряются. Обостряются в памяти, в мечтах. И когда возвращаешься на Землю, остро и внасытно воспринимаешь эти связи.

Я на всю жизнь запомнил запах, который ворвался к нам в корабль, как только мы открыли люк после посадки. Это был запах земли, травы, всех цветов и лесов — запах земных связей.

Земные связи космонавта становятся наиболее ощутимо ценными для него; когда на протяжении многих суток полета в космосе, постоянно наблюдая Землю, он вдруг осознает ее малость.

Наша голубая планета из космоса имеет удивительно красивый вид. Она прекрасна, но и поразительно мала.

Общеизвестны геометрические размеры Земли: 12742 километра — средний диаметр, около 40 тысяч километров — путь вдоль экватора. В последнее время мы привыкли к новому понятию: полтора часа — и облетели на космическом корабле вокруг Земли. За это время космический корабль совершает виток вокруг Земли.

Но в условиях длительного космического полета возникают у космонавта два новых критерия, подчеркивающие малость нашей Земли.

Первый критерий: через 7—10 дней полета в космосе на память знаешь всю сушу Земли. Да, 71 процент поверхности Земли покрыт водой и только 29 процентов — суша. Но эти цифры сами по себе мало что говорят. В полете ощущаешь, что очень много на Земле воды и мало суши, которую, как правило, встречаешь с радостью, при этом у космонавтов, как и у моряков, вырывается возглас: «Земля!»

Вглядываешься в нее, будь то берег континента или маленький остров в океане, смотришь на навигационный прибор или карту и знакомишься: вот как выглядят Таяити!

Через несколько дней полета все реже и реже прибегаешь к помощи карт. А через 7—10 суток знакомство состоялось окончательно. Сушу знаешь всю. На континентах — горы, реки, долины, озера, города, гавани.

Привыкаешь и очень легко опознаешь города даже на ночной стороне Земли.

Неоднократно любовались мы ночным видом Па-

рижа и никогда не путали его с Берлином, Римом или Варшавой.

В океане знаешь каждый островок и с радостью, как со старым знакомым, встречаешься с островом Пасхи, затерявшимся среди безбрежной глади океана.

После сна, открыв шторку иллюминатора, посмотришь на борт корабля, незамедлительно сообщая: «Подходим к Мадагаскару, через пять минут Индия!»

Да, действительно мала наша планета, если за 5—7 минут пересекаешь Южную Америку или Африку и если через 10 суток полета в космосе всю сушу Земли знаешь на память.

Другой критерий — это макровзгляд. Это то, что видишь сразу. Я провел в полете эксперимент. Пролетая над Варшавой, посмотрел, что же видно в Европе одновременно. Наш корабль шел с запада на восток. И вот с левой стороны виден весь Скандинавский полуостров, северные берега Норвегии, Балтийское море, Ленинград, Рижский залив, Рига, зади — Англия, Ирландия, а вот Лондон, вот Париж, а это Пиренеи. Справа видны Адриатика, Черное море, Север Италии, Крым, а впереди по курсу — Москва.

Видишь всю Европу сразу. Европу, в которой столько государств, народов и которая только за наш век пережила дважды такое несовместимое с понятием «человечность» явление, как война. Сколько погибло людей, которые могли бы жить, радоваться жизни и служить человечеству!

Как много истрачено земных ресурсов! Истрачено бессмысленно и невосвратимо. Как заторможен был прогресс человечества и как продвинулся бы он, не будь этих войн!

Остро ощущаешь ограниченность земных ресурсов, потому что видишь наступление цивилизации на природу и потому что видишь: не на всей суше удобно жить. Много пустынь и труднодоступных горных районов.

И вдруг понимаешь, что сама Земля — это космический корабль, который несется в космосе. Он имеет ограниченные ресурсы и экипаж — человечество, которое должно беречь свою планету, ее ресурсы, беречь себя.

Наблюдение Земли из космоса толкает на эти размышления.

Будущее человека зависит от человека. И его достижения в области культуры, науки и техники, в том числе и в освоении космоса, должны служить миру.

Этого требуют разум и все наши земные связи, ощущение которых так обостряется в космическом полете.



ВАЛЕНТИНА ЮДИНА,
БОРИС ЧЕРНЫХ

ВСЕМ «МИРОМ»

ПИСЬМО НА ВАЖНУЮ ТЕМУ,
АДРЕСОВАННОЕ ЛЕНИНГРАДСКОМУ СТУДЕНТУ
АЛЕКСАНДРУ КРУТЕНКУ,
КОТОРЫЙ МЕЧТАЕТ СТАТЬ ПРЕДСЕДЕТЕЛЕМ
КОЛХОЗА «МИР»



Рисунки
Арсения Шульца.

«Смысл и содержание социалистической демократии мы видим в участии все более широких масс в управлении страной, общественными делами... чтобы каждый чувствовал себя гражданином в полном смысле этого слова...»

*Из Отчетного доклада
ЦК КПСС XXIV съезду.*

Давайте, Саша, сразу условимся о прямом и честном разговоре. Вам двадцать лет, в вашей зачетной книжке одни пятерки, а на вашем юном лице ни одной — пока — морщинки.

Сейчас, вот в эти минуты, когда под нашими сапогами хлюпает проселочная дорога, вы прогуливаетесь по Екатерининскому парку в Пушкине, мелкий песок поскрипывает под ногой. Вы предаетесь возвышенным и прекрасным мечтам. Петербург, Петроград, Питер... Двадцатидвухлетний Михаил Бестужев-Рюмин стоит в декабрьском каре на Сенатской площади. Саша Ульянов, шагая вдоль Фонтанки, в предпоследний раз спрашивает себя: куда идти — в науку или в революцию? Студент Технологического Сергей Лазо, положив черную голову на колени любимой, не догады-

вается, что скоро ему придется командовать... фронтом. И вот вы, Александр Крутенюк. Рост метр семьдесят девять, в плечах широк, физически развит, начитан, штатный оратор студенческих пиршеств. Мы, хлюпая сейчас по расползающейся колее (идем из Борисоглеба в Жигари), знаем, о чем вы, Александр, думаете. О славе. Вы, конечно же, прославите псковскую землю. На фасаде Ленинградского сельскохозяйственного будет прибита мемориальная доска: «Александр Крутенюк, доктор экономических наук, видный государственный деятель СССР в 1990—2001 гг., закончил наш институт в 1972 году».

Но прежде чем стать видным государственным деятелем, вам придется пройти школу, и первая ступень этой школы — колхоз в Псковской области, откуда вы ненадолго вышли и куда вскоре вернетесь.

...Мы сидели в кабинете первого секретаря Великолукского райкома партии Евгения Петровича Макеевко, пили чай из высоких стаканов. Евгений Петрович уезжал на дачу в столицу на XXIV съезд партии, он был задумчив и нетороплив. Он слушал нашу речь и деликатно не спорил с нами, когда мы говорили заведомо спорное. Речь шла о демократии. Евгений Петрович говорил:

— Я уже не раз, читая великолепные статьи об экономике, о селе, останавливал себя диковинным выводом — научились же вот так хорошо и грамотно пи-



сать о сугубо технических победах или неувязках... Потому что легче об этом писать, а? А дойдем до человека — сплошная статистика: возраст, сколько детей или внуков, какой процент перевыполнения плана, если передовик... А если не передовик, так что же — не стоит он внимания? А когда бы высветить вопрос еще и так: «Почему Ивану Солнцеву не хочется быть передовиком?» Есть и такие случаи...

Макеев улыбнулся. Он вроде бы щадил наше самолюбие.

— Как-то спрашиваю одного председателя колхоза: «Сколько у тебя свадеб было в прошлом году?» «Шесть», — отвечает. «А разводов?» Молчит. Не знает. Вот и весь уровень работы с людьми. А люди-то растут, требуют к себе уважения. Помните, наверное, сцену в фильме «Председатель»? Егор Трубников приказывает у частника снести сарай. Дикая по нынешним временам сцена. Теперь этого Трубникова провалили бы на первом отчетном, как у нас недавно в «Красном пахаре». А что? Оторвался от народа тамашный руководитель.

Вам, Саша, интересен монолог секретаря райкома партии?

За этим монологом последует наше решение ехать в Жигари.

— Колхоз не передовой, но и не отстающий, — сказал Макеев. — Глубинка, дороги у них еще плохиваты. Но поезжайте. Поговорите с самими колхозниками, послушайте, о чем думает молодежь. Председатель там... Впрочем, сами сделаете выводы. А нам будет интересно выводы сопоставить.

Так мы оказались в Жигарях, в колхозе «Мир». А уже в колхозе узнали, что есть в Сельскохозяйственном институте студент-экономист, который мечтает стать председателем «Мира» через несколько лет.

Вообще-то нас порядком удивило это сообщение. «Ну не беспардонность ли, — подумали мы, — неоперившийся студент так высоко летает в мечтах». Но успокоил нынешний председатель. Он сказал:

— Заметили, наверное, что большинство председателей в колхозах — люди пришлые. А это ненормально. Лучше, когда свой становится руководителем. И у нас появилась поросль, присматриваюсь: кто-то из них однажды займет мое место, может быть, скоро. Так, есть предчувствие... Но особые надежды я возлагаю на Сашу Крутенку. Умен, и бесшабашности в нем нет.

Зантриговал нас председатель!

И вот мы ходим по деревне... Центральная усадьба колхоза выглядит не очень. То, что дома на отлете, хуторами стоят, — это ничего. Но техника под открытым небом мокнет. И главная улица в Жигарях — сплошное озеро — ни обойти, ни объехать. И у Степаниды изба крыта соломой. Степанида — одинокая

пенсионерка. Не черепицей, а дранкой-то можно избу накрыть? «Можно, да забот у колхоза хоть отбавляй», — сказал нам председатель Николай Петрович Блинов. Он сам нас привел к Степаниде на постой. Степанида ни на что не жаловалась, не охала, а села на лавку и ласково спросила Блинова:

— Устал? Цельный день на ногах!

И Блинов в ответ:

— Устал, Степанида. Дай водицы хлебнуть, вкусная у тебя вода, с хрустом.

Оцените, Саша, дипломатические способности председателя: вода-то у бабки Степаниды как вода, самая обыкновенная, из колодца.

Ты помнишь председателя со школьной поры. (Прости, мы как-то невольно перешли на «ты».) Мальчиком мать привела тебя однажды к Блинову и попросила машину, чтобы в райбольницу съездить, потому как плохо у тебя было тогда с горлом. А председатель вздохнул и не дал, на попутных советовал добираться.

— А мог бы свой газик уступить, один день в правлении посидел бы, — ворчала тогда мать.

Позднее ты, приезжая из института на каникулы, оправдал этот неглавный проступок Блинова, поняв: «Болеет он не за одного, а за всех сразу!»

Но еще пройдет время, пока ты поймешь, как трудно, но и как важно, научившись болеть за всех, не разучиться болеть за одного, за каждого.

Представь картину: за столом — председатель. Он что-то пишет. Входит человек невидный такой.

— А-а, Никитич! Садись, садись. Сейчас я черкну пару строк, а ты рассказывай. Я услышу, — говорит Блинов.

— Не усидел я, Петрович, на своей пенсии. Охота работать. Весной пахнет опять же... — Никитич прильнул к краешке кресла.

Этот невидный мужичок горел в танке, у него инвалидность второй группы. В трудную пору он, презирая больничные предписания, водил в колхозе тяжелый «С-100»; сейчас, вдруг затосковав по машине, просится на махонький трактор — самоходное шасси.

Любопытно, как ты поступил бы в такой ситуации, Александр? Блинов-то вот что ответил:

— У меня, Никитич, колхоз, а не ты один...

— Мересев совсем без ног летал, — сказал Никитич. — А я при плохих ногах по земле-то смогу еще годик-два?

— А закон? Я дам тебе трактор, а меня потом накажут: пенсионера посадил на машину...

— Что ты закона боишься? Его тоже, закон-то, люди составляли. И наши мужики тебя поддержат.

— Мужики не закон, — сказал Блинов.

— И мужики — закон, — ответил Никитич.

Блинов думал минут пять. Молчание повисло в кабине.

— Я же не за деньги, — снова негромко начал Никитич. — Я ж по душе. Плохо дома мне сидеть, невмоготу.

Решение Блинов принял верное:

— Пиши заявление «по душе» в профсоюз. Решат положительно — дадим тебе железную лошадку на сезон. И сам приходи на профком — пляши цыганочку, как Мересев.

Верное решение. Но прежде было сказано неверно: «У меня колхоз, а не ты один».

Или другой случай. Не так давно приходит к председателю тесть:

— Ты, я слышал, лен собираешься сеять рядом с моей печиной?!

— Собираемся. А что?

1 По-псковски — усадьба.

— Ну, конец моим пчелам, когда опрыскивать начнешь. И мне конец... Нешто земли мало? В другом месте нельзя посеять?

— Нельзя, батя. Общественное выше личного.

Трудная это наука — служить коллективу и каждому его члену в отдельности.

У Блинова взгляд на эту науку прочный, свой, раз и навсегда сложившийся: все для общества, а уже потом — для отдельного человека.

Потому отношение к председателю смешанное: вызывает Блинов симпатию пополам с раздражением.

Кстати, от этого блиновского «взгляда» и стиль работы председателя — на износ. В свои сорок лет Блинов весь изношен: ему «некогда болеть». О, это испытанная философия людей старого закала. В ней таится скрытая укоризна: «Вот я на износ, так и вы старайтесь...»

Как-то Блинову сказали в райкоме: «Надо, Петрович, уметь отдыхать, рационально строить свой рабочий день, доверять людям. А то со стороны-то кажется, будто незаметим ты. Царь и бог. Помрешь — и все хоть следом?»

Блинов ходил тогда как ужаленный. Золотые слова попали в точку, хотя сказаны были поздно. Блинов уже не мог работать иначе. Не позавтракав, он убегает на работу, забывает обедать, специалистам — теперь у него много отличных специалистов — вроде бы доверяет, но с оглядкой, с претензией излишней. А ведь что ни говори, председатель — пример всему, у него учатся, ему подражают, за ним следуют...

Колхоз за последние пять лет вдвое увеличил урожай зерновых, оплата труда колхозников также возросла. Раньше колхоз был очень беден. Но вот становится на ноги, экономически крепнет. Есть в том заслуга и Блинова.

А общественный климат, о котором говорил Евгений Петрович Макеев, улучшается ли? Как обстоит дело с развитием той самой демократии, о которой мы и начали наш разговор?

У Александра Трифоновича Твардовского есть, Саша, стих: «А ты самых послушай хлеборобов, что свековали век свой у земли, и врать им нынче нет нужды особой, все превзошли, а с поля не ушли». Самое сложное — уметь слушать хлеборобов, уметь понимать их сокровенные думы, уважать обычаи и традиции, если они освящены праведным отношением к труду. Борьаться с вековыми предрассудками. Приветствовать новое.

В разговоре с главным агрономом Ириной Орловой мы попросили привести пример демократических методов руководства агрономическим хозяйством.

— Вчера ходили мы с бригадиром к нашему старейшему колхознику Антону Матвеевичу Новикову советовать, где лучше сеять лен...

Не о том речь! Посуди сам, разве там, на Западе, умный фермер погнушается испросить совета у многоопытного старика относительно выгоды того или иного дела? Вряд ли. А между тем может ли идти речь о демократии там, в фермерском хозяйстве?!

В уставе же колхоза «Мир» есть такие слова:

«Каждый имеет право участвовать в управлении делами колхоза, избирать и быть избранным в органы его управления, вносить предложения по улучшению деятельности колхоза, устранению недостатков в работе правления и должностных лиц и участвовать в устранении...»

Иметь право участвовать в управлении делами — это только начало. Как сделать, чтобы это право

стало потребностью каждого? А ведь именно этого требует сегодняшний день. Не одни материальные стимулы и не моральные эпизодические поощрения разжигают интерес крестьянина к общественному производству, а участие в этом производстве на правах полноправного хозяина.

Теперь наша деревня вступила в новую эпоху. Окрепшие хозяйства возродили экономический интерес крестьянина к колхозу. А другой, не экономический? Если экономические перемены всякий раз напоминают о себе рублем, то совсем по-другому обстоит с общественным климатом. Здесь нужна настойчивость и последовательность в проведении демократических методов в жизнь, нужна гласность на всех этапах управления. Вот тогда крестьянин идет на колхозное поле не только за заработком, но и ощутив глубокую потребность участвовать в общем деле.

Опыт, накопленный за пятьдесят четыре года Советской власти, велик. К твоим услугам, будущий председатель, много самых различных демократических форм управления.

Это и выборное правление, подотчетное народу восемнадцати деревень; и товарищеский суд, здраво и любезно предлагающий свои услуги обществу, сельский сход, референдум, производственное совещание, совет старейшин, совет специалистов. И, конечно, подлинный народный контроль — одна из важнейших форм социалистической демократии...

Но право свободного волеизъявления (тоже конституционное) — становится ли оно потребностью каждого? Часто ли, скажем, рядовая доярка на колхозном собрании требует поощрения своего руководителя за удачный маневр? Часто ли колхозники критикуют председателя, бригадиров за недостатки в колхозе «Мир»? Часто ли свободно требуют смещения посредственного руководителя? Часто ли при-



ходят на заседания правления, чтобы сказать свое, сокровенное?

Вот тут мировцы чесали затылки — те, что постарше. А те, что помоложе, говорили: «Не хватает знаний. Приедет Саша Крутеков — организуем народный университет. Лекции по культуре управления будем слушать».

Вот наши наблюдения, по которым, очевидно, можно судить, что же получается и что не получается в твоём колхозе «Мир». А хочешь послушать, Саша, как проходило заседание правления, пока ты гулял по Екатерининскому парку в Пушкине?

Заседание открылось ровно в 17.00. Большой кабинет председателя наполнился глухим говором, кто-то закурил, на него шикнули (и поделом, на перекур будет время и место).

Присутствуют члены правления и приглашенные — бригадиры, специалисты. Рядом с Блиновым —



секретарь комсомольской организации Валя Асоева. С другой стороны — Мурзич — фронтовик, однорукий, в кожане. Он заместитель председателя, а Валя — член правления.

Заседание открытое, может присутствовать любой колхозник или пенсионер. И правда, пришли два колхозника с Исаковщины, примостились в углу, слушают. Здесь заседания всегда открытые, какие бы сложные и острые вопросы ни обсуждались на них. Исключение — дела щепетильные, деликатные: скажем, мирят соседей. Повестка — деловая:

1. Завершение зимовки скота.
2. Развертывание весенне-полевых работ.
3. Разбор заявлений.

Первым выступает специалист — главный зоотехник Валентина Жаркова. Она в гипюровой кофточке, яркая брошь хорошо идет к ее медно-красной прическе. Мини-юбка. Держит в руках рабочий блокнот, но не смотрит в него, когда точно и скупко говорит о состоянии поголовья скота, о количестве кормов на фермах, о выполнении плана продажи мяса государству. Все сжато, по существу.

Информация главного зоотехника принята к сведению.

Потом выступает бригадир Тамара Кожаккина (она в постоянной «униформе» — узкая юбка, красивые высокие сапожки, сивий шарфик). Совсем еще девочка, Тамара под стать главному зоотехнику, но никакого надуманного пафоса, бравады нет.

— Сена не хватит, осталось восемь тонн четырехста килограммов. Предлагаю купить у крестьян тонны три, максимум четыре. До зеленой травки дойдем.

Мурзич подает реплику:

— Как высчитала, Тамара, — «восемь тонн четырехста килограммов»? На глазок?..

Мария Сергеевна, председатель группы народного контроля:

— За расходом кормов мы следим строго. Сейчас животноводам надо удвоить аккуратность.

Просьба (именно просьба): «Просить группу народного контроля о постоянном учете...»

По второму вопросу Мурзич: главный агроном запросила высокую плату женщинам на протравлении зерна (химикаты, вредность). Дать или не дать? Большинство голосов — дать.

Предложение снизу (колхозник с Исаковщины попросил слова): «Погодить возить навоз на поля, пока не окрепли дороги, а там навалиться всем миром. Иначе разобьем дороги». (Вспомнились слова секретаря райкома партии: «Дороги у них еще плоховаты».) Решили: «Дельное предложение, принять».

Никакой показухи (для заезжих журналистов могли ведь стараться), без громких слов, без крика.

Но вот начался разбор заявлений. Люба Терешонок, колхозный стипендиат, вернулась в Жигари и

требует себе немедленно пост агронома-семеновода или младшего агронома. Она хорошо училась в техникуме, уверена в своих силах. А колхоз — такая республика, которая может дать любой пост, даже и не существовавший до этого, была бы нужда. К тому же культура земледелия требует в колхозе специалиста по семеноводству.

Члены правления рассыпали поздравления и комплименты: «Наша! Вернулась! Стопудовые урожаи снимать начнем». Но председатель предложил Любе годик походить в помбригадах по учету.

Люба: — Я училась на агронома, Николай Петрович.

Мурзич-старший (хитрый зам у Блинова): — Любаша, да формально ты будешь не учетчиком, а помбригадиром по учету. А такой пост обязывает...

Все промолчали. Люба во все глаза смотрела на Валю Асоеву. «Помогай своей комсомолке, договаривались же вчера на комитете». Валя старательно прятала глаза (сдрейфила комсорг. Жаль!).

Мурзич: — У меня предложение: подъемные дать Любе в размере одного оклада. А комсомольской организации провести вечер в честь ее приезда...

— Перестраховщики, формалисты! — в сердцах сказала Люба после заседания правления.

И мы призадумались. Ведь внешне все вроде было по уму: уговоры, голосование... А она потом: «Формалисты!» И чуть не расплакалась. Больше оттого, что не захотели выслушать. Не предложили поделиться планами на посту агронома-семеновода, не попросили разъяснить «каприз». Все было намечено заранее. И акт голосования лишь формально закрепил заранее заготовленное решение.

Догадаться просто, почему так произошло. От недостатка культуры. Да, да, именно культуры. Той, которая подсказала бы членам правления во главе с председателем, что и впрямь колхозу не худо бы иметь агронома-семеновода при нынешнем уровне земледелия. А еще и той культуры, которая позволяет спокойно выслушивать доводы оппонента (хоть и было до этого принято предварительное решение), вникать в эти доводы, не бояться отказываться от своих же решений, если доводы убедительны.

Ничего этого на заседании правления не было. Не приучены к этому правленцы.

В конце заседания председатель попросил слова: — Я хочу отчитаться, как шли мои дела в минувшие полмесяца.

На него глянули удивленно: отчитывался раньше раз в год... Примолкли.

Отчет был солидный, но все молчали. Потом с места подал голос Андрей Терентьевич Серболин:

— А сколько раз ездил в район, Петрович?

Блинов (напряженно): — Да что-то раз пять (до Великих Лук, районного центра, километров семьдесят по худой дороге).

— Не многовато вылетов? — едко спросил Серболин.

— Так ведь по делу раза три, а два раза по звонку — из райкома, из исполкома.

— А ты на звонки отвечай: «Занят». Или замов посылай, чего же кости-то ломать свои по каждому пустяку.

— Ругать будут, Андрей Терентьевич.

— Ругать тебя мы будем! — сердито сказал Серболин.

Вот как, Саша, оказывается: советовать с членами правления надо почаще, выслушивать критику.

Кстати, тогда председатель так и сказал: «Будем советоваться».

А на завтра снова поехал, совсем зря, в райисполком на комиссию: вызвали предсельсовета и его за-

ма по культурно-воспитательной части — о работе с молодежью должны были слушать. Комиссия не собралась, ходили трое «мировцев» по кабинетам, в холле сидели неприкаянно. Странная картина...

Между прочим, Александр, слово свое перед народом держать («будем советоваться») — это тоже признак культуры. Культуры взаимоотношений. А ведь демократия в колхозе — это и есть не что иное, как новые, социалистические отношения между людьми.

Учиться строить эти взаимоотношения — дело кропотливое. Промахи и ошибки тут неизбежны.

В те дни, когда заседало правление колхоза и комсомольцы договаривались на своем собрании о вечере в честь вернувшейся Любы Терешонок, на Исаковской ферме зрел и наконец разразился скандал.

На «Огонек животноводов», который проводился в клубе, с Исаковщины не пришел никто. Назавтра зоотехник чуть свет уже была там. На ее недоуменный вопрос — гробовое молчание. Потом взрыв:

— До каких пор у нас не будет настоящего учетчика?

— Сколько можно ругаться из-за молока с соседками?

— Неужели трудно сделать общий молокопровод?!

(Чуешь, как время диктует деревне свое?)

Валя открыла рот от удивления. Ведь именно эти вопросы как раз и решались на последних заседаниях правления. Уже освобожден прежний учетчик (по настоянию, кстати, группы народного контроля). Уже завезены трубы для общего молокопровода, и инженер на правлении докладывал, что наконец-то требование женщин будет удовлетворено, приступили к монтажу... Но, оказывается, им, женщинам с фермы, никто об этом не сказал, не доложил. Никто не проинформировал их о тех решениях, которые принимались о них же в председательском кабинете... Вот что, Саша, может натворить отсутствие гласности. Да, и этому искусству надо учиться, коли думаешь по-настоящему управлять коллективным хозяйством.

А то сделал главный бухгалтер нечаянную ошибку в годовом отчете (за что, кстати сказать, оштрафовали колхоз на 4 тысячи рублей), и пополз по деревне слух: вот, дескать, велено снимать с работы нашу бухгалтершу. Сарафанное радио работает четко. А нет чтобы в стенгазете взять да и прописать, как все было на самом деле. Да, мол, была ошибка, наказали так-то и так-то.

Гласность, гласность и еще раз гласность должна торжествовать в колхозе «Мир», чтобы не загнать болезни внутрь, если они объявятся.

Мы просмотрели кипу стенных газет: сплошные праздники, мажор, колхозные юбилеи, поздравления в витиеватом, парадном стиле. Будто не о чем писать хотя бы той же группе народного контроля, молодым корреспондентам, бабке Степаниде (а она умеет перо держать в руках, современная бабка).

Это ведь надо разобраться и рассказать «Миру» и о том, почему вчера остались телята не поены: оказывается, шофер не подвез молоко и сегодня по деревне ездит с утра пьяный. И о причинах трагедии, случившейся в семье Сергея Романова, — не зря пролегла горькая складка на его лице, нельзя умалчивать. Пьяный отец стрелял в сына, и тот был на волосок от смерти. По крепкому насту успели односельчане довести до больницы Сергея. А в мокроступицу не бывать бы ему в живых, машина бы не прошла. Врачи спасли Сергею жизнь.

— Да, демократия не абстракция, — говорил нам Евгений Петрович Макеенко при второй нашей с ним встрече. Над Москвой уже буйствовал апрель. В

Александровском саду носился аромат набухших сириеневых почек. Макеенко пришел прямо с заседания съезда, после доклада А. Н. Косыгина. Ему хотелось говорить, и он говорил. О том, какое большое впечатление произвел доклад Предсовмина: экономическая реформа, совершенствование управления хозяйством, расширение внешнеэкономических связей... О том, что в повестку сегодняшнего дня поставлен вопрос о совершенствовании управления, о развитии демократии. Сейчас при райкоме создан университет для партийно-советского и хозяйственного актива «Учись искусству руководства». Вот лишь краткий перечень лекций: «О педагогическом такте руководителя», «Социалистическая законность — основа всему», «Уважать труд и достоинство человека — непрелюдная заповедь каждого коммуниста», «Чуткость, душевность, такт в подходе к людям — залог успеха воспитания» — и так далее. И совсем недавняя научно-практическая конференция «Психологические основы руководства коллективом». И, наконец, новейший пример: пленум райкома партии о социально-экономическом и культурном развитии деревни. Каждое хозяйство разработало свой социально-экономический план. О них-то и шла речь на пленуме.

Прости, Александр, но мы не можем удержаться и процитируем параграф из плана, разработанного в твоих Жигарях колхозом «Мир». В главе четвертой, об управлении делами колхоза, есть параграф, который так и называется: «Дальнейшее развитие колхозной демократии и общественных начал».

«...Сочетание работы правления колхоза и должностных лиц с широким участием колхозников в органах, действующих на общественных началах, — лучшая форма проявления починки, деловитости, предприимчивости тружеников, обеспечения их непосредственного влияния на решение различных вопросов общественного производства, жизни коллектива».

Развивать и совершенствовать внутриколхозную де-



мократию, шире привлекать колхозников к управлению делами коллектива, к решению вопросов организации производства, распределению доходов, а также вопросов культурно-бытового строительства, воспитания членов коллектива. Всесторонне повышать при этом роль общих собраний».

Срок исполнения — 1971—1975 годы.

В плане социального развития говорится об отдыхе колхозников, об удовлетворении духовных потребностей. О совершенствовании социальных отношений в коллективе...

— Одно обидно. Столько делаем, а порой такая малая отдача, — говорит Макеенко. — Низка культура.

Любопытное явление наблюдается сегодня в деревне. Уже есть грамотная, развитая молодежь. Уже окружают председателя десяток, а то и два-три де-



сятка специалистов. А ключевые общественные посты (председателей товарищеских судов, руководителей групп народного контроля и т. д.) частенько отданы людям, уже отстающим от запросов времени. Никто не собирается умалять заслуги ветеранов колхозного строя. Но нынешней деревне мало уже просто крестьянской смекалки и разворотливости. Нужна современная культура.

Мы присутствовали как-то в Жигарях на очередном комсомольском собрании. И честно тебе скажем, Саша, скучное оно было. Начиналось-то все ничего: и Сергей Романов вроде удачно открыл собрание, и паренек из райкома комсомола пыльную речь произнес. Но все испортила показуха.

Заместитель председателя по культурно-воспитательной работе Евгения Леонтьевна Алимниева решила не ударить в грязь лицом. Каждого оратора озадачила, бумажку заставила написать, так что не помогли ораторские способности Сергея (он без бумаги умеет говорить) и смелая, самокритичная речь Вали Жарковой (ей давали рекомендацию в партию).

Докаладчик, учитель местной школы, читал текст, составленный из канцелярских оборотов и фраз, парни говорили «с листа» (мы не узнали Толю Мурзича, говоруна, обычно он за словом в карман не лезет, а тут пыхтел, буквы вычитывал — стыдобница).

Не успели закрыть собрание, как вскочил на сцену Анатолий Никитенко, механизатор, и почище любого оратора распустил всех за эту самую показуху. Вот тут-то и началось главное. Без бумаг, не оглядываясь на красную, готовую провалиться от стыда Алимниеву («Разве можно так-то, напрямик, при посторонних!»), ребята говорили еще час о самых наблевших своих проблемах.

И знаешь, Саша, тогда мы позавидовали тебе. Тебя ждет чертовски интересная работа. И тебе уже есть с кем работать. Есть с кем поднимать культуру на селе.

Вот Василий Политыко. Механик. Под его началом десятки механизаторов.

— Ничего сверхмудреного в своей работе я не вижу.

Василию двадцать первый год. Он закончил техникум и прицеливается на институт. Если будет необходимость, смог бы заменить главного инженера.

Справка главного инженера Михаила Серженко. Кстати, инженер — коренной ленинградец. На колхозных вечерах он охотно исполняет народные мелодии на балалайке и мандолине. Прекрасный отец. Жена — ценитель художественной литературы. Так вот этот тридцатитрехлетний инженер нам сказал о своем молодом помощнике:

— Политыко с детских лет водит машины, знает их в совершенстве. В городе я редко встречал юношей с такой основательной культурой ремесла. Его уважают и слушаются крестьяне. Мне самому при-

ходится часто обращаться за советом и помощью к Василию.

Сергей Романов. Двадцать три года. Волевой, настойчивый. Отличный оратор. Между прочим, на вопрос — хотел бы он стать председателем? — без ложной скромности ответил, что председателем, может, и не станет, но одним из заместителей — пожалуйста, готов и даже пользу видит в том, чтобы среди «стариков» были молодые руководители.

Анатолий Мурзич. Девятнадцать лет. Лучший молодой тракторист района. Впрочем, Толю Мурзича ты помнишь еще по школе — он учился двумя классами ниже, а сейчас заочно кончает десятый. Думает пойти по твоим стопам — в сельскохозяйственный институт.

Тамара Кожаккина, бригадир Осокинской бригады. Тамаре двадцать один год. Бригадир — должность большая. Пять деревень под началом у Тамары: Осокино, Шагаево, Борисоглеб, Зуи, Рубены. В этих деревнях и стар и млад в прямом ее подчинении. А она не прочь бы и с тобой, Саша, потягаться за пост председателя. Не веришь? Вот ее прямая речь (именно прямая — Тамара весьма властная особа):

— Ничего новенького придумать не могли? Я сплю и вижу себя в кресле председателя. Сейчас у меня пять деревень, будет восемнадцать. Пусть кому-то кажется это нескромным, а по мне, чересчур скромным нечего и образование давать.

Желание молодых идти выше и дальше — благое желание. Но оно может быть прихотью и произволом индивидуума (и тебя касается, Крутенюк!): «Хочу, и basta». А это «хочу», между прочим, должно подкрепляться делом. Все мы видим недостатки у своих непосредственных руководителей, слабости их характера. И порой кажется: устрани эти (частные) недостатки, избеги слабостей, и все пойдет как по маслу.

Но вместо субъективных недостатков прежнего руководителя и его замов могут появиться недостатки, такие же субъективные, Романова или Кожаккиной. Вот им-то, этим субъективным недостаткам, и должна быть противопоставлена объективная реальность, которая перелопачивала бы, уничтожала, сводила на нет частности и случайности и воз-



водила бы на прочный фундамент закономерность, систему права и нравственности.

Теперь ты понимаешь, Александр Крутенюк, почему мы обращаемся к тебе? Ленинградские профессора, городские библиотеки, театры, музеи — все было к твоим услугам, чтобы вернулся ты в Жигари во всеоружии знания и культуры и вместе со всем «Миром» переустроивал бытие.

Псковская область.

...ТОЛЬКО СЕРДЦЕМ

...ЛЮБИМЫЕ ТВОИ УЧЕНИКИ



3 а окне вагона дрожал на промозглом ветру октябрь, в стекла бил дождь, в вагоне было тепло и сухо. И радио в коридоре потихоньку мурлыкало что-то доброе и домашнее...

Тарам-бам-бам,
Тарам-бам-бам,
Бам-бам...
Летят путями звездными,
Плывут морями грозными
Любимые твои ученики...

«Школьный вальс» — вот это что. Милая, сентиментальная песня про первую учительницу, про ее трогательные седые прядки, про школьные тетрадки и про любимых учеников. Какое учительское сердце не дрожит при этих звуках?! И мое, конечно, тоже. И я тихонько подпеваю своим теперь уже навсегда оспившим учительским голосом:

...Плывут морями грозными
Любимые твои ученики...

И вдруг мне становится не по себе. Нет, не вдруг! А совершенно естественно. Потому что я возвращаюсь из командировки как раз от нелюбимой ученицы. От девочки, с которой ни один взрослый в школе не смог найти общего языка. Хотя это была неплохая девочка. Просто она была остроугольная, эта Наташа Иванова из Бугалмы.

Есть такие ребята. Неудобные в обращении. Чаще всего изломанные домашними обстоятельствами, они достойны жалости, но, как правило, вызывают личную антипатию взрослых.

Жалость... В свои школьные годы я твердо знала, что жалость унижает человека, ибо человек выше жалости. Не вообще Человек с большой буквы, олицетворение вида, а каждый отдельный индивидуум.

Теперь я так не думаю. Я уверена, что немного жалости, сострадания, сочувствия никогда не повредит. Я заглянула на ребят из своего пятого «В», я их ненавижу порой... Но поняла и простила им многое, когда увидела, что они дети. Все вместе и каждый в отдельности.

Вот Витя Горохов. Из моего первого послевоенного класса. Маленький, худенький, весь прозрачный. У мамы их четверо, отец отбывал где-то свой срок за пьяные грехи. Мама—молодая, красивая женщина, но тоже вся прозрачная, так как тянула четверых на свою зарплату разнорабочей. А ребята ежедневно ходили в школу и ежедневно хотели есть. Витя хотел быть не хуже и не слабее других. И когда класс бесился и срывал уроки, он тоже бесился. Одет он был хуже всех, но свою заплатанную байковую школьную форму носил с графским пренебрежением ко всем сукнам и шерстям.

Помню Витин букет. Единственный букет, который я за многие годы принесла из школы домой. Дело было на экзаменах. Ребята тащили букеты один другого больше и краше. Каждый, войдя в класс, крал на учительский стол букет. Витя тоже подошел к столу и положил малюсенький букетик ландышей. Эти ландыши я внесла домой.

И с тех пор, когда я читаю или слышу строчки Маяковского:

Я много дарил конфет да букетов,
Но больше всех дорогих даров
Я помню морковь драгоценную эту
И полполена березовых дров, —

я вспоминаю Витин букет.

Витю я жалела до слез и злиться на него не могла. А Толя Гришин? Худой, черный и шершавый на вид, как весенний жук, он сидел и двигался угловато и писал левой рукой: правая почему-то высохла в раннем детстве, и он не мог простить этого всему миру. Я не сразу поняла его. Тем более, что он к этому и не стремился. Своим удивительно четким и красивым почерком он мог писать упражнение поперек тетради от начала одной страницы и до конца другой. Или наискосок. Или вверх ногами. И при этом смотреть на тебя с таким наглым вызовом, что я чуть не в бешенство приходила, с трудом сдерживая себя.

...Но однажды был самый обычный урок. И все сидели очень тихо и писали самостоятельную работу. Я ходила между рядами. Остановилась то тут, то там. Остановилась возле Гришина... Сверху был виден блестящий черный затылок, острые лопатки под вельветовой курткой. И я вдруг увидела, что ненавистный мне Гришин — просто ребенок. Ребенок несчастный и гордый. Я поняла это и погладила его по голове. И тут случилось неожиданное: он заплакал. Как-то судорожно взрыдал, коротко и глухо. Нет, я не думаю, что жалость унижает человека. Унижает человека равнодушие.

Был у нас в школе страшный класс. Сборный. Переростковый. Седьмой «Г». Созданный по настоянию роно, он был расформирован нашим директором Марией Степановной в конце года решительно и бесповоротно.

Но почти год он функционировал. Работали там сжав зубы. Самые сильные учителя молча несли там крест наших педагогических неудач.

Географию вел Павел Михайлович, добрейшей души человек. Как сейчас вижу, вооружившись картой и глобусом, с указкой под мышкой, он наливает полный стакан воды. Звонок зовет на урок, и Павел Михайлович, выпив воду залпом, говорит со вздохом: «Ладно. Не поминайте лихом. Иду на Голгофу». Но кто из «гешников» даже сегодня скажет, что Павел Михайлович их не любил? Ого! Именно их он любил! Впрочем, так думал о нем каждый класс. Мария Степановна, бывало, в сердцах бросала: «Это не учитель, а Христос какой-то».

Но сама же требовала:

— Ты, слышь-ка, на родительском собрании плохо о ребятах не говори. Вон как у Павла Михайловича все хорошие. Ты, знаешь, каждого похвали, найди там что-нибудь приличное. Поругаешь дома. Заодно увидишь, как живет человек. Может, его и ругать не за что. Да ты, я гляжу, еще и не у всех дома была. Ну-ка, иди, деточка. Две недели тебе сроку, чтобы всех посетила.

И я ходила из двора во двор, из квартиры в квартиру или общежитие.

И только слушала. Говорила иногда, когда молчать было невозможно. Но перед этим на уроке предупреждала:

— Ты скажи маме, что я сегодня часов в восемь чай пить приду.

И в восемь я сидела за столом. Мы пили чай, хрустели сухарями, говорили о погоде, о здоровье и о том, что Алеша совсем не занимается по русскому языку и по истории. Алеша мрачнел. Мама гордо показывала мне осциллограф, который сын собрал своими руками, а бабушка жаловалась, что за этой машиной Алеша про дом забыл, за хлебом в магазин не выгонит. Так и беседовали. И только один Алеша знал, что это — наказание. Вообще о том, кому, что и как об учениках рассказывать, у нас целый спор вышел. Валентина Леонтьевна считала:

— Родителям надо знать о детях хорошее. О плохом мы с ребятами сами поговорим.

Галина Николаевна предлагала свое:

— Ни в коем случае! Уж если я пришла к нему домой, я выскажу все! И громко! Чтобы соседи слышали! Чтобы стыдно было! Чтобы боялись моего прихода!..

А я боялась, что меня станут бояться. Может быть, потому, что жалела эти усталые, полные веры и надежды родительские глаза. Все годы жалела. Вот они сидят, скособоившись, за партами и смотрят на меня, мамы всех моих многочисленных ребят: воспитательница детского сада, работница керамического завода, вагоновожатая, служащая, портниха... Да мало ли их было за восемнадцать-то лет!.. Что плохого я могу, что плохого я смею сказать об их детях? Что Витя не учит английский, а Надя запустила математику? Что один Валя ленится писать, а другой не хочет читать? Что Марина могла бы работать более активно?.. Ну и что? Если здесь, в школе, мы им не поможем, не подтолкнем, не устыдим, не усадим за книги, что смогут эти мамы?!

В общем, я, наверное, не верила в обучающие способности родителей. Мать есть мать. Ей своего хватает: стирка, готовка, болезни... А учитель есть учитель. Ему и учить. Сейчас я думаю иначе. Хотя убеждена, что не все семьи все-таки могут всерьез заниматься воспитанием. А может быть, потому не хотела, чтоб меня боялись, что сама когда-то боялась. Боялась Андрея Александровича. Его злой насмешки, его неприязненного взгляда. Он учил нас математике и разговаривал так:

— Вукина, ты учишь? Учива, но не выучива!..

Бедная Нина Лукина не выговаривала букву «л» и вот получала такое почти на каждом уроке.

— Кукушкин! Что ты валяешься на парте, как стелющийся стебель?

— Гороховская! Не строй бараньи глазки, умнее не станешь!..

И еще он любил пересаживать. На контрольной бывало так:

— Такие-то (шло пять-шесть фамилий) поехали! Возьмите с собой все, чтобы не попрошайничать! Ну-с, кого же куда?..

Прозорлив был, знал все наши секреты: кто в кого влюблен, кто кого не выносит. И пересаживал с гарантией: наша гордость или ненависть предохранит от списывания. Чертова система действовала безукоризненно. Таким образом, справедливость (в его понимании) торжествовала. А до всего прочего ему не было дела: Андрей Александрович не был сентиментален.

Добился он своим методом одного безусловно: математики класс не знал. Даже отличники не знали или знали на чистую тройку. Мысль под палкой не работает. Она ловчит. Работает только страх: не отвести — попадешь в число постылых.

Одним словом, я хорошо знала, как себя чувствует нелюбимый ученик. И знала, что, нелюбимый, он не перестает быть человеком. И для себя и для друзей. Для себя в особенности. Только он становится человеком озлобленным.

Вот так и Наташа Иванова, к которой я ездила в Бугульму. Ученицей четвертого класса она впервые убежала из дому. И из города. Убежала оттого, что все у нее шло кувырком: в школе двойки, дома крик. Она озлобилась и заострилась вся, как мой Толя Гришин, и чем хуже ей было, тем больших неприятностей от нее ждали. Она дерзила, прогуливала и только больше запутывалась. Она любила спорт. Но ее не брали в секцию, пока не исправит двойки. Она старалась исправить их поскорее, не понимая, а вызубривая типовые задачи. И получала новые двойки. Она возненавидела школу, где ей было трудно, учительницу, которая не захотела ей помочь, мать, ко-

торая не могла заменить учительницу и научить ее арифметике, ребят, которые охотно позорили ее на сборах за то, что она тащит класс назад. В конце концов и на нее нашлась добрая рука. У дяди и тетки в далеком селе, куда она убежала, Наташа пришла в себя. Остановилась в разрушительном беге, которому, казалось, нет конца. И стала просто хорошей девочкой.

Я слушала в своем купе милую, сентиментальную песню о первой учительнице и о прекрасных школьных деньках, а думала о Наташе Ивановой. И допытывалась у своей совести: может, и я грешна? Может, и от меня вот так же кто-то плакал, и меня так же ненавидел, и от меня хотел убежать на край света?

И почему вообще возможны такие острые, такие личные отношения к школе? Отчего рождаются они? От детской ли тяги к справедливости? К ласке? К добру? Или от другого? Ребенок приходит в школу в полной уверенности, что его здесь ждут, что ему тут рады. И он сам готов и любить, и радоваться, и считать себя здесь самым нужным и желанным. Ему нравится и то, что он школьник, и сама школа. Нравятся учителя, а уж своя учительница кажется самой лучшей, хотя бы потому, что она своя. И нужно очень стараться, чтобы разрушить это стихийное обаяние. Увы, нередко взрослым это удается.

Мы приручаем ребят к себе. А приручив, не всегда хотим за это отвечать. Помните, у Сент-Экзюпери в «Маленьком принце» есть такое место. Маленький принц и Лис расстаются. Принцу пора домой, на свою планету, к своему цветку.

— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты всегда в ответе за всех, кого приручил...

Когда я начинала работать в школе, я еще не слыхала о Сент-Экзюпери, не читала «Маленького принца» и не знала того прекрасного слова «приручить». Потом прочла, но решила, что это про любовь. Потом прочла еще раз и решила, что это про дружбу... Я много лет не понимала, что это про человеческие отношения вообще. И, конечно же, про школу.

Учителей, увы, не учат искусству приручать. А ведь это главное в педагогике. Я знала одного учителя, он гордо говорил: «А меня ученики не любят!»

Какая глупость!

Я хотела, чтобы меня любили. Да, теперь я спокойно могу сказать это. Каждый нормальный учитель, если только он намерен работать, а не сражаться с толпой бунтующих подростков, думает так же. За любовь надо платить — таков закон жизни. Платить своим временем, покоем, свободой, здоровьем.

Именно для этого одни ходят с ребятами в походы, другие организуют кружки, третьи дают блестящие уроки, четвертые — просто добрые и отзывчивые люди, пятые — ловчицы... Они норовят дешево отделаться: легко ставят хорошие отметки, мало спрашивают, многое прощают.

«Не бойтесь быть строгими. Строгих и справедливых ребята любят. Они сами народ справедливый», — говорила мне еще в первый год работы одна из самых опытных наших учительниц, Валентина Леонтьевна. Она была права.

Да, я хотела, чтобы со мной ребятам было и весело и интересно. Для этого возилась с кукольным театром. Для этого, надев на шею свисток, шла су-

дить матчи между футболистами моего класса, хотя еще вчера ничего в футболе не понимала. Для этого ежедневно по многу часов готовилась к урокам. Для этого! И еще потому, что иначе мне трудно было бы работать. И скучно. Потому, что вместе с ними веселилась, радовалась, узнавала новое, отдыхала и я.

И очень привыкала к ребятам. Они мне становились все нужнее и нужнее. Ребята не слюняи, в добром отношении не объясняются: просто мне с ними было хорошо, легко, значит, и я была им нужна.

Но дело не во мне. Дело в нас. Все мы, если только работаем как надо, с полной отдачей, приручаем к себе ребят. Всех. В том-то и загвоздка. Всех — значит, и любимых и нелюбимых. На этом, если хотите, и держится педагогика. То труднейшее искусство, которое в школах, интернатах, детских домах и даже в детских колониях горит, не сгорая, и в живом огне создает людей. На этом, если хотите, и держится колоссальная власть учителя над умами и душами всех ребят.

Прав Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». И еще он прав в том, что глазами самого главного не увидишь. Только сердцем.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ!..

Шестнадцать дней мы с десятиклассниками путешествовали по Псковщине. Мы глазели на старинные церкви и монастыри, плакали у могилы Пушкина, слушали рассказы бывших партизан и экскурсоводов... И нам было хорошо. На несколько дней мы засели в деревне Воробьево. В маленьком домике начальной школы у самой околицы мы ели, играли, спорили, иссорились и мирились, готовили концерт для деревни.

Концерт пришелся на воскресенье. Уже с утра на машинах, подводах и велосипедах в Воробьево потянулись крестьяне из пяти соседних деревень. Мы наглаживали брюки и выдавшие виды ковбойки, ребята еще и еще раз пели, ругали друг друга за плохой слух, как вдруг открылась дверь, и в комнату заглянул некто в бороде и со строгими глазами. Он осмотрел нас критически, погрозил пальцем и сказал: «Это вы артисты будете? Смотрите, народ ждет!» И удалился. В общем, за кулисами царил и восторг, и волнение, и даже ужас, как и полагается за кулисами.

Потом мы выступали. Читали стихи. Пели. Когда пели «Землянку» и другие песни про войну, в зале плакали. Здесь, в центре партизанского края, хорошо знали, что такое «до смерти четыре шага» и как чувствуют себя трое ребят, оставшихся в живых из восемнадцати.

Начались танцы, и мы потянулись к своему домику. Хотелось побыть одним, еще раз пережить успех, отдохнуть. Мы шли по деревне плечом к плечу, негромко пели, и на душе было тихо и светло. И чудилось: пусть и нас, как тех солдат, мало, но мы тоже дружные, мы тоже сильные, мы один за всех и все за одного. Была та высокая и чистая минута, когда веришь в людей и в себя.

Так мы и вошли в большой и пустой школьный двор. И уже дошли до середины, когда обнаружили, что перед домом молча, со злым сопением дрались двое пьяных.

Лично я пьяных боюсь. С детства.

И, естественно, моим первым побуждением было увести ребят от греха подальше. Но пьяная возня

отрезала нам путь к отступлению. Больше того, кто-то из двоих обернулся. Драка с новым ожесточением двинулась в нашу сторону. «Идите немедленно в школу!» — приказала я. Несколько мальчиков успели шмыгнуть за ворота, девочки побежали в дом. Оставшиеся мальчишки — за ними. Помню, кто-то еще задержался со мной на крылечке. Но я нахмурилась, и он закрыл за собой дверь. Моментально захлопнулись все четыре школьных окна. Я осталась на крыльце одна. Спереди — озверевшие от воды и драки мужики. Сзади — запертая изнутри дверь.

Вот и кончилась высокая минута, кончились друзья-однопольчане, кончилось «все за одного». Остался «один за всех». Весельчаки и остряки, мои семнадцатилетние красавцы-парни притихли за закрытой дверью. «Ну и ладно, — вздохнула я. — И нечего рисковать». Только зачем же они закрыли дверь за моей спиной? Я в нее все равно не вошла бы... Но одно дело — не вошла бы сама, и совсем другое — не смогла бы войти... Что ж, родители, доверившие мне жизнь своих детей, могли спать спокойно. Но я с той минуты покоя не знаю.

Почему они спрятались? Послушались или испугались?

Я не судила их страх, потому что сама боялась. Я судила их послушание, потому что нельзя, позорно бросать человека одного. Или я была для них не человек, а учительница? Существо без нервов и личных забот? Созданное лишь для их охраны и благополучия?

Меня бы никакая сила не сдвинула с места. С этого поста у двери. Не потому, что я храбрая. Я даже совсем не храбрая, когда я одна или с тем, кто сильнее меня. Нет.

Просто у меня есть Инка. Моя старая подруга Инка, которую давно все называют по имени-отчеству. В сорок пятом мы еще только подружились, работая тогда вожатыми в университетском пионерском лагере под Можайском. В ту ночь мы возвращались из Дорохова, закончив проверку маршрута будущего похода. Я, Инка и еще Юрка. Наш ровесник и тоже студент. Мы пристроились в тамбуре. Здесь было темно, но просторно. И мы громко радовались своей смелке. Радость кончилась скоро. Поезд еще не отошел от Дорохова, когда в наш тамбур влезли двое. Посветили зажигалкой, обнаружили нас, принялись на ощупь выяснять, чем мы богаты. Первым соскочил на землю Юрка. Вывернулся и выпрыгнул молча. Потом он объяснил, что боялся, как бы они не нащарили у него в кармане нож и не пустили его в ход.

Потом можно объяснить все.

Мы дрожали. Я — во всяком случае. И было отчего: один добирался до бокового кармана, вшитого в мой сарафан, где хранился комсомольский билет. Он вполне мог принять его за сверток с деньгами... Но Инка крепко держала меня за руку. И рука была спокойной, своей. В это время в темноте второй наткнулся на полевую сумку, в которой Инка хранила железнодорожные билеты и карту маршрута. «Эй, друг, кончай, — крикнул он приятелю, — это коздуктор!». Тогда Инка сказала: «Вот именно». Сказала и вытолкнула меня на землю. И только потом спокойно сошла сама.

В соседнем вагоне Юрка радостно махал нам рукой — он занял места. Мы плюхнулись рядом с ним и долго с облегчением смеялись. Так в первый раз в жизни я увидела рядом трусость и смелость, спину и руку.

Да, у меня в жизни не раз были люди, которые, когда понадобилось, помогли, заслонили меня. И теперь я уже не смела, не могла, поступать иначе. Может быть, у ребят просто нет опыта?



Хотя что значит нет? А вот сейчас, сидя взаперти в доме и оставив меня здесь, разве они не получают свой опыт, факт в своей биографии, штрих в своем характере? И все это не со знаком плюс.

Я стояла на крыльце недолго. Ну, может, минут пять. Потом во двор вбежали какие-то мужчины и наш сосед дядя Андрей. Они разняли и увели драчунов. Мы с дядей Андреем присели на ступеньки. Он закурил, оглядел пустое крыльцо.

— А где же все?

— Там, — показала я на дверь. — Все-таки дети.

— Прямо, дети, — усмехнулся дядя Андрей. Его детство кончилось в двенадцать лет в партизанском отряде.

— Я за них отвечаю. Мне так спокойнее.

— Оно, конечно. Чужие все ж таки. — Вот как он думал.

Но я-то думала иначе. В том-то и дело, в том-то и боль, что они мне свои, — вот так думала я.

Так почему же никто из них не встал рядом? Не хватило смелости? Или просто не сработал инстинкт порядочности? Но, по-моему, такого инстинкта нет. Инстинктивна как раз трусость. Преодоление ее — акт сознательности. И я всегда тряслась над ними, как клуша. А с клушей отношения простые — раз-два и под крыло. Но ведь я люблю их. Всех, кого учила. И потому, что люблю, я отвечаю за них за всех. И за все. И за то, в частности, что мои мальчишки, пусть не все, не многие, но в какую-то непростую минуту оказались — больно сказать — трусами.

Я отвечаю за всех. Особенно за этих самых младших последних. Потому, что мои первые успели быть товарищами. Еще в школе. И потом тоже.

...Помню свой первый открытый урок в шестом классе. На дополнительных стульях уселся человек двенадцать учителей. Я умираю от страха. Ребята отвечают бойко. Руки так и взлетают вверх. Что-то уж слишком легко и слишком дружно взлетают. Я обвожу взглядом класс: кого бы спросить? Учителя сзади видят меня, видят подстриженные затылки и поднятые руки — сигнал готовности в ответу. А я-то вижу лица ребят. И обвожу взглядом класс: кого бы спросить?.. Юру Шустова? Вот молодец, вот умица, лодырь из лодырей, а выучил, понял. Я уже готова вызвать его... Юра сидит по-прежнему ровно, и рука поднята высоко, но глаза... Смотрит с тревогой... Я спросила кого-то другого. Потом учителя восхищались ребятами: вот это активность!

На перемене я случайно услышала разговор:

— Ты чего руку тянул? Выучил, что ли, сегодня?

— Да нет.— Узнаю Юрин голос.— Это я нарочно, для комиссии. Пусть думают, что у нас все отвечать могут.

— А если б спросили?..

Юра пробормотал что-то неопределенное.

Ясно, они, ребята, хотели мне помочь. Навивно, правда, но...

Им было в то время по двенадцать лет.

А когда им было тридцать, мне сделали операцию, и я должна была десять дней молчать. И опять мне помогли ребята. Игорь Лебедев бросил все свои дела, отвез меня на своем «Москвиче» за город, в дом отдыха, договорился об отдельной комнате, напугал всех, чтобы со мной не разговаривали, а через десять дней привез меня домой. И всю дорогу уговаривал: «Да вы помолчите. Я вам сам что-нибудь расскажу».

В десятом классе я загубила ему золотую медаль, поставив четверку по литературе за многословие.

А последние мои — те не такие. Хорошие ребята, но не товарищи, а дети. Хорошие, но... все-таки маленькые.

И страх за них все время сидит в моей душе. Тем более, что после того похода было еще и собрание. Обыкновенное отчетно-выборное комсомольское собрание. Комитет отчитывался, рядовые шептались, поглядывая на часы. Комитет подобрался неудачный, весь год едва-едва дышал, и секретарь, Надя, из нашего класса, работала не ахти. Она бы и хотела лучше, да не могла: не всем дано быть руководителями.

Прения выдохались на втором выступающем: о чем было «преть», когда работы не было? И тогда слово взял наш директор. Любопытный он был человек, наш директор. На оценки решителен, на слово скор. Грамматика, литература, считал он, — предметы конечно, полезные, но только умение определиться по звездам, выйти по азимуту и снарядить байдарку делает учителя человеком. И ученика, конечно, тоже. А ему очень хотелось видеть всех нас людьми.

Вот он взял слово и сказал, что равнодушие — наш главный враг, что еще Бруно Ясенский предупреждал: «Бойся равнодушных: они не убивают и не предадут, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство», — и что вот Надя — очень равнодушный человек. Он кончил. Ребята захлопали. Надя оцепенела. Ни одна из подруг, ни один из двадцати восьми моих учеников не встали, не возразили директору.

Они сидели, и с их молчаливого согласия человека без вины виноватили, с их молчаливого согласия кому-то не хотелось жить. А потом они встали и разбежались по домам. И не услышали в великих словах Ясенского ни звука о себе!

Слушали и осторожно при этом думали, что директору неудобно возражать.

Они еще не знали, что возражать надо каждому, кто говорит неправду. И поправлять надо каждого, кто ошибается в своем суждении о человеке. Тем более, если ты этого человека хорошо знаешь.

Когда же, в каких чрезвычайных обстоятельствах они это поймут? Поймут, что молчаливым согласием мы решаем судьбу человека? Ну, пусть не обязательно судьбу. Пусть просто доверие к товарищам, быть ему или нет. А как же нам жить, не доверяя близким, не зная, что за спиной? Мы ведь не пустынные! И пусть я потом им все это разъяснила, но ведь они снова прошли через свой опыт. Через свое молчание. И это снова было очко не в их пользу. И не в мою.

Вот ведь как, а ребята хорошие. И спортсмены все как один, то есть именно люди, если верить нашему директору, как это поется в хорошей тоже песне. Кажется, так:

В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей.

Мои играли. И в хоккей, и в футбол, и в баскетбол. И по лыжам первые места занимали. Но, увы, это личной, так сказать, индивидуальной храбрости им не прибавило. Я говорю не о смелости вратаря. Я говорю о самой трудной и высокой смелости. Нравственной.

Хотя... может быть, это и не трусость? А просто привычка быть младшим? Долго-долго оставаться в этой завидной роли? И дома, и в школе, и в обществе?..

Даже, наверное, это так. И тогда это не вина их, а беда. А вина наша. И моя в том числе.

Да, у меня был жизненный опыт. А у них его почти не было. Да и от того небольшого, что было, я их оберегала.

— Зря вы в нас сомневаетесь, — возразил мне там, на Псковщине, один из моих мальчиков. — Вы нас в деле не видели. В минуту серьезной опасности.

— Не хотела бы я быть с вами в минуту серьезной опасности...

Я сказала тогда так зло и резко с досады. А теперь вот думаю об этом хотя и несколько спокойнее, но с той же степенью досады.

Конечно, учитель в самые трудные минуты, оберегая ребят, обязан сделать свой шаг вперед, закрыть их собой. Но нет ли у нас кое в чем перебора? Ведь им уже по семнадцать.

Что же до «серьезной минуты», когда понадобится стать героем... В ожидании подвига может пройти вся жизнь. И пройти не лучшим образом. Подвиг — дело чрезвычайное. В обычной жизни всегда есть место порядочности. Может быть, это в ней и самое трудное.



РАЗГОВОР С МАЙЕЙ ПЛИСЕЦКОЙ

*Майя Плисецкая
выражает своим искусством
ритмы, мысли и чувства
нашего времени.
Ее называют самой
современной балериной мира.
Личность, жизнь, творчество
художника неразделимы.
Что думает Майя Плисецкая о людях,
с которыми ее сталкивала судьба?
О своем труде? О разных вещах,
которые, казалось бы, имеют весьма
отдаленное отношение к балету?
Сегодня на эти и другие вопросы
народная артистка СССР,
лауреат Ленинской премии
Майя Михайловна Плисецкая
отвечает корреспонденту «Юности».*

— Приходилось ли вам преодолевать обстоятельства и себя, чтобы стать Майей Плисецкой?

ПЛИСЕЦКАЯ. Жизнь вообще не бывает без сложностей, и театр в том числе не исключение... Конечно, мне не было легко. Когда я пришла в Большой театр, молодежи было очень трудно. Только на шестой сезон мне, например, удалось станцевать в «Лебедином озере»...

— Когда к вам пришел зрелый взгляд на искусство балета и на себя в нем?

ПЛИСЕЦКАЯ. Не знаю, пришел ли... Сегодня мне нравится одно, завтра другое. И взгляды и вкусы меняются. Это не беспринципность. Есть хорошая латинская поговорка: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». В отношении себя я сплошь и рядом сталкиваюсь с этим. Та же «Кармен-сюита» десять лет назад мне бы не очень понравилась, а быть может, даже совсем не понравилась. Потому что я бы не поняла. Только поэтому! Не то, чтобы я много стала понимать теперь, но больше... А этого уже достаточно, чтобы уяснить какие-то важные вещи...

— Это касается только балета?

ПЛИСЕЦКАЯ. Нет. Я его не отделяю от других видов искусства.

— Можете ли вы сказать, что в вашей жизни был балетмейстер, который сделал для вас то же, что Михаил Фокин для Анны Павловой?

ПЛИСЕЦКАЯ. Мне было интересно работать с теми балетмейстерами, с которыми я встречалась. К сожалению, со многими замечательными хореографами я так и не встретила. Но из тех, с кем мне пришлось работать, я могу назвать Алонсо, Якобсона, Голейзовского, Григоровича, Моисеева. Моим первым балетмейстером был Якобсон. Он меня занял, когда я первый год училась в школе Большого театра. В миниатюре, которая называлась «Конференция по разоружению», я изображала китаец. Хохот стоял невероятный, когда я выходила, но я совершенно не помню, что делала. Я была очень маленькая, вся могла упрятаться под стул, это было несложно, но я не помню, почему это было так смешно. За полгода до войны я снова встретила с Якобсоном, и он поставил для меня изумительный номер на музыку Экспромта Чайковского «Два сатира и нимфа». Жена Голейзовского, Вера Васильевна, наша балерина, как-то сказала мне, что никогда в жизни я ей не нравилась больше, чем тогда в этом номере, в четырнадцать лет. Потом я работала с Якобсоном над балетом «Шура-ле», а в 1962 году — над второй постановкой «Спартак». В общем, через всю мою жизнь прошли встречи с этим замечательным балетмейстером, и всегда меня поражало, что он ни на кого не похож. Всегда интересно было с ним работать. И не только работать, но смотреть все, что он делает. Вот недавно в Ленинграде я была на репетициях нового балетного коллектива, созданного Якобсоном. В течение года Якобсон поставил там хореографические миниатюры на пять часов музыки — от Моцарта до Шостаковича!.. Все его предыдущие постановки всегда были полны нового, но сейчас он словно обрел второе дыхание, совершенно поразительный взлет творческой фантазии...

Потом Голейзовский... Недавно мы похоронили Касьяна Ярославича в Поленове, как он просил... У Голейзовского была настолько сильная индивидуальность, что танцовщик всегда был подчинен его влиянию. Он мог и для кордебалетного артиста по-

Фото А. Макарова.

ставить замечательный номер, в котором тот смотрелся как солист.

Голейзовский вообще сказал много нового в балетном искусстве. Теперь это забыли и думают, что так существовало всегда. Знаменитые на весь мир «герлы» — это выдумал Голейзовский. «Переплетение тел» в танце началось с Голейзовского. Он во многом отошел от канонной классики. Известный американский хореограф Джордж Баланчин в своих записках пишет, что он очень многое взял от Голейзовского, и называет его «балетмейстером века»... Но как ни интересно мне было работать с Касьяном Ярославичем, у меня, к сожалению, ничего хорошего не получилось. Однажды он сделал мне целиком вечер, который вышел неудачным. Вероятно, надо было больше работать, может быть, я не подчинилась ему достаточно. В общем, не вышло. Или я была слишком мслода, неопытна, всего пятый сезон в театре... Потом, спустя много лет, мы снова встретились, и снова неудачно. Верно, «нашла коса на камень». Очевидно, каждый из нас «тянул» на свою индивидуальность... Кстати, в работе с Якобсоном у меня подобных ситуаций не было. Наоборот, если я ему подчинялась, получалось то, что надо.

Затем я работала с Григоровичем. Танцевала премьеры в трех его первых спектаклях, которые он ставил в Большом театре, — в «Каменном цветке», «Спящей красавице», «Легенде о любви». Я участвую и в последней его редакции «Лебединого озера». К сожалению, не танцевала премьеру, потому что лежала с разорванной икрой... В «Легенде о любви» с огромным трепетом работала над ролью Мехмене-Бану. На мой взгляд, среди великих женщин мировой литературы это самый сильный образ. Джульетта, Франческа да Римини, Жанна д'Арк — все отдали жизнь, но ни одна — красоту. И, наконец, Альберто Алонсо, единственный на свете, который специально для меня поставил балет. Поэтому на ваш вопрос о балетмейстере, который сделал бы для меня то же, что Фокин для Анны Павловой, я могу ответить: Алонсо. Он сделал для меня Кармен.

— *Майя Михайловна, а какая разница между тем, что танцует премьеру в первом составе, и тем, когда балет ставят специально на артиста?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Дело в том, что, когда балетмейстер придумывает танец, сочетание движений, па, он имеет в виду танцовщика или танцовщицу, на которую он это делает. У него в голове этот танцовщик, его возможности, его данные. Когда он с этим придуманным приходит на репетицию и показывает, то в зависимости от того, как танцовщик его понял, так это и остается. И это уже эталон. Часто балетмейстер предлагает разные варианты танца, и балерина, на которую он ставит, выбирает сама идущие ей па и те, которые у нее лучше получаются. Так танец остается навсегда. А другие варианты забываются и больше не существуют. Если же балетмейстер приходит на репетицию с танцем, поставленным для другого, то артисту остается лишь это принять — тут его творчество ограничивается, какой бы индивидуальностью он ни обладал. Участь исполнителя целиком зависит от создателя.

— *Скажите, пожалуйста, кто все-таки имел решающее значение для вашего профессионального развития?*

ПЛИСЕЦКАЯ. На разных этапах — разные люди. Я не могу назвать кого-то одного. Если бы я училась у Вагановой, я бы могла сказать, что она. Это была гениальная женщина. На ее ученицах и на ученицах ее учениц и держится, по сути, слава

русского балета. Самые лучшие балерины — Семенова, Уланова, Шелест, Дудинская, Колпакова — все ученицы Вагановой. Я почти всю жизнь занимаюсь у Асафа Мессерера. Это замечательный педагог, который выпустил лучших наших танцовщиков-мужчин. Его класс — это настоящая школа для танцовщика. Но он почти не делает замечаний. Если б он стал делать замечания, то его урок должен был бы длиться не менее трех часов. Дело в том, что если в обыкновенном классе должно заниматься не более двадцати человек, то у Асафа Михайловича их чуть не шестьдесят, а иногда и больше. Так что он практически лишен возможности делать замечания, а урок длится всего час... А в нашем деле чрезвычайно важно получать замечания в каждом па... Я, можно сказать, всю жизнь прожила без замечаний. А для балерины это почти катастрофично.

— *Как же вы тогда стали тем, кем стали?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Я училась на кино. Меня много снимал для хроники оператор Хавчин, и потом я ходила смотреть. Я видела огромное количество недостатков. Все, что было плохо, я исправляла сама. Счастье мое было в том, что я на себя смотрела не влюбленными глазами, но с ужасом. Поэтому я в состоянии была исправлять. Я вообще не привыкала к чему-то раз и навсегда. Мне интересно разное. Мне скучно делать одно и то же. Вот пример. Когда режиссер Василий Катанян делал обо мне фильм на студии кинохроники, то ему было чрезвычайно трудно монтировать, так как все спектакли «Лебединого озера» (в частности) были разные. Подчас из-за этого приходилось брать не лучшие куски, а те, что поддавались монтажу. Катанян мне говорил: «Умоляю, станьте хотя бы одно место два раза одинаково!» Но я, к сожалению, забывала, как танцевала в прошлый раз...

— *Вам знакомо чувство сомнений в себе, кризиса, и как вы его преодолеваете?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Не могу сказать, чтобы у меня были какие-то особенные кризисы. Но сомнения и неуверенность бесконечны. Они рассеиваются только после спектакля, если он прошел удачно. А потом все сначала... Вот, например, может быть, это условный рефлекс. Я всю жизнь танцую «Лебединое озеро», и всю жизнь за восемь тактов до моего выхода в па-де-де Одиллии меня подташнивает... Волнение, неуверенность... Потому что каждый спектакль — это всегда громадный риск, и никогда нет полной гарантии успеха. Многое зависит от тебя, но далеко не все. Скажем, скользкий пол, неудобные туфли, неудачный темп, который дает дирижер (а он тоже нервничает!). Или вдруг «не удержит» партнер... И так далее, и так далее, и так далее...

— *Могут банальные и разгражающие детали, неизбежные в жизни, повлиять на ваше выступление?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Банальные не могут, а серьезные — да.

— *И вы можете выступить ниже своих возможностей?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Могу. Например, плохо разогреться — значит, плохо себя подготовить. С разогревом вообще страшная вещь! Я много раз срывала ноги из-за того, что ленилась греться. Думала, ничего, обойдется... Нет, не обходится! Потом, дирижер играет колоссальную роль. Плохо, когда дирижер сыграет вдруг не тот темп. Или просто нервно играет. Талант дирижера — это то же «чуть-чуть», о котором говорил Толстой. А в балете это «чуть-чуть» — величайшая вещь. Даже вздох имеет значение... Вот вздохнул — приготовился, не вздохнул — опоздал! Когда Файер дирижировал, он мне говорил: «Не надо репетировать. Ты вышла — и я уже знаю,

— как ты будешь танцевать». По тому, как вышла, как встала, он уже знает. А вообще балетных дирижеров по большому счету очень мало. У меня был любопытный случай с Головановым. Я танцевала у него в «Хованщине» Персидку. Там было одно место, где всегда у меня мороз по коже. Всегда я чувствую, бегает мурашки... А я думала: ведь музыка написана у Мусоргского, она в нотах у всех музыкантов, а дирижер только дает темп. И вот, когда однажды Голованов заболел, за пульт встал другой дирижер. Сначала я вышла, и мне показалось, что что-то там не то... Потом, когда дело дошло до того места, где мурашки, была точно та музыка, точно тот темп — мурашек не было! Это был момент, когда я поняла, что такое дирижер. Все то же самое — и все не так...

— *Майя Михайловна, вы бываете довольны собой после спектакля?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Весьма редко.

— *А как вы проводите день перед спектаклем?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Этот день внешне самый спокойный и в то же время день самых больших волнений, о которых никто не догадывается. Утром я иду в класс. Потом приготавливаю туфли. Хотя они приготовлены заранее, но всегда нога немножко меняется. Потом иду домой, собираю грим, уборы. Специально днем я не отдыхаю никогда. Я не знаю, кто еще из балерин не отдыхает перед спектаклем. Но это уже дело привычки. У меня это с детства.

— *Среди серьезных людей порой бытует мнение, что вот в балете не нужно думать, что там только совершенство тела, только техника. Что бы вы им ответили?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Не думать, конечно, можно. Но это, к сожалению, очень заметно на сцене. Здорово видно. Видно, представьте, даже по движению... В жизни смолчишь — за умного сойдешь. А сцена разоблачает. Существует балетная поговорка: «При свете рампы все выясняется».

— *Пикассо говорил о себе: «Я не пишу с натуры, я пишу при помощи натуры». И еще: «Я изображаю мир не таким, каким его вижу, а таким, каким его мыслю». Майя Михайловна, как, по-вашему, можно эти слова отнести к вашей Кармен?*

ПЛИСЕЦКАЯ. В «Кармен» все — мысль! В том, что поставил Алонсо, все осмысленно, как ни в одном другом балете. Потому что, в классических балетах есть большие классические танцы «как бы ни про что». Например, большое классическое па из «Раймонды», па-де-де из «Дон Кихота», па-де-де из «Спящей красавицы» — все это просто красивый танец. В каждом классическом балете, кроме сюжета, есть такие па-де-де, дивертисменты, чтобы танцовщики могли показать свою виртуозность в технике. В «Кармен» же все играет только на содержание. В «Кармен» нет ни одного па, ни одного жеста, ни одного взгляда «просто так». Здесь абсолютно отсутствует дивертисментность...

— *Если не ошибаюсь, у вашей Кармен было довольно много отрицателей?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Да, отрицателей действительно было много. Одни искренне не поняли Кармен, это было для них слишком непривычно. Они, может быть, ждали, что «Кармен-сюита» будет «а ля Дон Кихот», и вдруг увидели все наоборот. Но у «Кармен» есть одна особенность: те, кому абсолютно не понравилось, обязательно пошли на спектакль еще раз. И обязательно пошли в третий, и в четвертый, и в пятый... Некоторые поняли со второго раза, другие с пятого, но все-таки поняли. Конечно, мы тоже росли от спектакля к спектаклю. Допустим, те первые две премьеры, которые снял оператор Алдо-

хин, — это было просто плохо. То, что снял Хавчин — третий, четвертый, пятый спектакли и т. д., — было чуть-чуть лучше. То, что у Дербенева в фильме «Балерина», — это уже хорошо. А сейчас мы танцуем лучше, потому что мы увидели еще недостатки. Наша последняя «Кармен» в театре была, наверное, вообще самая лучшая. Ну, а те люди, которые в силу разных вкусов не приняли спектакль, они не принимают его и сейчас. Такой художник, как Шостакович, например, был в восторге сразу. Покойный Василий Осипович Топорков видел «Кармен» двадцать раз, и он говорил своим ученикам, чтобы они учились на «Кармен» современному искусству. А в свои восемьдесят лет он многое видел! Он еще с Нижинским учился за одной партой.

— *Что вам помогло победить?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Убежденность в своей правоте. Я абсолютно не упряма, я очень легко уступаю, когда не права. Для меня это не проблема. Но в «Кармен» я была убеждена так, как никогда в жизни. Как это действует!

— *Майя Михайловна, вы принимаете близко к сердцу то, что о вас говорят и пишут? И вообще кто для вас судья — критика, пресса, люди, чьим мнением вы дорожите, или вы сами, и только сами?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Помните, в «Зеленых холмах Африки» Хемингуэй ведет разговор на эту тему с Кандисским? Там есть несколько страниц о критиках, о том, что такое хороший писатель и что его может погубить. Прочтите их. Я бы на ваши два вопроса ответила этими страницами Хемингуэя, потому что они относятся не только к писателям, но к людям искусства вообще.

— *Майя Михайловна, что вас поддерживает в трудные минуты?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Всегда есть какие-то толчки, наталкивания на выход из безвыходных ситуаций... Другое дело, что мы не прислушиваемся к своему внутреннему голосу и делаем глупости в общем-то. Но что-то есть... У каждого человека свой голос... Я думаю, это разновидность вдохновения...

— *У художников принято давать друг другу и брать друг у друга. Что, по-вашему, дал искусству балета мировой кинематограф?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Кинематограф дал балету монтаж. В «Кармен-сюите» за сорок минут рассказана вся жизнь. Альберто Алонсо, написавший либретто балета, ничего не упустил, но он ликвидировал подробности, атрибутичность. Это дал монтаж.

— *Монтаж использован и в балете «Собор Парижской богоматери» Ролана Пети, который мы видели во время последних гастролей «Гранд опера» в Москве. Сами французы писали, что Эсмеральда лишилась своих монист и козочки, Феб — плюмажа и шпаги, и даже Квазимодо потерял горб. Фантазия, безумие, страсть — все передано посредством танцующих тел.*

ПЛИСЕЦКАЯ. А представьте, оба балета сделаны в разных странах в разные годы. Никто ни у кого не заимствовал, а вот похоже. Значит, таким балетам пришло время. И как бы кто-то ни сопротивлялся, это существует. Ошибаются люди, но время никогда не ошибается.

— *Если балет, как всякое искусство, — это способ общения с современниками, то что вы стремитесь им сказать? В чем ваша главная мысль?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Радость бытия! Я хочу сказать, что жизнь прекрасна.

— *Что вас в жизни всегда радует?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Солнце, хорошая погода, желтые цветы, запах леса после дождя, найденный



гриб, теплые валенки, огонь в камине... Наконец, встреча с талантом! Это то, что радует всегда. Талантов так мало!

— *Майя Михайловна, можно сказать, что вы на сто процентов подчинили себя искусству. А не хотелось ли вам в иные мгновения быть просто женщиной, готовить обед, существовать целиком в своей природе?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Нет. Мне это неинтересно. Для меня это великое слово — «интересно».

— *Достоевский говорил: «Надо больше страдать, тогда лучше будешь писать». Можно ли отнести это и к балету?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Я предпочитаю читать о муках у Достоевского, чем переживать их сама. А жизнь все равно научит. Жизнь никогда и ни у кого не была гладкой.

— *Как вы определяете свой склад характера?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Спонтанный...

— *Что вам нравится в людях?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Ум, темперамент, вкус, красота. — *Что вы больше всего цените в человеке?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Порядочность. Честность.

— *Чем вы любите заниматься в свободное время?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Специально ничем. Я очень люблю спорт, коньки, лыжи, но не смею себе этого позволить. До семи лет я каталась на лыжах на Шпицбергене, где тогда жили мои родители. Каталась с самых отвесных гор, люди с них видны были, как точки. От всего этого пришлось отказаться, как только поступила в балетную школу.

— *А как вы отдыхаете?*

ПЛИСЕЦКАЯ. В общем, не отдыхаю. Это очень плохо, но это так. Штетсель всегда включен, я никогда не отключаюсь.

— *Чего вы в людях боитесь как огня?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Вероломства.

— *Как вы относитесь к людям, которые причинили вам зло?*

ПЛИСЕЦКАЯ. К великому сожалению, я не злопамятна. Я просто забываю. Но есть люди, по отношению к которым этого делать нельзя.

— *Теперь все что-нибудь коллекционируют. А вы?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Я коллекционирую смешные фамилии.

— *Ваше любимое время года, суток?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Лето. И полдень. Когда тепло, всегда хорошо ногам, мышцам. На Кубе ни у кого нет травм, они все танцуют долго и много, потому что всегда тепло. Очень люблю тепло. И хотя я родилась в Москве, до сих пор не могу привыкнуть к холоду. Поэтому я люблю лето и люблю полдень.

— *Кто ваша любимая актриса?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Софи Лорен.

— *Спортсмен?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Пеле.

— *Как вы относитесь к цирку?*

ПЛИСЕЦКАЯ. С огромным уважением. Работы, которые не смеют позволить себе ошибки.

— *Кто ваш любимый художник?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Рембрандт. Прошлой зимой я была на его выставке в Эрмитаже, которая снова меня абсолютно потрясла. Как он ушел от бюргеров! Он мог принимать заказы, быть богатым человеком, а вместо этого он писал, как велел ему гений...

— *Майя Михайловна, что вам, как человеку, да-*

ет музыкальная классика, современная музыка, джаз?

ПЛИСЕЦКАЯ. Классика дает мне умиротворение. Современная музыка — пищу для ума, анализа, обобщений. Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Шедрин много сказали о нашем времени. Ну, а джаз — это как хорошие обои или духи...

— *Какое ваше любимое изречение?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Изречений прекрасных много, но я часто вспоминаю одну пушкинскую строчку из «Бахчисарайского фонтана»: «незнанья жалкая вина». Брошенная невзначай великим человеком, эта строка поразила меня. Я ее заметила и открыла для себя ее мудрость. И часто отношу ее к себе и к другим...

— *В одном из интервью вы сказали, что хотели бы танцевать Гоголя. Почему?*

ПЛИСЕЦКАЯ. В Гоголе меня привлекает романтизм и фантастика. Все, что он написал, можно танцевать. Какие дивные образы в «Женитьбе»! А «Нос»? А «Шинель»? Это просто гениальный балет для мужчины.

— *Какой архитектурный образ произвел на вас самое сильное впечатление?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Пирамида Хеопса.

— *Какой стиль одежды вы предпочитаете?*

ПЛИСЕЦКАЯ. То, что модно, то красиво.

— *Приходилось ли вам видеть бой быков? И какое это на вас произвело впечатление?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Да, я видела корриду в Ниме. Это маленький городок на юге Франции, на границе с Испанией. В тот день выступали шесть молодых тореро, ученики знаменитого Домингина. Коррида происходила в настоящем коллизе, которому две тысячи лет. Бой быков меня потряс и ужаснул. Это феноменально по смелости. И, наверное, никто, кроме испанцев, на это больше не способен. Риск у них в крови. У тореро профессия — поединок со смертью. А публика злая, требует особенно опасных моментов... Жалко тореро, жалко быка, несчастное животное обливается кровью. За что?..

— *Майя Михайловна, вернемся снова к балету. Можете ли вы сказать, что полностью выразили себя в танце как личность?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Да. Но мне хотелось бы, чтобы балет был со словами. Я хотела бы станцевать Анну Каренину; и в этом же спектакле сыграть что-то драматически. В будущем балет, видимо, будет синтезом слов и танца. Я так думаю. Я, конечно, не предсказатель, но мне кажется, к этому все идет.

— *А если бы вы не были балериной, кем бы вы хотели стать?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Я пошла бы в драму. В свое время Рубен Симонов переманивал меня в свой театр, но балет победил.

— *И последний вопрос. Как вы думаете, могла ли возникнуть фигура Майи Плисецкой, например, в двадцатые годы, в тридцатые?*

ПЛИСЕЦКАЯ. Да. Но я была бы совсем другая. Какая? Другая...

Интервью вела Рена ШЕЙКО



ОТ АВТОРА

Эта статья — древняя. Между нею и современным читателем прошло две революции и две мировые войны. Написана она еще при жизни Льва Толстого одним молодым человеком.

Этим молодым человеком был я. С тех пор она ни разу не попадалась мне на глаза, и я совершенно забыл бы ее, если бы мне не напомнила о ней книга Валентина Булгакова «Л. Н. Толстой в последний год его жизни».

Там я с удивлением прочел, что в августе 1910 года В. Г. Короленко, гостивший в Ясной Поляне, беседовал с Львом Николаевичем именно об этой статье.

« — Один молодой критик, — сказал Короленко Толстому, — говорит, что (...) у вас нет типов. Я с этим, конечно, не согласен (...), но кое-что есть в этом и правды».

В комментариях к этим словам сказано, что «речь идет о статье К. Чуковского «Толстой как художественный гений» (см. Литературные приложения к «Ниве», 1908, № 9)».

Я разыскал старинную статью и прочел ее с живейшим интересом, как новую.

Вся она ушла из моей памяти, но я не мог не вспомнить ту дрожь молодого восторга, с которой я писал эти страницы. Здесь много незрелого, много наивного, те же мысли и чувства я изложил бы в настоящее время иначе, но в теперешней моей — стариковской — статье уже не было бы того сердцебиения молодости, какое чувствуется в каждом слове этого юношеского гимна Толстому...

* С тех пор статья не перепечатывалась (Ред.).



КОРНЕЙ
ЧУКОВСКИЙ

Толстой как художест- венный гений

1

Толстой не изображает людей, он преображается в них. Он поселится сперва в одном каком-нибудь своем персонаже — проживет в нем несколько дней, посмотрит его глазами, походит его походкой, подумает его мыслями, потом переселяется в другого и снова живет там, сколько ему нужно, а из другого — в третьего, а из третьего — в четвертого. Его «Война и мир» и «Анна Каренина» — это великое переселение художника во множество человеческих тел. То он переходит в Москву и там надолго поселяется в круглом, неуклюжем, задумчивом Пьере, то переносится в Лысые горы, — и вот он — княжна Болконская; то переносится в австрийскую деревню Зальценен — и вот он юнкер Николай Ростов. А потом отправляется куда-нибудь в Ольмюц — на минутку сделаться Кутузовым, а потом обратно в Москву, чтобы на много месяцев превратиться в Наташу, и т. д.

Возьмите хотя бы второй том «Войны и мира». В первой главе Николай Ростов возвращается из похода домой, и Толстой, как будто описывая Ростова со стороны, заставляет читателя на все смотреть, как смотрит Николай Ростов, ощущать все, как ощущает Николай Ростов, понимать все, как понимает Николай Ростов, — словом, заставляет нас воспринимать все окружающие вещи сквозь душу Николая Ростова.

В четвертой главе появляется Пьер. И опять-таки, хотя он появляется как посторонний, но Толстой

Вверху слева — К. И. Чуковский. Снимок начала 900-х годов. Печатается впервые.

тотчас же начинает просеивать все события сквозь душу Пьера. И все события тотчас же получают для читателя окраску этой души.

В седьмой главе появляется старый князь Болконский, и тотчас же мир, преломляясь в его личности, начинает и для нас окрашиваться этой личностью.

В одиннадцатой главе мы ощущаем мир, как Наташа Ростова, и весь мир для нас окрашен ею.

И так дальше.

Чтобы изобразить человека, Толстой изображает его мир.

И здесь главнейшая особенность творческого гения Толстого.

Он создал не только множество людей, но и множество миров. Он как бы предоставил каждому своему персонажу его собственную вселенную: Вронскому свою, Болконскому свою, Облонскому свою, — а потом повел нас из одной вселенной в другую и этим навеки сроднил нас с каждым из созданных им людей.

Каждая человеческая личность, поскольку она воспринимает мир, является неизбежно для самой себя центром этого мира. Сколько людей, столько и мировых центров. Подобно тому, как —

Путник посредине луга,
Куда бы он ни кинул взор,
Всегда пребудет в центре круга,
И будет замкнут кругозор.

подобно этому и каждый человек из всех миллиардов и миллиардов людей является для своего сознания той точкой, где сходятся все радиусы мира.

И только один Толстой в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» вслед за жизнью сумел воспроизвести это множество центров в одном круге: когда он ведет нас к Пьеру, Пьер делается центром мира и претворяет весь мир в свои, Пьеровы, ощущения, а когда он ведет нас к Левину, центром мира тотчас же делается Левин и точно так же претворяет его в свои ощущения.

И нет у него ни одного человека, который бы не был окружен, как Земля атмосферой, своим собственным миром.

2

И потому, когда читаешь Толстого, кажется, — как это ни дико, — что все другие писатели искажали для нас правду жизни.

Они изображали человека так, как будто все его качества и свойства даны раз навсегда, и им, писателям, будто бы нужно только перечислить эти определенные качества и свойства, чтобы человек был изображен.

Об этом мы читаем у Толстого в «Воскресении»: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый».

И эту неправду поневоле говорили нам все писатели, великие и невеликие, изображавшие человека

как вместилище тех или иных определенных свойств.

Они говорили: Пяшкин — скуп. Хлестаков — легкомыслен. Обломов — лентяй. Рудин — лишний человек. Печорин — герой нашего (такого-то) времени.

И дивная сила великих талантов шла на то, чтобы как можно лучше обнаружить пред читателем эти свойства их героев.

Толстой первый понял, что, кроме всяких свойств, у человеческой личности есть как бы своя душевная мелодия, которую каждый из нас носит повсюду за собою, и что если мы захотим изобразить человека и изобразим его свойства, а этой душевной мелодии не изобразим, — то изображение наше будет ложь и клевета.

Какие свойства у Пьера? Какие свойства у Анны Карениной? Какие свойства у князя Болконского?

Не знаю. Не могу ответить. Предо мною нет свойств, предо мною живые люди. И когда какой-нибудь специалист российской словесности по привычке с обычным аршином подходит и к ним и начинает давать им определение в таком приблизительно виде:

«Старый князь Болконский большой барин, с капризами и причудами екатерининского магната, вместе с тем человек очень умный, по тому времени широко образованный, сильный характер, с большим честолюбием и властолюбием, смягченными душевной порядочностью, чувством чести и собственного достоинства» —

или:

«Пьер получил хорошее, по тому времени, образование. Он — человек с большой умственной восприимчивостью и, при склонности к рассеянной жизни и кутежам, отличается способностью к напряженной внутренней жизни, к самоуглублению. Это добрый малый, большой ребенок, умный и наивный» и т. д., и т. д., и т. д.

— когда читаешь все подобные упражнения, становится очень грустно. Если бы заполнить такими определениями десятки и сотни страниц, так и то не передать бы одного волоска на голове у Пьера, а не то что всего этого Пьера, которого каждый из нас безо всяких определений ощущает, как самого себя.

Свое собственное Я мы всегда ощущаем без всяких свойств, и все персонажи Толстого до такой степени претворены в нас самих, что мы, ощущая их, как самих себя, ни словом не умеем определить их.

Анна Каренина — глупа она или умна? Скупа или щедра? Добра или зла? А Вронский? А Китти? А Николай Ростов? А князь Андрей?

Герои Толстого неопределимы. Определять можно нечто статическое, неподвижное, остановившееся в своем развитии, герои же Толстого никогда не являются пред нами в готовом виде. Они живут перед нами — изо дня в день, из года в год. Они не сотворены раз навсегда, они вечно снова и снова творятся. Одно свойство появится в них и погибнет, уступая место другому, перевоплощаясь в третье, смягчаясь или усиливаясь, — и нет в них ничего твердого, установленного, застывшего. Все в движении, в процессе развития, и когда мы через несколько страниц снова встречаем у Толстого какого-нибудь его героя, — этот герой уже новый, и тот и не тот, и если что у него остается неизменным, так это именно та душевная мелодия, та душевная окраска, которую Толстой наделяет каждого из персонажей: Наташу — своею, Соню — своею, Китти — своею, Анну — своею.

И потому мы так хорошо понимаем, что такое гамлетизм, и что такое печоринство, и что такое хлестаковство, и что такое обломовщина, но никто не поймет, что такое «кареенинство», или «безуховщина», или «ростовизм». Именно потому, что превратить героев Толстого в те или иные отвлеченные начала невозможно. Они для этого слишком живы, слишком сложны, слишком неопределимы, слишком динамичны, — и, кроме того, каждый из них слишком переполнен своею неповторяемою, непередаваемою, но явно слышимую душевной мелодией.

И потому с ними очень трудно различным специалистам по русской словесности.

3

И что главное, мы совсем не замечаем у Толстого никакого труда, никакого напряжения. Как будто это очень легко — создать тысячи людей, каждого со своею походкой, со своими мыслями, со своим запахом, поставить каждого в центре вселенной, в средоточии бытия, потом вдохнуть жизнь во всю эту громаду и двинуть ее по тысяче путей, по тысяче направлений, скрепляющих и расходящихся.

До сих пор этого не мог ни один писатель.

Толстой же, выполняя это величайшее, невозможное для рук человеческих дело, ни разу не передохнет, не запнется, не остановится. Он творит с такой легкостью, простотой и естественностью, как мы, остальные люди, дышим. «Без усилий приближается он ко всему», — говорит один критик, — и изумляет необычайный диапазон его творчества. От Наполеона и до Холстомера — все это огромное психологическое расстояние он проходит с одинаковой силой, без усталости, без напряжения, без искусства.

Потому-то и кажется, что творения Толстого не созданы человеком, а выросли сами собою, вот как растут деревья. Недаром А. А. Фет написал при появлении «Войны и мира»:

Я перед мощию стихийной
В священном трепете стою.

Перед «Войной и миром» как будто стоишь на берегу океана и чувствуешь себя маленьким и ничтожным. Это, повторяю, кажется каким-то стихийным явлением природы.

И вообще ничего человеческого нельзя себе представить в Толстом как в художнике.

Ни лирики, ни пафоса, ни юмора. Никаких ошибок, ни падений, ни взлетов. Его нечеловеческое вдохновение ровно, неуклонно, уверенно. Все события в его творениях созревают не раньше и не позже, чем нужно.

Денисов, Китти Щербатская, Карл Иванович, Наташа Ростова, Берг могут вызвать у нас улыбку, могут сами светиться улыбкой, но Толстой всегда неизменен, внимателен, серьезен и смотрит на них так же пристально из-под нависших бровей, как смотрит на умирающего Николая Левина, на раненого князя Андрея, на рожающую княгиню Болконскую.

Мы, люди, смеемся, мы рассуждаем, мы так неравномерно распределяем свои симпатии и антипатии, мы нервничаем, капризничаем, своевольничаем, но Толстому-художнику чуждо все это человеческое, и, когда, например, в знаменитом третьем то-

ме «Войны и мира» Толстой вдруг начинает рассуждать — нам это кажется таким же странным, как если бы дуб, под сенью которого расположились десятки людей, вдруг заговорил бы и замахал ветвями и, волнуясь, заспорил бы с нами о наших человеческих дрязгах.

Это очень удивило бы нас и, пожалуй, в самом начале испугало нас.

Точно такое же чувство испытываешь, когда в «Войне и мире» читаешь философские размышления Толстого, — это чувство величайшего изумления.

Оно показывает, до какой степени все мы незаметно для самих себя, против всяких велений здравого смысла, считали создание Толстого созданием природы.

Многие объясняли свои отношения к Толстому так: мы любим Толстого-художника и не любим Толстого-философа.

Думаю, что это неверная формулировка все того же чувства, о котором я говорю. Здесь не художник противопоставляется философу, а всемогущий гений слабому человеку.

Толстому-художнику не пристало ни шутить, ни восклицать, ни спорить, ни волноваться. Он как-то выше всего этого, он в стороне от этого, он серьезен, и торжествен, и равнодушен, как природа.

Точно так же невозможно представить себе, чтобы он, например, написал стихотворение в прозе или волшебную сказку.

Правда, за последнее время он написал множество сказок и легенд, но все это, в сущности, не сказки и не легенды, а притчи и правоучения. Нет в них этого опьянения фантазией, которое есть у Гофмана, у Эдгара По, у Жюль Верна. Все в них нестрашно и незагадочно, как днем на равнине. Если и попадают черти и ангелы, то лишь для удобства изложения притчи. Легенда ради легенды, сказка ради сказки — все это совершенно невозможно для Толстого.

Посмотрите на его черта — какое нестрашное и нефантастическое существо:

«Вспахал Иван весь пар, только одна полоска осталась. Приехал допахивать. Болит у него живот, а пахать надо. Выхлестнул гужи, перевернул соху и поехал пахать. Только завернулся раз, поехал назад — ровно за корень зацепило что-то — волочит. А это чертенок ногами вокруг рассохи заплел — держит. «Что за чудо! — думает Иван. — Корней тут не было, а корень». Запустил Иван руку в борозду, ошупал — мягкое. Ухватил что-то, вытащил. Черное, как корень, а на корне что-то шевелится. Глядь — чертенок живой.

— Ишь ты, — говорят, — пакость какая!

Замахнулся Иван, хотел о приголовок пришибить его, да зацепил чертенок:

— Не бей ты меня, — говорит, — а я тебе что хочешь сделаю.

— Что ж ты мне сделаешь?

— Скажи только, чего хочешь.

Почесался Иван.

— Брюхо, — говорит, — болит у меня, — поправить можешь?

— Могу, — говорит.

— Ну, лечи.

Нагнулся чертенок в борозду, пошарил, пошарил когтями, выхватил корешок-троячатку, подал Ивану.

То есть даже трудно представить себе нечто менее фантастическое, нежели этот мужичий черт,

найденный под мужицкой сохой, лечущий корешком мужицкое брюхо и сам похожий на корешок.

Это не гоголевский Вий, у которого — помните? — «длинные веки были опущены до самой земли», а «лицо на нем было железное». Это даже не из тех — очень незатейливых — чудовищ, которых видела пред собой «уездная барышня» Татьяна:

Один в рогах, с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой.
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полу-журавль, полу-кот.

Нет, подобные видения не томят и не пугают Толстого. И привлекательности в них для него также нет никакой.

И заметьте еще черту: в психологии его героев нет никаких пробелов, пропусков, в их жизни нет никаких скачков. Анна Каренина неуклонно ведется им под колеса поезда: по крупинке накапливает он над ней ту гору отчаяния, которая не раньше, не позже, чем нужно, а как раз в ту минуту, когда нужно, падает на нее и раздавит ее. Познышев в «Крейцеровой сонате» должен был убить свою жену, так неизбежно, как брошенная вещь должна упасть на землю. Наташа в «Войне и мире» должна была раздобыть, расползнуть, народить детей и показывать «пеленку с желтым, вместо зеленого пятном»: к этому секунда за секундой вел ее через всю ее поэтическую девичью жизнь ее создатель. Вспомните, как на первых же страницах она давала Борису целовать куклу, как во время охоты она, «не переводя духа, радостно и восторженно визжала так произительно, что в ушах звенело», как она в деревне садилась ночью на окно, обхватывала колени руками и хотела взлететь на воздух, как она бродила по дому и бессмысленно твердила слово: «Ма-да-гаскар!» Вспомните любую точку той огромной линии, которую соединена у Толстого Наташа-девочка с Наташей-матерью, и вы поймете, что линия эта прямая. Скорее солнце может изменить свой путь, чем Наташа отвлечься от тех желтых и зеленых пеленок, которые ей предназначены в конце толстовского романа. Перепробуйте тысячи других положений для Наташи, и вы увидите, что все они фальшивы и невозможны, а возможно и необходимо только то, которое дал ей Толстой.

И все судьбы, все жизни, все души развиваются у него так же строго, каждая по своим особым законам развития.

Всякий рост, всякое движение, всякое изменение, всякий переход из одного состояния в другое совершенно не знают у него случайностей. Как и в природе, у него всякая революция подготовлена долгой и медленной эволюцией.

4

И вот, когда, читая «Войну и мир», мы уже совершенно привыкаем к тому инстинктивному, не осознаваемому нами ощущению, что вся эта новая вселенная, полная теплых и налитых кровью живых человеческих тел, не могла быть создана смертным, таким, как и мы, с такими же слабостями и тревогами и, не отдавая себе отчета, как бы поэтически начинаем верить в божественное происхождение этой книги, — вдруг из этой книги высовывается какой-то человек и начинает суетливо спорить и, волнуясь, доказывать:

«Предмет истории есть жизнь народов и человечества. Непосредственно уловить и обнять словом — описать жизнь не только человечества, но одного народа, представляется невозможным» — и т. д. («Война и мир», т. IV).

И мы вспоминаем: ах, да! это автор книги! Мы о нем забыли. Конечно же, у этой книги есть автор. Оказывается, и эта книга написана человеком — точно так же, как и все другие книги. Ни божество, ни природа никогда не стали бы спорить. Вот, он иронизирует. Ну, конечно же, он человек. Он даже улыбается. Что он такое говорит?

Он говорит:

«Естествоиспытатели и их поклонники, думающие разрешить вопрос этот, подобны штукатурам, которых бы приставили заштукатурить одну сторону стены церкви и которые... в порыве усердия замазывали бы своею штукатуркой и окна, и образа, и леса... и радовались бы на то, как, с их штукатурной точки зрения, все выходит ровно и гладко».

То, что этот человек говорит, превосходно, и мудро, и глубоко, и правдиво, но перед «Войной и миром» величайший из людей покажется ничтожным. Не оттого ли всем кажется, что Толстой, чуть он стал на этих страницах говорить от своего лица, как-то странно уменьшился, сократился, принял человеческие размеры.

Даже какое-то разочарование постигает всех.

Но вслушаемся внимательно, что говорит этот человек. Он говорит о мире: о людях, о вещах, и, по его словам, выходит, что все в мире отвратительно, гадко и глупо. Каждая мелочь в мире, каждая пылинка — сплошной ужас и сплошное безумие. Мир — это какой-то дьявольский кошмар, какая-то бесовская оргия.

Вот он указывает нам на женщин. «Пройдите, — говорит он, — в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в $\frac{9}{10}$ этих магазинов, есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами.

Считайте все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебель, игрушки для женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, держат в плену рабства и тяжелого труда девять десятых рода человеческого».

Речь переходит на детей. И здесь для него новый ужас: «Какое страшное глганье идет про детей. Дети — благословенье Божье, дети — радость. Ведь это все ложь... Дети — мученье и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно, прямо так и говорят это... Уж не говоря о болезнях, как лечить, о том, как воспитывать, растить, она (жена Познышева) со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно сменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух — на все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила...

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад» («Крейцеровая соната»).

И этот «совершенный ад», это «мучение» — для Толстого во всякой мелочи, какой он ни коснется.

Коснется ли он, например, курения папирос — и здесь «ад» и «мучение». У него оказывается, что «пьют и курят не так, не от скуки, не для веселья, не

потому, что приятно, а для того, чтобы заглушить в себе совесть... Это делается в жизни отдельных лиц, это же делается и в жизни всего человечества» («Для чего люди одурманиваются?»).

Коснется ли докторов, и здесь «мучение» и «ад». «Они (доктора) погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей... Я понимаю, что им хочется так же, как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего достатка, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам... Перечесать нельзя преступлений, совершаемых ими».

И так во всем. Все, куда он ни взглянет, оказывается ужас и «ад», и «преступление». Люди взяли к своему ребенку кормилицу, и он переводит это на язык своей совести так:

«Воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами». Люди занимались музыкой — и в этом тоже «мучение» и «ад». «Музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого, или многих и потом бы делал с ними, что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизатором был первый попавшийся безразличный человек. А то страшное средство в руки кого попало!»

Словом, повторяю, всякая мелочь, которую уже давно делают люди, даже и не замечая ее, для Толстого преобразилась в позор для человечества, в «преступление», в «муку», в «ад».

Если бы у нас была возможность вести эти выписки дальше, мы бы увидели, что, по Толстому, адвокаты — преступники, судьи — преступники, те, кто едят мясо, — преступники, мужья, живущие с женами, — преступники и т. д. и т. д.

В задачу этой статьи не входит оценка этического учения Толстого, и потому мы здесь ограничимся только этим указанием: Толстой отвергает весь уклад современной жизни, и все ему здесь отвратительно — до самой последней мелочи.

И при всем этом нет такой мелочи в мире, которая бы ему не была безумно, страстно, сверхъестественно любопытна. Мы, остальные люди, мы мало чем увлекаемся, и у каждого из нас есть свои определенные интересы: один увлекается биржей, другой — литературой, третий — скачками, а Толстой к чему ни подойдет, все становится ему так непереносимо интересно, что кровь приливает к сердцу и замирает дыхание. Мы все испытали, хоть раз в жизни, такой интерес к чему-нибудь, что не можешь усидеть на месте, и не сводишь глаз с одного предмета, и всем своим существом выливаешься в один вопрос: что же будет дальше? Что будет сейчас? Чем это кончится? Представьте себе, например, что вы отец и ваших детей привлекали к суду и сегодня судят, — с какой страстностью вы будете вникать в каждое слово судьи, адвоката, прокурора, как безумно вы будете внимательны ко всему, что пройдет перед вашими глазами.

Представьте себе это, и вы хоть отчасти поймете то неукротимое любопытство к жизни, к каждому ее явлению, которое ежеминутно охватывает Льва Толстого.

Чтобы написать «Войну и мир» — подумайте только, с какой страшной жадностью нужно было набрасываться на жизнь, хватать все окружающее глазами и

ушами, и накапливать все это безмерное богатство, и беречь его целыми годами, чтобы потом сразу распылить его, ослепляя и поражая всех.

Все поэты и повествователи всех времен старались для своих поэм и романов выбрать нарочито интересные темы: об индейцах, о царях, о восьмидесяти тысячах верст под водой, о ловких сыщиках, о крестовых походах и т. д. и т. д.

Один Толстой не ищет интересного, а о чем ни заговорит, все становится у него само по себе так увлекательно и значительно, и так многокрасочно, и так полновечно, что все индейцы и крестовые походы оказываются безнадежно скучны.

Как женщины кормят грудью детей? Как косят сено? Как умирают? Как скачут на лошадях? Как бывают беременны? Как готовятся к самоубийству? Как рожают? Как ревнуют? Как влюбляются? Как видят сны? Как становятся стариками? Как ходят на охоту? Как пишут картины? Как варят варенье? Как женятся? Как танцуют на балу? Как стреляют из пушки? Все это для Толстого было дороже жизни и смерти, и все это он высосал своими жадными глазами, высосал, пережил, претворил в поэзию — и всего этого у него хватило на тысячи человеческих жизней.

Его первые вещи назывались «Детство», «Отрочество», «Юность» — и он, казалось, вложил туда все переживания своего детства, и своего отрочества, и своей юности. Казалось, он исчерпал все свои детские, отроческие, юношеские воспоминания и больше к этой теме уже не в силах будет вернуться. Но множество детств, отрочеств и юностей пережил он с тех пор: детство, отрочество и юность Николая Ростова; детство, отрочество и юность Наташи; детство, отрочество и юность Сони; детство, отрочество и юность Ивана Ильича Головина — и еще и еще без конца; особенно огромными пластами отложилось в его душе детство: детство Сережи Каренина, детство Николеньки Болконского, детство девочек Облонских и т. д. и т. д. — и все это с совершенно новыми чертами, с новой поэзией, с другими запахами и красками.

И шестьдесят лет спустя после своего детства он, когда нужно, вспомнил о «сыром сморщенном французском черносливе», который он ел тогда, «об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки» («Смерть Ивана Ильича»).

Страшное, небывалое, неустанное любопытство, не насытный интерес ко всему, что свершается в мире, заражает и нас, и мы положительно захлебываемся от неожиданно нахлынувшего желания еще, и еще, и еще, как некое увлекательнейшее зрелище, наблюдать мельчайшие крупинки человеческого бытия.

И какое у него гигантское любопытство, не ослабевшее до самых последних лет! Много ли мы знаем глубоких стариков, которые бы так впились, хватались, вцеплялись в бегущую мимо жизнь и втягивали бы в себя с такой жадностью столько красок, звуков, лиц, обстановок, мнений, событий, картин, как автор «Хаджи Мурата», «Смерти Ивана Ильича», «Воскресения», «Крейцеровой сонаты», «Хозяина и работника», «Ягод»?

И какое же, казалось бы, возможно любопытство к жизни, если жизнь так отвратительна, если наперед известно, что все в ней гнило, грязно, бессмысленно; как можно гнаться за всеми ее извивами, ловить каждое ее пятнышко, пожирать глазами, как влюбленный пожирает глазами возлюбленную, — если наверняка знаешь, что все в ней ложь, и преступление, и грех.

Многие уже приходили до Толстого, кто говорили:

мир прогнал насквозь, — и либо шли переделывать мир, либо уходили из мира.

А Лев Толстой хоть и говорит вместе с ними: мир прогнал насквозь, — но не может оторвать от него своих очарованных глаз. Последние вещи свои он, правда, пишет как бы для того только, чтобы переделать мир и указать ему иные пути, но из каждой строчки видно, что для великого художника это только новый предлог, новая возможность еще раз, тайком, исподтишка, по секрету от самого себя, поглядеть — хоть уголком глаза — на проклинаемый и отвергаемый им мир.

Возьмите его последний роман «Воскресение».

Он написан с единственной целью: проклясть современное устройство мира.

А откройте-ка его на любой странице и начните читать любое место. Вот хотя бы это. Всмотритесь в него повнимательнее:

«В тот же день прямо от Масленникова приехав в острог, Нехлюдов направился к знакомой уже квартире смотрителя. Опять слышались те же, как и в тот раз, звуки плохого фортепьяно, но теперь игралась не рапсодия, а этюды Клементи, тоже с необыкновенной силой, отчетливостью и быстротой. Отворившая горничная с подвязанным глазом сказала, что капитан дома, и провела Нехлюдова в маленькую гостиную с диваном, столом и подожженным с одной стороны розовым бумажным колаком большой лампы, стоявшей на шерстяной вязаной салфеточке. Вышел главный смотритель с измученным, грустным лицом».

Я подчеркнул здесь некоторые слова — пусть читатель вдумается в них. Толстому понадобилось выставить напоказ языки современной жизни. Для этого он пишет роман и мимоходом замечает, что у смотрителя тюрьмы была большая лампа, на лампе бумажный колак розового цвета, подожженный с одной стороны, а лампа стояла на шерстяной вязаной салфетке и что у горничной смотрителя подвязанный глаз, а его дочь играет на фортепьяно, — и тут же отмечает, на каком фортепьяно она играет, и что играет, и как играет.

Все это подробности великой художественной силы и сразу обрисовывают всю обстановку и весь тон этой обстановки. Но не ясно ли для всякого, что Толстой дал нам эти черточки против своей воли, тайком от самого себя, что для его целей эти черточки не нужны, а просто ему трудно было сдержать свое жадное, неутомимое, неукротимое любопытство к жизни.

Прочтем это место дальше:

«— Прошу покорно, что угодно? — сказал он (смотритель), застегивая среднюю пуговицу своего мундира.

— Я вот был у вице-губернатора, и вот разрешение, — сказал Нехлюдов, подавая бумагу. — Я желал бы видеть Маслову.

— Маркову? — переспросил смотритель, не расслышав из-за музыки.

— Маслову.

— Ну, да! Ну, да!

Смотритель встал и подошел к двери, из которой слышались ругавшиеся Клементи.

— Маруся, хоть немножко подожди, — сказал он голосом, по которому видно было, что эта музыка составляла крест его жизни, — ничего не слышно.

Фортепьяно, замолкло, слышались недовольные шаги, и кто-то заглянул в дверь.

Смотритель, как бы чувствуя облегчение от этого перерыва музыки, закурил толстую папиросу слабого табаку и предложил Нехлюдову. Нехлюдов отказался.

И опять-таки: эта дивная подробность, что смотритель переспросил из-за музыки, и что слово Маслова он услышал как Маркова, и что он закурил, когда прекратилась музыка, — но разве это любопытство к каждому человеческому движению, к каждой человеческой обстановке, к каждой мелочи человеческого мира — возможно, законно, допустимо со стороны того, кто проклял и отверг эту каждую мелочь?

Толстой как бы контрабандой провозит под флагом отрицания жизни то, что на самом деле есть жадность к жизни и стремление зачерпнуть еще, и еще, и еще, целыми пригоршнями от бегущего, как река, бытия.

Это единственный пример в мировой литературе. Часто бывает наоборот: когда вещи тенденциозные и дидактические выдавались за художественные создания. Но чтобы художественные создания выдавались за дидактические, это произошло только с Толстым, который не мог не быть художником, даже против собственной воли.

И это еще одна особенность его гения: ему невозможно не творить.

Выше мы говорили, что творчество его не знает никаких усилий, что творить ему так же легко, как нам, остальным, дышать. Теперь мы видим, что он даже остановить свое творчество не может, как мы не можем остановить дыхание.

Он гений — поневоле, и придушить свою гениальность не в его власти, как бы он ни хотел этого.

Сам как природа, Толстой вечно и неизменно влечется к природе.

В «Анне Карениной» у него наравне с другими героями живут, и действуют, и страдают, и наслаждаются кобыла Фру-Фру и собака Ласка.

В «Хозяине и работнике» — три равноправных персонажа: купец, мужик и лошадь Мухортый.

В «Трех смертях» — опять-таки три героя: барыня, мужик и дерево — ясенка. И из них изо всех Толстой явное предпочтение отдает дереву.

Среди тысячи других персонажей, участвующих в грандиозной эпопее «Войны и мира», видное место занимает дуб, который даже как будто разговаривает, точно так же, как и другие персонажи.

Помните? — «Это был огромный, в два обхвата дуб с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично-растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только одни мертвые и вечно зеленые мелкие ели, рассыпанные по лесу, вместе с дубом не хотели подчиняться обаянию весны и не хотели видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастье!» — как будто говорил этот дуб: — «и как не надоест вам все один и тот

же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинаковые, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и травы были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно стоял посреди них.

«Да, он прав, тысячу раз прав, этот дуб, — думал князь Андрей».

Но на этом разговор человека с дубом не кончился. Возвращаясь той же дорогой, князь Андрей отыскал глазами знакомый дуб, и беседа возобновилась:

«Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млея, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверья и горя, — ничего не было видно. Сквозь жесткую столетнюю кору пробивались без сучков сочные молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их».

Это не та пресловутая беллетристическая «любовь к природе», которая у многих литераторов является только предлогом написать побольше хороших пейзажиков. У Толстого, на самом деле, по самому непосредственному его ощущению, люди, животные, растения так тесно переплелись между собою, спутались, срослись, что их нельзя отодрать друг от друга, потому что они все — один комок, одна цельная и сплошная масса.

И те, кто отодрался от этого комка, кто выпутался из этого сплетения, кажутся ему какими-то отступниками, — и он презирает их и жалеет их, как презирала бы и жалела их сама природа, если бы она была способна к этим чувствам.

Сколько он ни вглядывался в человечество, он никогда — ни теперь, ни прежде — не заметил в нем ничего человеческого. Человечество для него растет, рождается, умирает, и снова рождается, и снова умирает, как листья на дереве, как волны в море. Оно идет и идет, и обновляется, и меняется, и вечно стоит на месте, как дерево, как море, как природа. И прекрасно, и увлекательно, и любопытно до безумия это нечеловеческое в человеческом, общее всей природе: рождение, смерть, ощущение жизни. В человеке для Толстого не важно то, что думает человек, а как человек рождается, растет, влюбляется, рождает, умирает. В «Войне и мире» он любит Николая Ростова и Наташу, которые, кажется, ни разу за всю свою жизнь не подумали ни одной мысли, не переживали ни одного человеческого чувства. Их переживания он осеняет всем светом своей гениальной поэзии. И Левина он любит в «Карениной» только тогда, когда Левин решает жить, не думая, идти по жизни, куда ведет жизнь, как идут миллиарды людей, составляющих человечество. Толстой не любит героев, он развенчал Наполеона — он слишком сильно чувствует, что человечество не надо вести, а оно идет само, как природа, — и фатализм в истории для Толстого не специальная какая-нибудь доктрина, не научный догмат, а раньше всего ощущение этой не зависящей ни от кого, не подчиненной никому, самодовлеющей, самоцельной человеческой жизни.

Он любит род человеческий, он любит в челове-

ке его рождающее начало. Как Китти рождает, как рождает Наташа, как рождает княгиня Болконская, как женщины кормят своих детей — для Толстого это целые поэмы, и когда Наташа входит в детскую, — Толстой благословляет ее своей поэзией, как ее благословляет природа.

«Никто ничего не мог ей сказать столько успокоивающего, разумного, сколько это трехмесячное, маленькое существо, когда оно лежало у ее груди, и она чувствовала его движение рта и сопенье носиком. Существо это говорило: «Ты сердись, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отомстить, ты боишься, а я вот он, а я вот он!!» И отвечать нечего было. Это было больше, чем правда».

Толстой заставляет вас отбросить все привычные вам мерки добра и зла — вы забываете подумать, умна или глупа Наташа, добра она или нет, вы видите: она мать и она кормит, — и вам этого достаточно, как достаточно видеть, что дерево тянет корнями из земли влагу или что пчела тянет мед из чашечки цветка.

Вы забываете свои человеческие нормы: они начинают казаться вам какими-то предрассудками. Вы сами становитесь вслед за Толстым на сторону природы, вы сами делаетесь природой.

Китти тоже кормит — и на минуту, под наваждением толстовского гения, каким значительным кажется вам, что «ребенок хватал не то, что надо, и сердился» и что, «наконец, после отчаянного, задыхающегося вскрика, пустого захлебывания, дело уладилось, и мать и ребенок одновременно почувствовали себя успокоенными, и оба затихли».

И даже в «Воскресении», где Толстой уже не прежний, у беременной Катюши «ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся, и опять застучал чем-то тонким, нежным и острым».

Толстой любит человека рождающего — человека, который есть тогда наиболее всего природа, — и даже в «Крейцеровой сонате», которую многие считают почему-то памфлетом против рождения, — даже там он пишет:

«Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка» («Крейцера соната»).

Соню в «Войне и мире» он недаром оставляет старой девой. Плодовитость — для него высшая награда женщины, и Соня ни от него, ни от природы этой награды не заслужила.

Толстой любит человека, и в тех вечных поединках, которые на его страницах ведут мужики и «люди образованного класса», всегда побеждают мужики. Ибо и они для Толстого тоже природа, почти полное воплощение природы. Они почти в полной мере те люди-листья, люди-волны, в образе которых мерещится Толстому многомиллионное человечество.

В «Казаках» поединок между мужиком Ерошкой и бариним Олениным кончился победой мужика. В «Смерти Ивана Ильича» так же закончился поединок между бариним и мужиком Герасимом. В «Плодах просвещения» — между «господами» и Яковом, Семеном, Таней и тремя мужиками. В «Войне и мире» мужик Платон Каратаев побеждает Пьера, все мужики — Наполеона. В «Анне Карениной» Левина побеждает мужик Федор и т. д.

Изучите все толстовские изображения смерти: хуже всех умер Иван Ильич, и лучше всех умерло дерево. Иван Ильич чего-то хотел от жизни, устраивал

какую-то карьеру, был весь переполнен человеческими надеждами и делишками, а дерево росло себе, как надо, и не думало ни о чем, а за него думало лето, думала зима, думала осень — и потому оно так праведно в своей смерти, так прекрасно и умирительно.

Я все стараюсь не убеждения Толстого передать, а то ощущение, почти всегда бессознательное, которое руководило им в его художественном творчестве. Он природу не то что ставил выше всего, что не природа, — нет, он все привел к природе, и растворил в ней, и примирил с нею, и очистил ею, и ею придал всему значительность.

Даже его демократизм вытекает не из убеждений, а именно из такого ощущения жизни. Разве можно гордиться своим происхождением, званием, чином, если все мы одинаковые пылинки великой природы? Это ощущение, переполняющее все создания Толстого, выражено в «Казаках» таким образом:

«Около меня, — думал Оленин, — пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!», — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него».

Но если бы мы ничего этого не знали и совершенно забыли бы, что существует Толстой и что у Толстого такие-то и такие-то убеждения о цивилизации, о прогрессе, о воспитании, а взяли бы любую его вещь и проделали над нею опыт: выбросили бы из нее все те поступки, которые продиктовываются человеку его человеческим разумом, и оставили бы там только те, которые внушила ему его животная, телесная, растительная природа, и посмотрели бы, что из этого произойдет, — если бы мы все это сделали, то и тогда мы пришли бы точно к таким же выводам.

В самом деле, попробуем сделать этот опыт.

Возьмем «Войну и мир» — и каждого персонажа этой эпопеи подвергнем некоей операции: отнимем у него его умственную деятельность, его специально-человеческие функции.

Что произойдет?

Ничего не произойдет.

Наташа по-прежнему будет влюблена сначала в Бориса, потом в князя Андрея, потом в Курагина, потом в Пьера. Николай так же будет таять и млет на смотру при виде государя, так же будет делать подвиги и так же женится на княжне Марье. Князь Болконский не будет учить свою дочь геометрии, но будет так же вспыльчив, пунктуален, требователен и благороден. Петя так же будет убит. Борис так же будет преуспевать. Кутузов так же будет во главе армии. Французы так же пойдут на Россию. Россия так же будет обороняться, точно такое же будет

сражение под Бородиным, и точно так же русские победят французов. Все точно так же. Только Пьер и князь Андрей не будут, как теперь, во все вносить разлад. Женщины будут, когда надо, рожать, мужчины, когда надо, сражаться — и «человеческие листья умны они или нет, все так же будут осыпаться, заменяться новыми, желтеть и зеленеть».

Словом, вся человеческая комедия пойдет у Толстого по-прежнему.

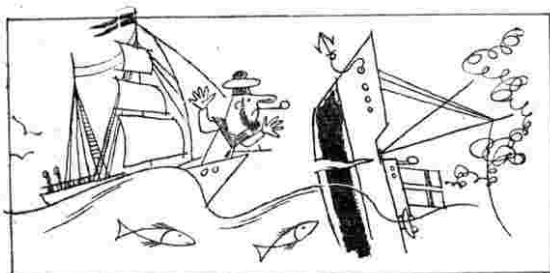
И этот опыт лучше всяких расследований покажет, что как в художественном гении Толстого нет ни человеческого пафоса, ни человеческой фантазии, ни человеческой улыбки, ни человеческих мечтаний, ни человеческих ошибок, а все величаво, безошибочно, ровно и могуче, как в самой природе, — точно так же и в тех образах, которые созданы этим гением, и в них нет никаких человеческих черт: они тоже природа, они тоже стихия, как и их гениальный творец.

6

Когда читаешь эти книги, кажется, слышишь, как переливается в них, и бьется, и пульсирует жизнь, горячая кровь, вдруг поражаешься мыслью: да ведь все это наше, родное, русское, в это вылилась великая русская душа, это нигде, нигде в другом мире не могло создаться, как только у нас, и вся эта правда жизни, и эта величайшая простота, и эта мудрость, и это первобытное влечение к природе, и эта строгая, трезвая, суровая, застенчивая, сдержанная красота — она вся насквозь наша, умиляешься до слез, и чувствуешь, что не было бы большего счастья, как припасть к этой старческой руке, осчастливившей нас, оправдавшей нас, благословившей нас, и целовать ее и покрывать ее благодарными слезами.



Гр. ПОЛУНОВ

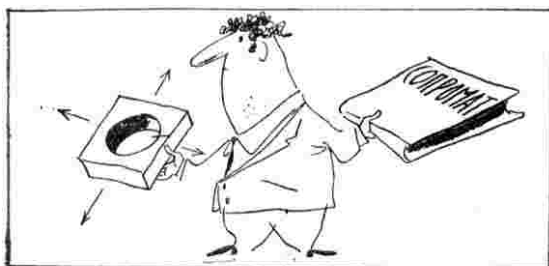


ФИЛОСОФИЯ СЕМИ ОТМЕРОВ

Как жила-была дыра —
Не в земле и не в лохани,
Не в стене и не в кармане,
Не в баранке, не в трубе,
А сама по себе.

Юрий КОРИНЕЦ

Из детской сказки-шутки «Дом вокруг дыры».



Рисунки И. Оффенгендена.

ЗНАКОМСТВО С ДЫРОЙ

Человечество уже было свидетелем недооценки роли дыр. В 1898 году, например, близ Нью-Йорка тяжелый океанский пароход столкнулся с легким парусником. Такое случается, увы, нередко. Удивляться в данном случае приходится не самому факту, а его последствиям. От столкновения пароход развалился надвое. Именно пароход, а не парусник! И все потому, что конструкторы, проектировавшие злополучный пароход, не учли роли дыр. Отверстия (а их в палубе любого корабля хватает) настолько ослабили корпус судна, что он не выдержал удара при столкновении с гораздо меньшим по весу парусником. Впрочем, в те времена конструкторы могли только гадать, на сколько уменьшится прочность от наличия дыр, ибо первая теоретическая работа об отверстиях появилась лишь через год после нелепой катастрофы. Это был доклад норвежского инженера Бруна. Он так и назывался «О влиянии прорезей и отверстий в палубах на прочность корабля».

В наше время подобные примеры уже не сыщешь. А ведь дыр стало, пожалуй, больше. Редкая деталь механизма или строительной конструкции обходится без отверстий. Отверстия окружают нас со всех сторон. Круглые, квадратные, эллиптические, треугольные — всех форм и размеров, — они служат для соединения, для облегчения, для красоты, для удобства. При этом совершенно очевидно, что каждая дыра, независимо от того, проштампована ли она, высверлена ли или отлита, ослабляет материал, уменьшает его прочность. Ту самую прочность, благодаря которой и возможен весь наш механический мир и которая, собственно, обеспечивает существование технической цивилизации.

Обеспечение прочности возложено на нелюбимый студентами сопромат. То есть на науку, изучающую сопротивление материалов. Ныне прочностью заведуют и такие дисциплины, как теория упругости, теория пластичности и другие. Судя по тому, что сегодня пароходы, и не только пароходы, не разваливаются, эти дисциплины прекрасно справляются со своими обязанностями. Но точные они предметы не так уж во всем оказываются точными. Как раз перед отверстиями-то они и пасуют. Чтобы обеспечить предельную прочность конструкций с отверстиями, в некоторые классические формулы введены десятикратные (!) коэффициенты запаса. Введены потому, что формулы, по которым определяются значения напряжений¹ в области отверстий, весьма приблизительны. (Воистину инженеры не зря окрестили коэффициент запаса «коэффициентом незнания».)

Впрочем, формулы сопromата свое дело сделали. Они честно охраняли от влияния прорезей и отверстий не только палубы кораблей, но и другие всевозможные конструкции. С десятикратным запасом прочности, но охраняли! Правда, сегодня конструктор уже не может да и не хочет прибегать к десятикратному запасу: такой запас означает увеличение веса конструкции.

Конечно, более тяжелый корабль или мост — явление, безусловно, нежелательное, однако терпимое. А вот самолет, став только раза в полтора тяжелее положенного, в воздух, увы, не взлетит! Что же касается космического корабля, то тут каждый кило-

¹ Напряжение — в механике — растягивающая, сжимающая, скручивающая или изгибающая сила, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения тела.

грамм веса обходится столь баснословно дорого, что конструктор не может позволить роскоши не знать точного значения величины напряжений.

Секреты распределения напряжений интересуют не только самолетостроителей и конструкторов космических лайнеров. Методы расчета нужны также создателям турбин. И котлов. И якорей электрогенераторов. Нужны всей технике второй половины двадцатого века. Особенно в нашей стране, где волею Коммунистической партии, решениями ее XXIV съезда намечено невиданное ускорение научно-технического прогресса.

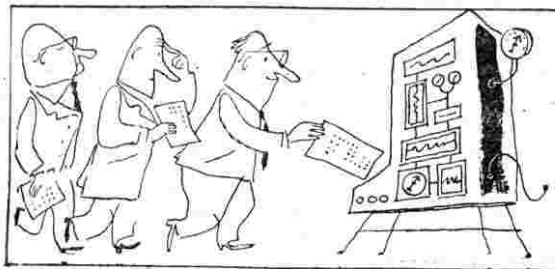
Как-то в редакции зашел разговор на эту тему. Она оказалась явно интригующей, и мне было предложено написать статью о секрете внутренних напряжений. Несмотря на знойный июль, я взял командировку и отправился в пылу жаром летний Киев, к одному из авторов нового метода расчета напряжений, возникающих около отверстий, — Александру Николаевичу Гузю, заведующему отделом Института механики Академии наук Украинской ССР. К слову, за этот метод (точнее, за цикл исследований напряжений около отверстий в оболочках и пластинах) двадцативосьмилетний доктор технических наук А. Н. Гузь (доктором он стал в двадцать шесть) был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола.

О ДЫРАХ РАССКАЗЫВАЮТ... ДЫРЫ

В руках у меня небольшая стопка перфокарт. Дырки в тонких картонках несут информацию о дырах в котле. Вложишь стопку в электронно-вычислительную машину, и через 20 минут она выдаст решение очередного варианта задачи (варьируются размеры отверстий и толщины материала). Любителю сравнений готов сообщить: то, что машина сосчитывает за 20 минут, вычислителю хватило бы на 87 лет жизни.

Однако полагать, что ныне любая задача на отверстия проста и элементарна, было бы ошибкой.

Те, кому приходилось иметь дело с вычислениями на ЭВМ, услышав «20 минут на один вариант», вероятно, удивятся: 20 минут машинного времени в наш скоротечный век — вещь, безусловно, ценная (в Институте механики долгая очередь к ЭВМ). Но не в этом главная сложность. Сложность в самой программе для вычислительной машины. Для ее составления потребовалось четыре месяца труда кандидата технических наук И. С. Чернышенко!



Столбцы цифр, которые отпечатали на бумажной ленте ЭВМ, — это воплощение мечты инженеров. Значение таких цифр может быть приближено к точному как угодно.

Беседу с сотрудниками А. Н. Гузя — кандидатом физико-математических наук Кузьмой Ивановичем Шнереенко и кандидатом технических наук Иваном Семеновичем Чернышенко.

— Скажите, — задаю я вопрос, — решение множества вариантов задачи позволяет, вероятно, показать картину распределения напряжений графически?

— Видите ли, нам достаточно знать координаты и величины напряжений. Но, если вам интересно, как распределяются напряжения вокруг отверстий, можем показать.

И математики ведут меня куда-то на третий этаж, рассказывая по дороге, что уже после А. Н. Гузя другой сотрудник этого же института — доктор физико-математических наук Леонид Петрович Хорошун — сумел найти способ расчета напряжений даже в неоднородных материалах, например, с зернистой структурой или в материалах с инородными включениями.

ТАЙНА ОРЕОЛА ДЫРЫ

Здесь, на третьем этаже, меня знакомят с аспирантом Александром Чеберяком и просят его показать мне напряжения.

Меня усаживают перед прибором. В нем подвешена обыкновенная (вероятно, из целлулоида) прозрачная крестообразная пластинка с отверстием посредине. Александр крутит какие-то ручки, и невзрачный материал вдруг преобразается. К моему удивлению, он начинает светиться. Дырка превращается в черный провал, а вокруг него вырастают радужные, яркие лепестки. Лепестки растут, меняют форму, становятся то зелеными, то желтыми, то красными. Яркие светящиеся краски движутся, сужаются, превращаются в радужную полоску, а на освободившейся площади возникают новые, кажущиеся еще более красочными.

Что означает сия феерическая картина?

Мой новый гид терпеливо объясняет, что пластинка растягивается. Цветные полосы — это картина распределения внутренних напряжений в пластинке. Внутренних напряжений!

Чеберяк опять что-то делает с прибором — радужные лепестки пропадают, зато вверх и вниз от черного провала отверстия устремляются узкие, почти прожекторные пучки света. От каких-то манипуляций Чеберяка они окрашиваются в различные цвета, меняют интенсивность, направление, форму. Нельзя оторвать глаз от фантастического калейдоскопа красок...

Но картина-то знакомая! Ведь это множество раз виденные мною интерференционные полосы!

— Фотоупругость? — поворачиваюсь я к Чеберяку.

— Она.

Ну, конечно! Растянутая пластинка сделана из оптически активного материала, вероятнее всего, из эпоксидной смолы (впрочем, целлулоид или оргстекло обладают теми же свойствами).

Есть в природе материалы (в их числе и оптически активные), в которых скорость света и, следовательно, угол преломления в разных направлениях разные. Причем оптически активные занимают здесь особое место. В обычном состоянии они так же, как и подавляющее большинство прозрачных материалов, пропускают сквозь себя свет с одним и тем же углом преломления. Но стоит их сжать или, наоборот, растянуть, то есть деформировать, как из обыкновенных, банальных материалов с знакомым набором свойств они превращаются в материалы необыкновенные. Угол отклонения ими луча света становится величиной непостоянной. Больше того, этот угол оказывается различным для разных направлений. Луч, скажем, вертикальный преломляется под одним углом, а луч горизонтальный — уже под другим. Но и это не все! Чем больше нагружен материал и, значит,

больше его деформация, тем больше разница между преломляющими свойствами материала в различных направлениях.

Эту особенность материалов — изменять свои оптические свойства в зависимости от влияния внешних сил (они могут быть и внутренними) — использует метод, который носит название «фотоупругость». Метод этот позволяет видеть, как распределяются напряжения. И делается это весьма несложно: растянутая пластинка рассматривается в поляризованном свете, и невидимое проявляется.

Мы привыкли к неполяризованному свету. Колебания привычного нам луча совершаются хаотично, во всех направлениях. Чтобы их упорядочить — поляризовать, — на пути луча ставят поляризационный фильтр. Фильтр пропускает сквозь себя только волны, ориентированные в какой-то одной плоскости, например, вертикальной.

Явление поляризации используется для самых различных целей. Скажем, на транспорте — для защиты водителей от слепящего света встречных автомашин. Поляризация находит применение и в фотографии. Съемки через стекло и воду сделать трудно, ибо блестящая поверхность бликует. Однако достаточно надеть на объектив поляризационный фильтр, как блики исчезают. Применяются эти фильтры и в перископах подводных лодок и для защитных альпинистских очков. В медицине. В криминалистике. В геологии. В химии. В металлургии. Ну и, само собой разумеется, в научно-исследовательских приборах.

Перед одним из таких приборов я сейчас сижу. Это поляризационная установка, на которой можно видеть, как меняются преломляющие свойства оптически активного материала в результате его растягивания.

В приборе — два поляризатора. Они установлены так, чтобы вместе полностью погасить направленный сквозь них луч света. Если первый поляризатор пропускает, скажем, лучи, колеблющиеся в вертикальной плоскости, то второй, наоборот, пропускает только лучи, колеблющиеся горизонтально. Вместе же они не пропустят ни одного лучика.

Растягиваемый образец помещен между этими скрещенными поляризаторами. Не будь в образце отверстия, он светился бы равномерно. Его окраска менялась бы только в зависимости от величины деформации. Но в пластинке есть отверстие. И это меняет все дело. Теперь деформации в разных точках пластинки стали неодинаковыми. Следовательно, неодинаковыми становятся и напряжения исследуемой детали. Где деформация больше, там окажется больше и напряжение и, значит, будет другой оттенок свечения. Вот, собственно, откуда цветные полосы. Это зоны с одинаковыми внутренними напряжениями. Полосы эти образуют причудливый красочный узор. Но вот нагрузка на образец увеличивается — и узоры меняются.

По системе полос можно увидеть и довольно точно определить величину напряжения в каждой точке модели изучаемой детали. А соответственно и в реальной детали.

Значит, думаю я, выяснить, как распределяются напряжения, можно так просто! Зачем же нужны громоздкие, сложные расчеты? Зачем, собственно, Гузь и его сотрудники отдают им столько душевных сил? И почему практики так интересуются расчетами? Почему академика Гурия Николаевича Савина, руководителя обоих Александров — Гузя и Чеберяка, — буквально завалили просьбами дать расчет на прочность целого ряда конкретных конструкций?

Спрашиваю у математика Шниеренко, который привел меня сюда. Ответ звучит философски:

— Любой способ нуждается в проверке.

Это что же такое получается? Если оптический метод исследования напряжений неточен, то следует ли им заниматься? Ошибку в расчете можно проверить только более точным методом. А может быть, фотоупругости не доверяют, тогда какой толк в такой проверке? Или, предположим, проверили и нашли расхождения — чему тогда все-таки вера? Картинке или математике?

Уф! Не такое уж простое дело эти дыры...

...По институту разносится трель звонка: закончен рабочий день. Это оказывается весьма кстати, ибо моя рубашка давно прилипла к телу. Немедленно на пляж!

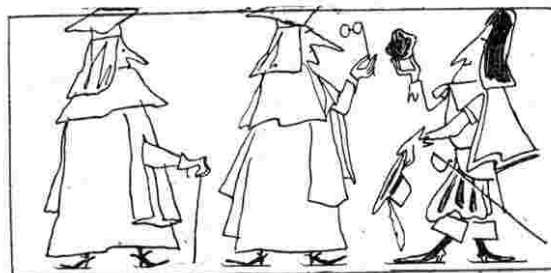
Судьбе на сей раз угодно было улыбнуться. Александр Чеберяк едет в том же направлении. Весьма приятное удаётся сочетать с безусловно полезным. Правда, чтобы углубить знание вопроса, вечернего купания в Днепре, конечно же, оказалось недостаточно. Это пришлось делать еще и в библиотеке и во многих беседах, в том числе с тем же Сашей Чеберяком.

И выяснились любопытные вещи... Впрочем, обо всем по порядку.

ПАРАДОКСЫ ДЫРЫ

Семнадцатый век. Почтенный, немолодой уже Эразм Бартолин прибыл из Голландии в Англию, чтобы доложить, впрочем, нет, не доложить, а показать членам Лондонского королевского общества (тогдашний центр мировой научной мысли) поразительное свойство исландского шпата.

Минерал был привезен голландскими моряками. От удара он раскалывался на одинаковые куски с шестью аккуратными гладкими гранями (в геометрии



эта фигура называется ромбоэдром). Тамашние ученые установили, что прозрачный минерал состоит из углекислой извести, назвали его исландским шпатом и... забыли.

И вдруг сенсация! Бартолин просит почтенное собрание взглянуть на обыкновенную дырку в картоне. Для этого он, собственно, и совершил это далеко не легкое путешествие сюда, в Лондон.

— Взгляните, господа!

Взглянули. И — о удивление! Только что все видели в картоне одну дырку. Но стоило закрыть ее кристаллом исландского шпата, как сквозь него все видят уже два отверстия.

Необъяснимое всегда кажется чудом. Чудом показалось членам Королевского общества и увиденное сквозь кристалл шпата. Фокус с дыркой в картоне смахивал на атрибут из арсенала иллюзионистов.

Загадка не имела объяснения почти шестьдесят лет. И не удивительно. Для того, чтобы понять причину «видения» двух отверстий, следовало знать теорию света. Знать, что свет состоит из волн, колеблю-

щихся в различных направлениях. Знать, что свет можно поляризовать.

Французский ученый Френель в начале XIX века уже знал кое-что из этого «набора». Например, о поляризационных фильтрах. В его распоряжении их было даже несколько. Так вот, в 1821 году, разглядывая дыру в картоне сквозь исландский шпат, Френель обнаруживает, что достаточно закрыть поляризатором видимые сквозь шпат два изображения дыр, как одно из них исчезает. Поворот поляризатора на 90 градусов приводит к появлению пропавшего изображения, но зато к исчезновению второго. Отсюда следовал неизбежный вывод: в исландском шпате свет разлагается на два взаимно перпендикулярно поляризованных луча.

Физическую причину явления открытие Френеля не объяснило, но из области чудес его вывело. Что ж, спасибо и за это. И все-таки у ученых объяснение загадки исландского шпата не вызвало вздоха облегчения. Не вызвало потому, что Френель объяснил только одну загадку света. А их к этому времени поднакопилось достаточно.

Об одной из них сообщил в 1816 году на заседании того же Королевского общества Давид Брюстер. Сообщение опять касалось стеклянной пластинки. (У хорошо знакомого вещества оказался набор «чудесных» свойств.) Оказывается, помещенная между двумя скрещенными поляризаторами и при этом растянутая стеклянная пластинка светится. Светится слабо. Но так как скрещенные поляризаторы гасят свет, даже слабое свечение пластинки было настолько явным, что существование его не вызвало сомнений.

Вам уже ясно? Ну, конечно же! Свечение стеклянной пластинки под нагрузкой означало, что деформации изменили преломляющие свойства стекла. Свечение свидетельствовало, что и стекло — оптически активный материал (впрочем, тогда других оптически активных не знали; не было даже такого термина). К слову сказать, сегодня стекло не используется для исследований (оно светится очень слабо, не столь «активно», как другие, и, главное, неудобно для изготовления модели).

Вы-то догадались, отчего светилось стекло. А вот Брюстер, увы, не догадался. Полтора века назад ему это было труднее, чем вам сегодня.

Свечение было записано в загадки. А жаль! Катастроф, происходивших из-за недостаточной прочности материала, могло и не быть. Ведь у Брюстера в руках был оптический метод исследования напряжений. Точный и наглядный. И было это задолго до публикации тех самых грубых расчетов на прочность, которые сегодня нас не устраивают.

Кто знает, как пошло бы развитие технической мысли, если б первым оказался не расчет, а эксперимент? Если бы Давид Брюстер за 83 года до норвежского инженера Бруна (помните, мы в начале этого очерка рассказывали о его докладе, сделанном в конце прошлого века?), если бы Давид Брюстер умел определять значения напряжений около «отверстий и прорезей в палубах», а также во всех прочих конструкциях, — появился ли бы тогда доклад Бруна вообще? Ведь в нем бы не было необходимости. Как, впрочем, не было бы необходимости и в сопроуте. Быть может, то безграничное доверие, которое мы испытываем к точному языку цифр, досталось бы эмпирике.

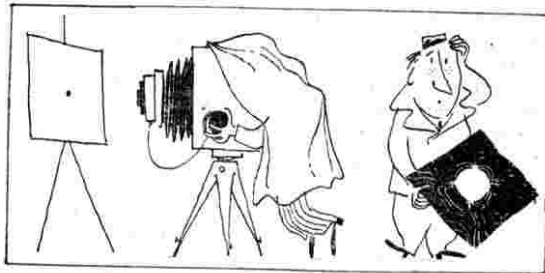
Почему же все-таки сегодня, уже имея в руках великолепный и к тому же сравнительно простой способ определения напряжений в конструкциях, мы уделяем так много внимания математическому расчету? Неужели только потому, что привыкли к нему? Неужели это инертность мышления?

К мыслям подобного рода я возвращался много

раз. Они заставляли меня вновь браться за литературу. Ответа я там не нашел, однако чтение не проходило без пользы.

Отчего светятся пластинки из семьи оптически активных материалов?

Оказывается, луч света, проходя сквозь любую прозрачную среду, взаимодействует с ней. Сталки-



ваясь с атомами вещества, фотоны света заставляют их колебаться и, значит, испускать свои фотоны. И вот это-то вторичное излучение оказывает влияние на первичный луч: изменяет его направление, скорость и, что для нас главное, плоскость поляризации.

В жидкостях, газах и некристаллических твердых телах атомы расположены хаотично. И поэтому с лучом света, прошедшим сквозь них, никаких видимых изменений не происходит. Неполаризованным он вошел в вещество, непolarизованным и вышел. Хотя в действительности «по дороге» он успел многократно сменить свой облик.

Другое дело в кристаллах. Здесь атомы образуют правильную решетку. Значит, излучение ими фотонов упорядочено. Это должно неизбежно привести к изменению свойств проходящего сквозь них луча. Однако у каждого кристалла свой рисунок решетки, и, «проявляя характер», он «перевоспитывает» луч на свой лад.

Исландский шпат, как мы видели, разлагает луч света на два поляризованных взаимно перпендикулярно. Происходит, так сказать, «раздвоение личности» луча. Одна его половинка как бы побежала по земле, другая помчалась (как бы это выразиться?) по стене, что ли. «Чудеса» на этом не кончаются. Оказывается, каждый из лучей распространяется в кристалле шпата со своей скоростью. Но ведь от скорости зависит угол преломления. Значит... значит, у каждого луча появляется собственное направление. А несут они одну и ту же информацию! Скажем, информацию об одной дыре в картоне. (Вот почему Эразм Бартолин увидел две дыры вместо одной!)

Если кристалл исландского шпата поместить между скрещенными поляризаторами (так было в поляризационной установке), он будет светиться так же, как и оптически активные. Будет светиться без всякой нагрузки! Будет светиться одним каким-то цветом. Каким именно? Это зависит от толщины кристалла. Здесь нужно оговориться. Слово «светиться» не следует понимать буквально. В установке образец действительно производит впечатление светящегося. Но пластинка не излучает света. Наше свечение только кажущееся. Ибо фон темный, а прошедший сквозь образец луч высвечивает его.

Так вот исландский шпат светиться будет равномерно, по всему полю. Совершенно так же светилась равномерно растянутая пластинка из оптически активного материала. Кстати, светилась она по той же причине, что и кристалл шпата, — разлагала луч света на два поляризованных взаимно перпендикулярно. Другими словами, напряженная пластинка имеет те же свойства, что и исландский шпат, то есть точно

так же способна создавать иллюзию двух отверстий. С той, однако, разницей, что свойства эти способны усиливаться с увеличением напряжения (расстояние между изображениями двух отверстий будет увеличиваться).

Но в пластинке может оказаться отверстие, а то и три! Его внутренние напряжения могут оказаться распределенными весьма неравномерно. Вот наша пластинка и засветится причудливым узором в точном соответствии с возникшими в ней напряжениями. Оттенки свечения — это громогласное заявление каждой точки пластинки о той величине напряжения, которое ей досталось.

Теперь с узора-ореола окончательно спадает покров таинственности.

ТУПИКИ «ДЫРЯВОГО» ВОПРОСА

И такой вот простой, красочный метод определения напряжений не доминирует в современной механике! Неужели такая рутинная работа? А может быть, я все-таки не прав? Ведь существуют же поляризационно-оптические лаборатории в Ленинграде, Москве, Новосибирске, Николаеве, существует она и в Киеве, в том же Институте механики, где совершенствуется метод математического расчета.

А с другой стороны, стоило ли связываться с громоздким расчетом, искать его методику, когда снимки линий напряжений уже давно, задолго до методики Гузя, были в руках ученых? И что же в таком случае изучает сейчас Чеберяк? Отверстия? Те же отверстия! Ну, конечно! Об этом можно судить хотя бы по тому, что у него в лаборатории наборы пластинок с дырками всех конфигураций и размеров.

Вновь я в Институте механики. Саша Чеберяк ничего больше не стал объяснять. Он вытащил из ящика что-то похожее на журнал, приколот к нему записку и сунул в мой портфель. «Разберись», — сказал он. «Журнал» оказался оттиском статьи А. Г. Чеберяка из сборника «Прикладная механика». Ее название — «К определению концентрации напряжений возле отверстий методом фотоползучести». Отверстий! Все-таки отверстий!

Я увидел, что в статье Чеберяка исследуются не просто закономерности распределения напряжений, а закономерности распределения напряжений с учетом новых свойств материалов. Это было любопытно! К каким же выводам пришел автор? Ага, вот: «Проведенное экспериментальное исследование концентрации напряжений около свободных криволинейных отверстий свидетельствует о том, что нелинейная ползучесть существенно влияет на распределение напряжений и приводит к значительному уменьшению коэффициента концентрации напряжений».

Из записки, приколотой к оттиску, узнаю, что математический расчет влияния ползучести материала от длительной нагрузки связан с «весьма большими затруднениями». Так вот почему здесь применен экспериментальный, а не математический метод!

Наконец-то все встало на свои места! Каждый метод «работает» в своей области. Математический метод — теоретический. Он, как и все теоретические методы, позволяет находить решение поставленной задачи в общем виде и для натурального материала. Поляризационно-оптический метод (метод фотоупругости) — экспериментальный. И потому с его помощью каждая задача будет решаться только самостоятельно и только конкретно. А переход к натуральным материалам будет совершаться с помощью методов подобия.

¹ Нелинейная — в данном случае изменяющаяся по криволинейному закону.

Все! Теперь можно приступать к завершению статьи. Материалов у меня достаточно.

Еду домой. Уютно устроившись на мягкой скамье купе, листаю блокнот с записями.

Вдруг взгляд наталкивается на фразу: «Любой способ нуждается в проверке». Это слова Шперенко, объясняющие существование параллельных методик, — с них, собственно, начались поиски обоснования необходимости двух методик.

Почему он тогда сказал: «Любой способ нуждается в проверке»? Он ведь знал, что методы не параллельны, а «работают» в различных областях. Значит, он действительно имел в виду необходимость проверять результаты исследований.

И тут все, казалось бы, уже окончательно отброшенные вопросы поспешили окружить меня вновь. Да, зря я поспешил с отъездом. Нужно было сначала все, все выяснить.

Возможно, я был не совсем последовательным, но к стоп-крану я все же не бросился. И возвращаться в Киев не стал. Зато в Москве, едва сойдя с поезда, тут же на вокзале разыскал почтовый ящик и опустил в него написанное в дороге письмо.

Вот тот ответ, который прислал Саша: «Экспериментальные методы вообще и поляризационно-оптический в частности применяются для проверки общих теоретических решений, чтобы убедиться в правильности полученных общих решений на конкретном частном примере. Кроме этого, эксперимент дает теории отправные данные, накопление которых, их осознание и обработка дают возможность разработки теории исследуемого вопроса».

Такой ответ меня не удовлетворил, и я отправился в Ленинскую библиотеку.

Впрочем, объяснение было рядом. Его можно было найти даже в собственном книжном шкафу. Поиски объяснения привели меня к марксистско-ленинской философии.

ДЫРЫ И... ПРИНЦИПЫ

Существует такой замечательный философский принцип — принцип непротиворечивости. К примеру, специалисты самых разных наук — астрономы, биологи, радиофизики, — исчисляя разными методами возраст Земли, должны прийти к одной цифре. Они и приходят к такой цифре: 5—6 миллиардов лет. Их выводы, конечно же, не могут противоречить друг другу.

Интерференционные полосы какой-нибудь дырявой конструкции не противоречат величинам деформаций в ней. В свою очередь, величины деформаций не противоречат значению напряжений в каждой точке исследуемой модели. Соответственно напряжения модели не противоречат значениям напряжений, рассчитанных математически. А последние не противоречат фактическим напряжениям реальной конструкции. Одни видны. Другие записаны. Третьи существуют. Для логического перехода от одних к другим требуется только их расшифровка и обработка.

Второй объединительный принцип — принцип аналогий. Он состоит в том, что у всех наук, у самых отдаленных областей знаний (казалось бы, не имеющих ничего общего) при тщательном рассмотрении всегда обнаруживаются общие черты. Черты аналогий. Происходит это оттого, что все науки вышли из одного истока. И как бы далеко они ни разбежались, между ними всегда можно найти определенное сходство.

Ну, скажем, где общность между изучением нервной системы и съемкой рекламного фильма? А вот где. Реклама основана на возможности воздействия на органы наших чувств: зрение, слух и прочее. А ведь органы чувств — это рецепторы, входы в центральный аппарат нервной системы. Одним словом, реклама основана на законах психологии. Значит, режиссеру рекламного фильма нужно знать психологию. А психологу приходится изучать последствия новаторских «находок» режиссера. Как видите, между этими, казалось бы, независимыми областями знания связь совершенно прямая.

Здесь не следует, разумеется, увлекаться. Ведь, скажем, на причудливом очертании, которое случайно приняло облако, нельзя строить никаких аналогий.

Математические символы, которыми записаны напряжения и красочные линии в поляризационно-оптической установке, вполне аналогичны: они производные одной природы. По этой причине таинственные интерференционные полосы в целлулоидной или любой другой пластинке из оптически активного материала соответствуют напряжениям в металлических конструкциях. В целлулоиде возникают напряжения, совершенно подобные напряжениям в натуральной конструкции. Но целлулоид имеет свойство менять величину двойного лучепреломления. Нам удастся увидеть (при помощи соответствующей установки) картину этих напряжений.

А вот и другая общность.

Разглядывая фотографии линий напряжений вращающегося диска с отверстиями, я был поражен аналогией рисунка этих линий с рисунком линий напряжений магнитного поля Солнечной системы. Причудливые изгибы линий напряжений вокруг дыр в целлулоидной пластинке и в эйнштейновском искривленном пространстве были потрясающе аналогичны! А раз так, то причины появления и линий напряжений магнитных силовых линий и линий напряжений в материале, вероятно, аналогичны. То есть и в том и в другом случае вращение приводит к растягивающим напряжениям. В первом случае напряжение проявляется в магнитном поле, а во втором — в материале.

Этот пример посетившей меня догадки я привел здесь вовсе не для того, чтобы заявить о себе. Мне гораздо важнее показать, как знание философских законов помогает не проходить мимо наблюдений. Если бы я не был вооружен принципом аналогий, то, вероятно, удивился бы совпадению или же искал бы причину вовсе не там, где она крылась. А крылась она в единой природе явлений.

И, наконец, третий принцип — принцип единой практической проверки. Суть этого длинного названия в том, что, каким бы различным языком ни пользовались узкие специалисты разных наук, порой взаимоисключающих друг друга, а порой даже и враждующих, все науки существуют в конечном итоге для практики. Специалисты трудятся для одного — для применения своих исследований. То есть для человеческого блага и нужд его цивилизации. Самые абстрактнейшие из теорий и самые абстрактнейшие из искусств в конечном итоге проверяются только практикой, жизнью.

Практика проверяет, подтверждает или же отвергает теорию. Вообще любое изучение всякого явления природы начинается с установления опытных фактов, то есть эксперимента. А уж потом на его основе формулируются те законы, которые управляют исследуемым явлением. Но что значит сформулировать? Это значит выразить их в виде некоторых математических соотношений. Одним словом, сегодняшний эксперимент — это данные для новых теоретических разработок для завтрашнего.

И опять я возвращаюсь к дырам. Математический аппарат и эксперимент проверяют друг друга (в некоторой части, правда). Общий теоретический вид решения дает понимание проблемы. А решением двух-трех конкретных задач экспериментальным методом проверяют правильность теории. Если ответы совпадают, значит, теория верна. Ею можно пользоваться. Существование обоих методов оправдано. Кстати сказать, кроме взаимопроверки, у каждого из этих двух методов есть еще и своя «работа».

Это очень хорошо, что существуют параллельно два метода. И пусть в отдельных случаях теоретик-математик потратит на исследования даже больше времени, чем экспериментатор. Зато математически выведенное значение — это понимание, логическое понимание явления. Если бы мы не интересовались, как и почему какое-то событие происходит, мы бы никогда не смогли познать законов природы.

Базироваться же только на одном теоретическом расчете без его проверки опасно, ибо тогда проверка будет только в дорогостоящей конструкции и может закончиться катастрофой. Увы, и математика способна ошибаться, накапливать ошибки, которые в конечном счете приведут к искажению результата. Чтобы проверить, правильно ли сделана задача, надо решить ее заново. Это знает любой школьник. И еще он знает, что лучше всего при этом выбрать другой способ решения.

Известную пословицу, что перед «отрезом» нужно произвести зное количество «отмеров», следовало бы чуть дополнить: «...отмерь различными инструментами». Вот уж тогда действительно ошибки не будет. И, значит, «отрез» неизменно приведет к благу для человека.

Подумать только! В пословице, используемой чуть ли не ежедневно, заложен глубочайший философский принцип — принцип единой практической проверки!

КУДА ПРИВЕЛА БАНАЛЬНАЯ ДЫРКА

(Вместо эпилога)

Статья закончена. Мы увидели путь мысли, многовековое ее блуждание, постепенное, все более глубокое постижение ею объективной истины. Попутно мы получили и некоторые сведения по узкоспециальным интересным направлениям исследований современной механики.

Чего же еще?

Прошу прощения, осталось еще несколько слов.

«В теории познания, как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалектически, т. е. не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным».

Цитата эта выписана из знакомой синенькой книги, на которой тиснуто бронзой: «В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм».

Что ж, мы долго еще будем удивляться глубине мысли Ленина. Удивляться этой мысли, вновь открывать истины и познавать предвиденное ленинской диалектикой.

Познание продолжается!

МИХАИЛ
БОТВИННИК



ПЕРВЫЕ ХОДЫ

Глава из воспоминаний¹

— Миша, что делаешь?
Я не слышал вопроса — писал пьесу. Шел мне десятый год; к тому времени я уже приобрел у букинистов Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, книги были тогда дешевые (деньги дала мама). Читал я в белые ночи, тогда и испортил зрение, стал носить очки. Потом посмотрел в Большом драматическом «Дон Карлоса» и решил стать драматургом.

— Миша, что делаешь?

Тут я вернулся в реальный мир и увидел Юлия Павловича, мужа моей двоюродной сестры Саши. Объясняю, что пишу первое действие; явление первое (король, первый придворный, второй придворный) уже написано; во втором явлении прибавился третий придворный, а вот что дальше — не знаю...

— Не знаешь, — сказал Юлий Павлович, — не пиши!

Так я и не стал писателем — незаконченное первое действие было уничтожено. Ко дню рождения Юлий Павлович подарил мне «Войну и мир». Парнишка я, вероятно, был неплохой, учился легко и самостоятельно; насколько я помню, отец порол меня лишь один раз. Был он зубным техником и при изготовлении вставных зубов применял американский материал стэнс. И вот Леня Баскин, приятель моего брата Иси (брат был на 3 года старше — он погиб в сентябре сорок первого под Ленинградом), обратился ко мне с просьбой: не стащу ли я пачку стэнса?

Я был настолько польщен оказанным доверием, что не смог отказать Лене.

Отец, конечно, заметил пропажу. Я отрицал все, но это не помогло. Навсегда запомнил я унижительную процедуру: и комнату, где это происходило, и как отец меня держал, и мой рев... Видимо, папа понял, что нельзя было сказать правды — я подвел бы Ленку, — и отпустил воришку. Три года спустя Леня Баскин научил меня играть в шахматы.

Водили нас с братом гулять в Екатерининский садик (жили мы на Невском), потом брат пошел в школу, а я — в детскую группу. Возвращаясь с работы, отец заходил за мной и вел домой. Запомнилось, как однажды зимой шли мы по Невскому, падал густой снег, крупные снежинки все заволокли — медленно опускались на прохожих и на тротуар. Раньше я всегда себя ощущал как бы в пустоте, а тут мне стало тесно и страшно.

— Папа, — сказал я, — смотри, мы живем в снегу.

Отец только засмеялся... В 1920 году мать заболела, и отец от нас ушел. И хотя материально он нам помогал, но началась иная жизнь.

¹ Первую публикацию воспоминаний М. М. Ботвинника см. в «Юности» № 5, 1971 г.

Я вообразил себя в семье главным и требовал, чтобы мама и брат меня слушались. Сначала они относились к моим претензиям снисходительно, но однажды взбунтовались. Тогда я схватил стакан: «Или по-моему, или стакан разобью». Стакан я в азарте прикончил, и на этом завершилась и тирания младшего сына!

Учились мы с братом далеко, у Финляндского вокзала, в 157-й советской единой трудовой школе, но, по существу, это было Выборгское восьмиклассное коммерческое училище Германа. В 1905 году группа прогрессивных педагогов во главе с П. А. Германом на свои сбережения организовала частную школу. Каждый год отмечалось основание училища, и мне довелось слышать рассказ самого Петра Андреевича о том, как было дано в газету объявление, что в училище будет совместное обучение мальчиков и девочек, что наборщик ошибся и в газете было напечатано о совместном обручении мальчиков и девочек, как газета исправила ошибку, поместив объявление повторно, и все же на приемные испытания пришел лишь один ученик...

Душою младших классов был Леонид Николаевич Никонов — он преподавал естествознание. Маленького роста (тогда он нам представлялся гигантом), в неизменном длинном скюртуке и с бородой Черномора, он лишь казался строгим... Впоследствии, когда школа была закрыта, Леонид Николаевич стал профессором пединститута в Смоленске.

Литературу преподавала Зинаида Валериановна. Дисциплина на уроках была слабая. Особенно бузил Валька Белопольский (брат его Левка потом был на «Челюскине» и оказался тем самым участником экспедиции, который отравился медвежатной...). «Зиндрьянна», — обращался он к педагогу. Но когда Зинаида Валериановна нам читала, голос ее то звенел, то в нем слышались слезы, — в классе была мертвая тишина, все было словно зачаровано, в том числе и Валька... После школы Валька уехал на Север и стал охотником.

Учитель истории Михаил Эммануилович Шайтан. лет двадцати восьми, стройный, черноглазый, носил неизменные синие брюки и френч. Историю знал блестяще, характер имел жесткий, его побаивались. Однажды, рассказывая про Ивана Грозного, он остановился (кажется, я его слушал с открытым ртом), погладил меня по голове и под общий смех сказал: «Какой хороший мальчик Миша Ботвинник...» Вдруг он исчез: девочки шепотом рассказывали, что он влюбился в одну из дочерей П. А. Германа, но запутался в своих переживаниях и, бедняга, повесился в парке...

Были у нас уроки слушания музыки — в большом зале собиралась вся школа, от мала до велика. Лидия Александровна сначала рассказывала нам, а затем исполняла. Ей нередко помогали студенты консерватории, певцы и музыканты. Она жила в мире музыки и могла, например, не заметить, что у нее виднеется нижняя юбка; ребята гоготали, Лидия Александровна это терпела. Польза от ее уроков была несомненна. Она рассказывала нам и о молодом Прокофьеве (тогда на него были гонения со стороны интеллигенции) и яростно его защищала.

Лидия Петровна Трейфельд, видимо, была немка, но скорее всего из Эльзаса. Она превосходно знала и немецкий и французский. На ее уроках мы читали и Гейне, и старинную повесть «Kleider machen Leute» («Платье делает человека»), и разные разности. Она очень переживала наше невежество и, когда Шурка Орлов однажды перевел, что «Le corbeau intelligent» означает «интеллигентная ворона», чуть не упала в обморок. Была она старая дева, страшно худа, носила парик и старомодное пенсне. Трудно было определить ее возраст — вероятно, около семидесяти. Вид имела престрогий, но доброте границ не было. Лидия Петровна была совсем одинока и жила при школе. Говорили, что когда в 1905 году собирали деньги на школу, она пожертвовала львиную долю — все, что было.

Хотя мама часто болела, она неизменно действовала в двух направлениях: чтобы сыновья 1) были сыты и 2) получили образование. Одеты мы были крайне бедно — этим выделялись среди сверстников, а пища была простая — кислые щи (до сих пор я отношусь к ним с нежностью), котлеты либо мясо с морковью. Именно мать отдала нас в школу на Выборгскую сторону, поскольку ей рекомендовали училище Германа.

Понятно, что когда тетя Бела (старшая сестра матери) звала нас с братом в гости, мы не отказывались. Жила она на 5-й Роте (ныне 5-я Красноармейская), далековато. Мы одевались поаккуратней и шли, заранее облизываясь: у тети Белы можно было набить животы до отказа всякими вкусными вещами. Однажды я переусердствовал и пострадал. Возвращаясь пешком (я редко пользовался трамваем; привычка, которую я сознательно отработал во имя общественных интересов в годы военного коммунизма, когда трамвай был бесплатным) и на полпути, у Царскосельского вокзала (ныне Витебский), у меня схватило пузо. Принял решение идти домой. Иду. Прошел Загородный, Владимирский, повернул на Невский. Перешел Невский, вошел во двор, поднялся на четвертый этаж. Пулей пролетел мимо удивленной матери, когда она открыла мне дверь, миновал коридор, влетел в туалет, но здесь совершил ошибку, которая, видимо, для меня характерна (сколько хороших возможностей упустил я по этой причине за шахматной доской!) — преждевременно решил, что достиг цели. На мой вопль прибежала мама — она меня отмыла после больших трудов...

Мальчик я был сутулый, с впалой грудью, спортом не занимался.

Мама познакомила меня с одной высокой, стройной молодой дамой, вероятно, одной из своих пациенток (мать была зубным врачом). Мне была подарена известная в те годы книжка Мюллера и прочитана маленькая лекция. Попробовал я жить по Мюллеру — понравилось; почти полвека делаю я по утрам зарядку. Слабосильный парнишка выпрямился и, как сейчас говорят, заметно «прибавил».

Увлекался я фотографией, котятками (еще целая фотография Бурзика — кот, которого я сфотографировал спящим), мать заставляла посещать музыкальную школу. Осенью 1923 года Ленья Баскин научил меня

играть в шахматы, и все остальное отошло на задний план.

Доска была самодельной — квадратный лист фанеры с полями, раскрашенными чернилами. Фигуры были пальмовые, тоненькие и неустойчивые. Одного белого слона не хватало, и на поле f1 стоял оловянный солдатик. Соображал я плохо, и хотя Ленья разрешал мне брать ходы назад, все время что-нибудь «зевал», в том числе и этого солдатика...

Конечно, увлекся шахматами я не случайно. Шахматы, как я не раз писал об этом, — типичная неточная задача, подобная тем задачам, которые людям приходится постоянно решать в своей повседневной жизни (переход улицы, судебное дело, оркестровка мелодий, управление предприятием и т. д.). То, что шахматы придуманы человеком, в то время как иные неточные ситуации возникают как бы помимо воли людей, не имеет существенного значения — с точки зрения методики решения. Важно то, что человеку для решения подобных неточных задач сначала необходимо ограничить проблему (иначе он в ней тонет), и лишь после этого появляется возможность для точного решения задач. Поэтому ошибочно думать, что шахматы не отображают объективную реальность; они отображают мышление человека. На примере шахматной игры можно изучить тот метод ограничения неточных задач, которые использует человек в своей деятельности.

Думаю, что способность решать подобные задачи — ею в разной мере обладают все люди — передается по наследству, как музыкальный слух, физическая ловкость, память и прочее. Вероятно, я имел определенное предрасположение к успешному решению неточных задач и когда познакомился с шахматами, то и посвятил им значительную часть своих помыслов, сил и времени.

Теперь я знаю, что шахматист может проявить свои способности лишь после того, как две стандартные операции — передвижение фигуры с любого поля доски на любое другое, а также размен фигур на каком-либо поле — будут совершаться бессознательно, автоматически. Поэтому сначала я и играл слабо.

У нас в квартире жил студент университета, и к нему заживал приятель — шахматист второй категории. Однажды состоялась моя встреча с второклассником, и я проиграл мгновенно. «Может, сыграть с другим?» — спросил мой партнер, указывая на брата. Наш сосед только рукой махнул: «Тот играет еще хуже...»

Сыграл я в чемпионате школы, но был где-то посредине турнирной таблицы. В то время начал выходить отдельными выпусками дебютный учебник Грекова и Ненарокова — я жадно все впитывал. Но сыграл испанскую партию (по книжке) с Витей Милотиным — он был лет на пять старше — и растерялся, как только Витя стал действовать не по Ненарокову. Все же в классе я был чемпионом. Ходил я играть к Лене Сегалу, однокласснику брата. Ленья был с длинными кудрями (будущий архитектор), любил рассуждать о позиционной игре; я слушал его с удивлением и ничего не понимал. Видимо, сначала обрабатываются понятия конкретные, а потом уже общего характера. Ленья был из состоятельной семьи, и играли мы шахматными фигурами из слоновой кости, очень изящной работы. Позицию я не понимал, но Ленью легко обыгрывал.

В ту пору в Советский Союз приезжал экс-чемпион мира Эммануил Ласкер. Он играл гастрольные партии с мастерами и давал сеансы одновременной игры. В Ленинграде он давал сеанс в здании губфинотдела. Я купил билетик и был в числе зрителей. Сеанс был трудным — один из участников, С. Гот-

гильф, полтора года спустя участвовал в международном турнире в Москве, где играл и Ласкер.

Ласкер держался с большой уверенностью, несмотря на свои 55 лет, — он разрешал участникам играть белыми, если они того желают. Играл он сильно, но очень медленно. После 15 ходов я ушел: было уже поздно.

Двинулся я вперед с чемпионата школы, был он зимой 1924 года; хотя в турнире играл «сам» Гриша Абрамович — он имел третью категорию и был членом Петроградского шахматного собрания, — я оказался победителем. Гриша стал моим первым покровителем, и в качестве гостя я вместе с ним изредка посещал Шахматное собрание. Мать не на шутку встревожилась. «Лучше бы ты стал художником, — убеждала она меня. — Надеюсь, что Капабланкой будешь?» Тайком она поехала в школу, но зав. школой Владимир Иванович Пархоменко меня защитил: «Ваш сын — книжник, и оставьте его в покое...»

1 июня 1924 года я стал членом Собрания. Пришлось прибавить себе 3 года (требовалось 16 лет). Председатель правления (он же председатель и Всероссийского шахматного союза) С. Вайнштейн, конечно, догадывался о моей хитрости, но очки мне придавали солидный вид, и все было правдоподобно. В этом отношении я был не одинок — Сережа Каминер был лишь несколько старше. Только мы познакомились, он предложил сыграть тренировочный матч — все три партии я проиграл. Летом 1924 года Сережа был мне не по плечу; впрочем, очень быстро я его обогнал.

Призванием Сережи была не практическая игра, а составление этюдов. Когда он играл в шахматы, он всегда искал «этюда», которого не было, и терпел неудачи. Но через год-два он добился полного признания как композитор. Помню, как Сережа показывал свой этюд Леониду Ивановичу Куббелю, одному из величайших композиторов и проблемистов. Леонид Иванович долго пытался, но так и не решил этюда — с Куббелем это редко бывало. Когда Сережа показал решение, Леонид Иванович посмотрел на моего товарища с удивлением.

Деньги на членские взносы дала мама. Она же дала деньги на мой первый турнирный взнос — тогда все участники вносили по 3 рубля, из них и платили призы победителям. В первом же турнире я завоевал первый приз (18 рублей), получил третью категорию и стал независимым человеком.

И в следующем турнире (2-й и 3-й категории) я одержал очередную победу, но там у меня было неприятное происшествие. В турнире играл некто Фольга, художник по профессии, глухонемой. Мы с ним конкурировали, и, когда я попадал в трудные положения, Фольга не скрывал своей радости и знаками доводил об этом до моего сведения. Наконец и я дождался своей очереди — Фольга проигрывал решающую партию; конечно, я ему иронически выразил сочувствие. Мой конкурент сделал вид, что не понимает. Как же ему объяснить? Я схватил белого короля и положил на доску. Последствия были страшными. С. Вайнштейн вызвал меня, отчитал и предупредил о возможном исключении. В ответ я только дрожал и был отпущен с миром. Никогда в своей шахматной жизни я более не совершал чего-либо подобного.

Собрание помещалось во Владимирском игорном клубе, и, чтобы попасть на третий этаж, надо было пройти все значные места, в том числе и большой бильярдный зал. Как-то с одного бильярда срезаил суку и всех членов Собрания выстроили — опознавали вора. Потом вор был найден на стороне.

Возвращаясь с игры я поздно, голодный, и жадно уничтожал бутерброды, запивая стаканом молока —



Осенью 1925 года, когда я играл в сеансе с Капабланкой, еще никто меня не фотографировал. Но этот снимок из семейного альбома как раз относится к той осени.

мать из года в год заботливо оставляла стандартный ужин, — а потом... садился анализировать сыгранную партию! В азарте начинал стучать фигурами, мама просыпалась, стыдила меня, и оставалось лишь идти набоковую.

Наступили в шахматном мире иные времена. Малочисленный Всероссийский шахматный союз был ликвидирован, была создана массовая шахматная организация, опиравшаяся на профсоюзы и советы физкультуры, во главе с Н. В. Крыленко. Ликвидировано было и Шахматное собрание в Ленинграде; вскоре был открыт отличный шахматный клуб во Дворце труда — руководителем его был молодой Яков Герасимович Рохлин.

Н. В. Крыленко, придя к руководству советской шахматной организацией, решил проверить силу советских мастеров. Кажется, до Московского международного турнира 1925 года лишь один раз советский мастер встретился с иностранными корифеями — И. Рабинович завоевал 7-й приз на турнире в Баден-Бадене: это расценивалось как большой успех. И когда весной 1925 года И. Рабинович появился в шахматном клубе во Дворце труда, где происходил чемпионат города, мастера встретили аплодисментами... Но этот эпизодический успех не мог удовлетворить Н. В. Крыленко.

В Московском турнире в основном играли те иностранцы, что участвовали в знаменитом турнире в Нью-Йорке 1924 года (кроме Алехина — он тогда был недружелюбен к Советскому Союзу, и это недружелюбие было взаимным). Турнир вызвал первую волну увлечения шахматами среди советских людей и,

что особенно важно, среди школьников. Была поистине «шахматная горячка», и под таким названием вскоре вышел фильм с участием Капабланки.

Победителем был Боголюбов. Следующий советский шахматист, Романовский, был лишь седьмым. Боголюбов в те годы имел советский паспорт, хотя и жил в Германии, где он обзавелся семьей. Год спустя Боголюбов отказался от советского гражданства, и это нанесло большой ущерб советским шахматам. Стало ясно, что мастера дореволюционного поколения (Романовский, Левенфиш, И. Рабинович, Дуз-Хотимирский, Верлинский), несмотря на их талант, не могут противостоять сильнейшим шахматистам Запада. Крыленко решил, что надо выждать. Это выжидание продолжалось несколько лет, пока не окрепло молодое поколение советских мастеров.

И вот в дни Московского международного турнира меня зовут к телефону — звонит Рохлин:

— Завтра вы играете в сеансе против Капабланки. Есть ли какие-либо пожелания?

— Можно ли мне получить пропуск на сеанс для брата?

— Для брата? Может быть, еще для кого-нибудь? Может, вам нужно несколько пропусков?

— Да, если можно.

— Нельзя, будьте довольны, что сами играете...

В действительности в поябре 1925 года я был уже одним из сильнейших первокатегорников Ленинграда, и никакой особой чести не было мне оказано. Но мама была довольна, купила мне новенькую коричневую косоворотку, и я отправился на сеанс в малый зал Филармонии (потом там был буфет для зрителей). Зал был набит битком: на турнире в Москве был выходной день, и Рохлин уговорил Капу приехать в Ленинград дать сеанс. Все и стремились поглазеть на чемпиона мира. Еле протискиваясь к своему месту: на моем стуле сидят уже двое зрителей, пришлось устроиться третьим! Конечно, оба «советчика» мешали мне в меру своих сил, но характер у меня был твердый — играл сам. В ферзевом гамбите Капа неосторожно рокировал в длинную сторону, попал под атаку, вынужден был отдать пешку (чтобы перейти в эндшпиль), но я четко реализовал материальный перевес. Капабланка смешал фигуры.

Ухожу из зала и в фойе встречаю одноклассницу Веру Денисову — в большом зале шел толстовский вечер. Вера была потрясена моим успехом.

На следующий день я на радостях проспал и опоздал на первый урок. Ребята увидели меня через стеклянную дверь и попытались поднять шум, но у Шайтана не расшумишься (был урок истории). Звонок — и все кинулись ко мне. Я понял, что дело плохо, и пытался бежать, но в зале преследователи меня настигли и начали качать. Спас меня Михаил Эммануилович — ему удалось сохранить серьезный вид. Девочки шептались в стороне; потом я узнал — девочки решили, что во мне что-то есть.

Но вздыхал я по Мурке Орловой — сестре моего товарища Шурки, того самого, который считал, что ворона может быть интеллигентной. Девушка была способная, кокетливая, с томными голубыми глазами.

— Ничего у тебя не выйдет, — сказал Димка Зайцев. — Мурка с тобой целоваться не будет... Ты еврей.

Я был ошарашен не столько тем, что Мурка не будет целоваться, как тем, почему она не будет... При рождении отец дал мне русское имя. «Живет в России, — сказал он матери, — пусть чувствует себя русским». Отец запретил дома говорить на жаргоне, вторая его жена была русская. И вот — сила предрассудков.

Несколько лет спустя на квартире у Веры Денисо-

вой встретился наш класс. Мурка явно была уже не согласна с Димкой Зайцевым, но — что делать? — от детского чувства ничего не осталось.

Наступил 1926 год. Чтобы попасть в финал чемпионата города, надо было обязательно занять первое место в своей полуфинальной группе. И я и сильный первокатегорник Шебаршин выигрывали все партии. Но вот выигрышную партию с Лаврентьевым я свожу вничью: остается последняя надежда — обыграть Шебаршина. Наша партия продолжалась в общей сложности около 11 часов — в конечном итоге мне удалось ее выиграть.

Второй раз партия была отложена в выигранном ладейном конце, и мой партнер решил использовать последний шанс: окольным путем он сообщил, что если партия кончится вничью, то в финал мы будем приглашены оба... А вдруг 14-летний малец поверит? Я не поверил!

Финал был в июне. На старте я набрал 5 из 5! Потом дела пошли хуже, но все же удалось поделить 2—3-е места с А. Ф. Ильиным-Женевским. Я завоевал себе место на шахматном Олимпе города.

Играли мы в Центральном доме физкультуры на Мойке. Ходил на игру пешком, через Марсово поле. Дома выпивал стакан молока, и после прогулки голова была ясна, настроение — отличное...

Именно тогда впервые я почувствовал себя уверенно за шахматной доской, почувствовал свою силу. Пожалуй, это произошло во время партии с Рохлиным. Попал я в тяжелое положение, но ловко выкрутился и отложил партию с небольшим позиционным перевесом. При доигрывании выяснилось, что я и позицию лучше понимаю и варианты считаю точнее — мой партнер «поплыл» и быстро проиграл.

Осенью 1926 года родители заволаговались. Рохлин позвонил отцу и сообщил, что я должен играть на 5-й доске в командном матче Ленинград — Стокгольм, надо ехать в Швецию. Опять мама помчалась к зав. школой, на сей раз к Сергею Ивановичу Тхоржевскому. Сергей Иванович был нашим классным воспитателем и преподавал историю. Это был очень серьезный, доброжелательный и умный человек — внешностью он чем-то походил на деятелей Великой французской революции. Кстати, историю революционного движения он знал превосходно.

— Чтобы в таком возрасте увидеть свет, — сказал он матери, — можно пропустить школу в течение десяти дней.

Итак, я еду в Стокгольм, отец дал денег на покупки. Едем поездом до Гельсингфорса, там даем сеансы. Я приобретаю европейский вид, мне покупают костюм, шляпу «Борсалино» и роговые очки. Затем — поездом до Або и пароходом в Стокгольм. На пароходе после обеда нас выстраивают для опознания — какой-то русский не заплатил в ресторане. Потом его находят — оказывается, один белоэмигрант решил устроить провокацию.

За время путешествия в мужской компании мне пришлось ознакомиться с целой коллекцией сальных анекдотов (конечно, смеялся я громче всех — для меня это было в диковинку); другой не услышит столько и за год. Если ранее, читая русскую литературу, я повредил себе зрение, то сейчас она сохранила мне душу — грязь ко мне не приставала.

Матч в Стокгольме протекал очень напряженно, но с минимальным перевесом побеждает команда Ленинграда. Мне удалось набрать 1½ очка из 2 против Штольца (будущего гроссмейстера). На банкете всем наливают по одному бокалу вина (сухой закон). Один из шведов долго не решается ко мне обратиться, но в итоге выпивает и мой бокал...

На следующий день идем тратить деньги — дело простое. Вечером в номере, где живем мы с Ильи-

ным-Женевским, собирается многочисленная компания. Есть хочется, а на ресторан денег уже нет. Собираем мелочь, и добровольцы идут за хлебом и сыром. Набиваем рты. Стук в дверь, и появляется Людвиг Коллин, президент Шведского шахматного союза. Он в смущении останавливается, но делает вид, что все в порядке:

— Как вам понравился Стокгольм?

— Прекрасный город, — отвечает Ильин-Женевский; он уже успел проглотить свой бутерброд.

Обратный путь через Ботнический залив был труден. Качка была столь сильна, что многие страдали морской болезнью. Я очень ослабел и, когда мы приехали в Гельсингфорс, все еще нетвердо стоял на ногах.

Наконец, Ленинград. Вечером вместе с братом идем к отцу, несем в чемодане для него костюм. Дворник в подворотне хватает меня за руку, я смотрю на него с изумлением.

— Тыфу, — слезивается он. — Не узнал.

Еще бы, раньше в шляпе (да еще роговые очки!) он меня не видел.

В большом зале собирается вся школа, Сергей Иванович председательствует, я делаю отчет о поездке. Но когда дело дошло до обратного рейса на пароходе, я чересчур красочно и обстоятельно стал описывать морскую качку и все ее последствия. Поднялся хохот.

— Миша! — умоляюще сказал Сергей Иванович. — Хватит...

Но я был неумолим, продолжал рассказывать о своих морских впечатлениях.

На первом же уроке химии преподаватель Боровицкий вызывает меня. Я, конечно, ничего не знаю — в итоге «неуд». Это был мой единственный «неуд» за всю школу. Учились мы тогда без экзаменов, за высокими оценками не гонялись, так что особых волнений не было. Высшей оценкой было «хорошо»; я учился на «вполне удовлетворительно». Думаю, что этот стиль школы — требовались знания, а не отметки — повлиял на мое поведение в шахматах. Я не гонялся за очками, а смотрел в корень: как я играю, насколько глубоко я понимаю шахматы?

Пионерской организации в школе не было, но комсомольская — очень малочисленная — была. Стать комсомольцем было трудно, школьников почти не принимали. Я долго этого добивался (брат уже был комсомольцем) и наконец в декабре 1926 года стал кандидатом в члены комсомола. Принимал меня некто Кузьмин (его братишка учился в нашей школе), один из основателей комсомольской организации Выборгского района.

Еще в Стокгольме мне заказали примечания к двум партиям матча Ленинград — Стокгольм, они были опубликованы в журнале «Шахматный листок». С этого начался мой путь шахматного аналитика. Привычка анализировать объективно — когда анализ публикуется иначе и действовать опасно, ибо опозориться можно, — весьма важна для совершенствования шахматиста. Несомненно, это и содействовало моим успехам в ближайшие годы.

На этом позвольте расстаться с двадцатыми годами и обратиться к теме дня.

Будет ли удачлив претендент?

С 1948 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) распоряжается первенством мира. С тех пор уже нет чемпиона мира вообще — есть чемпион мира ФИДЕ.

Каждые три года определяется претендент, который и атакует чемпиона. С 1948 года всего было пять претендентов: Бронштейн, Смыслов, Таль, Петросян и Спасский. Смыслов и Спасский были претендентами дважды (дважды был претендентом и автор этих строк, но матч-реванши не в счет).

Трижды претенденты терпели неудачи — в 1951, 1954 и 1966 годах. Четыре раза они побеждали — в 1957, 1960, 1963 и 1969 годах. Таким образом, удача сопутствовала претендентам далеко не всегда... Что же будет на сей раз?

Наиболее вероятным претендентом является Фишер. Ему осталось «пройти» еще Петросяна, чтобы добраться до матча на первенство мира. Положение сейчас создается своеобразное. Широкая публика ждет результата 7:0 (в матче может быть сыграно 12 партий). Если итог будет, скажем, 6½:3½ в пользу Фишера, это вызовет разочарование и, несомненно, будет воспринято как большое дости-

жение Петросяна! Не следует обращать на все это внимания: и ранее шахматный мир создавал себе кумиров — кончалось это разочарованием. Все же определенные изменения на шахматном Олимпе сейчас произошли, но прежде всего посмотрим, кто же там находится.

Роберту Фишеру 28 лет. Он бросил учение в школе, когда был в пятом классе. Шахматы он изучил очень хорошо. Фишер прочел все, что опубликовано, и он все помнит. Да это и понятно: его память не загружена «посторонней» информацией.

Свободная память полезна и для счетной работы. В процессе счета вариантов надо запоминать великое множество позиций. Фишер быстро и уверенно считает варианты — это он делает практически безошибочно. Тем не менее изредка он проигрывает. Чем же это можно объяснить? Шахматист не машина. Если ЭВМ снабдить шахматной программой (без самообучения), машина будет бесстрастно ее исполнять. Человеческая программа переменчива: человек устает, радуется или огорчается, наконец, просто неизвестно почему, но иногда человек играет луч-

ше, иногда хуже. В зависимости от своего состояния (и от настроения партнера) человек меняет свою манеру игры, чтобы достичь оптимальных результатов, — большей частью он это делает интуитивно. Итак, человек должен хоть и интуитивно, но управлять своей шахматной программой — не все умеют это делать в совершенстве. Думаю, что если счет вариантов является сильной стороной таланта молодого американца, то «самопрограммирование» — относительно слабой стороной.

Итак, Фишер, несомненно, выделяется среди современных гроссмейстеров. А кто же еще выделяется?

Ну, конечно, чемпион мира Спасский. И на этом можно поставить точку? Быть может, да. В этом и состоят те изменения, что произошли в шахматном мире. Длительное время на Олимпе обитала плеяда гроссмейстеров (советских!), трудно было выделить кого-либо из этой группы. Сейчас Спасский и Фишер выделяются среди других. За четверть века на Западе появился один крупный шахматист, в Советском Союзе число их поубавилось. Раньше, каждые 6—7 лет, появлялось



За доской — Спасский и Фишер. Этот снимок в дни Всемирной шахматной олимпиады в Зигене (ФРГ) год назад сделан Тиграном Петросяном.

новое поколение советских гроссмейстеров. Сейчас между Спасским и поколением Тукмакова, Балашова, Карпова, Ваганяна — в среднем лет 12! Видимо, война нарушила прежние закономерности развития шахматных талантов...

Итак, Спасский и Фишер. С Фишером мы уже знакомы, в июле я о Фишере уже писал в газете «64». Я писал о его шахматных достоинствах и человеческих недостатках: Фишер объективен, когда сидит за шахматной доской, и крайне субъективен в жизни. Хотя мне известно, что не все со мной согласны (что делать — я никому не навязываю своего мнения), но пишу то, что думаю.

Каков же чемпион?

Борис Спасский, быть может, считает варианты не столь быстро

и ловко, как Фишер, но шахматист и человек он более разносторонний и уравновешенный. Спасский вполне управляет собой, когда сидит за шахматным столиком. Он играет разнохарактерные позиции — и сложные и простые, — терпеливо ждет промаха и умеет нагнетать напряжение боя. Он стремится создать такие позиции, где сильные стороны таланта его противников не должны сказаться. В этом Спасский сильнее Фишера.

В конечном итоге, независимо от того, как кончится матч Петросян — Фишер и как кончится в 1972 году матч на первенство мира, есть все основания утверждать, что семидесятые годы нашего столетия будут проходить в соперничестве между Спасским и Фи-

шером. Спасский только на 6 лет старше, почти такая же разница, как между мной и Кересом, Капабланкой и Алахиным. Вероятно, любители шахмат во всем мире получат много впечатлений от борьбы этих двух шахматных богатырей.

На чьей же стороне будет перевес? Предсказывать бесполезно: вероятно, победит тот, кто, скажем, бескорыстней и преданней будет служить шахматной богине Каиссе, кто точнее будет следовать пушкинскому совету:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

В связи с запросами читателей редакция журнала «Юность» сообщает, что подписка на журнал «Юность» на 1972 год принимается без ограничения.

Подписка принимается всеми общественными распространителями печати по месту работы и учебы, отделениями и агентствами Союзпечати, а также отделениями связи.

Фото П. Чулюканова.



КАК МОЗОЛЕВСКИЙ ПЕРЕХИТРИЛ ДРЕВНИХ ГРАБИТЕЛЕЙ



Вы видите на снимке киевского археолога Бориса Мозолевского, который нынешним летом руководил раскопками знаменитой Толстой могилы (скифский курган на юге Днепропетровской области). О сенсационных открытиях Мозолевского я уже рассказывал в седьмом номере «Юности» в «Репортаже из Толстой могилы». Когда я писал этот репортаж, археологам, чтобы завершить раскопки кургана, оставалось лишь вскрыть ограбленное еще в древности погребение царя, и трудно было ожидать новых находок.

Но вы помните, конечно, снимки золотой пекторали — массивного, весом более килограмма, нагрудного украшения со скульптурными изображениями сцен скифской жизни и традиционных звериных терзаний, — которые в середине лета обошли все газеты. А помимо того, грабители «оставили» Мозолевскому акинак (скифский меч) в золотых ножнах, множество золотых бусин...

Одним словом, я вторично побывал на раскопках. Мне хотелось найти объяснение редкой удачи Бориса Мозолевского.

Сам Мозолевский говорил так:

— Уже несколько лет, работая каждый сезон в этих краях, я не мог проезжать спокойно мимо Толстой могилы. Мой учитель Алексей Иванович Тереножкин, авторитет которого для меня непрерываемо, убедительно мне доказывал, что это курган эпохи бронзы. Но на этот раз я не хотел с ним согласиться. Я же знал, что курган скифский и что он обещает открытия, каких давно уже не было.

Как я мог это знать? Интуиция. Чистая интуиция вне всякой логики. Со мной нередко случаются такие истории. Несколько лет назад я решил, например, купить четырехтомный словарь Гринченко — это украинский Даль. Новое издание словаря уже разошлось, и даже киевские букинисты не могли мне помочь. Но как-то идя окраинной улочкой мимо маленькой книжной лавки. Посмотрел на залежалые книги, выставленные на витрине, пошел дальше. И вдруг почувствовал себя беспокойно. Был вечер, магазины уже закрывались, и я побежал назад. И продавец сказал мне, что у них действительно есть словарь Гринченко, но только без четвертого тома. «Четвертый том я

найду!» — закричал я. Спустя два или три месяца во дворе типографии, которая печатает академическую литературу, я увидел давнюю книжную свалку и сразу понял, что здесь — мой четвертый том. Я перерыл целую гору бракованных книг и нашел четвертый том Гринченко. Без обложки, но — что мне обложка?

Так вот, будучи убежден, что курган скифский, я этой весной провел новые предварительные исследования и наконец доказал свою правоту. Начались раскопки. Когда удалось обнаружить неграбленный склеп царицы, я понял, что грабители (возможно, это были поздние скифы, а то уже и сарматы) могли просчитаться и в царском склепе, куда вел их лаз. Я их представил излишне деловыми людьми, а такие люди в любом деле — не только в грабительском — не принимают в расчет неожиданность. Раз мои «хорошие грабители» — так я их звал уже — не заподозрили, что в кургане может быть и второе погребение — царицы, то... Нет, они проникли, конечно, в царскую камеру и в поисках ценностей разбросали царские кости и разломали царский железный панцирь, что-то нашли, наконец, и поспешили прочь. Но пектораль и акинак, которые лежали в коридоре при входе в царский склеп (вновь нестандартный случай!), мои «хорошие грабители» не нашли.

Мы с Черненко так рьяно расчищали эту пектораль, что порезали пальцы о золотые козлиные рога! Но все же судьба воздает мне не в меру. Придет, очевидно, время расплаты, когда я здорово просчитаюсь...

Под вечер того дня, когда я вторично приехал в Орджоникидзе (на окраине этого нового шахтерского города, жители которого добывают марганец, и находится Толстая могила), у гостиницы «Юность», где в окружении непривычного комфорта обитали на сей раз археологи, остановилась экспедиционная машина с киевским номером. И из кузова этой машины с неожиданной для своих лет легкостью выпрыгнул учитель Бориса — Алексей Иванович Тереножкин.

Тереножкин, ведущий украинский скифоведа, менее всего стремится выглядеть маститым ученым. Ему нравится походить на простоватого старого мастера, и он радуется, когда слегка шокирует этим своих

их коллет. В Орджоникидзе, где Тереножкина знает каждый шахтер, его часто зовут просто «дед», и это ему тоже нравится. А недавно на какой-то маленькой железнодорожной станции кассирша сказала ему, что билетов на поезд нет, и тут же продала билет какому-то «прилично» одетому гражданину. «Как же так?» — спросил Тереножкин. «Ты же, дед, не поедешь в спальном вагоне», — убежденно сказала кассирша. Рассказывая эту историю, Алексей Иванович лишь посмеивался.

Он направлялся вместе с женой — Варварой Андреевной Ильиной (тоже доктором исторических наук и известным скифологом) на собственные раскопки, но, сделав крюк в шестьсот километров, заехал к своим ребятам на Толстую могилу. Не только Борис, но и второй археолог экспедиции, специалист по скифскому оружию Евгений Черненко, — ученик Тереножкина. А доктор Рената Ролле из ФРГ, которая тоже причастна к раскопкам Толстой могилы, — ученица его австрийского друга Франца Гончара.

Старший лейтенант Тереножкин сдружился с профессором Гончаром весной сорок пятого года в освобожденной Вене, с тех пор они постоянно переписывались, обменивались научными публикациями. Три года назад Франц Гончар, умирая, завещал свою огромную библиотеку по русской археологии выпускнице Геттингенского университета Ренате Ролле, которая под его руководством специализировалась по скифам. И вот, стажирясь в Киеве, Рената не без участия Алексея Ивановича Тереножкина, о котором так много рассказывал ей Франц Гончар, окончательно избирает скифскую археологию делом жизни.

Вечером мы собрались в номере у Бориса Мозолевого за роскошным столом: щедрая россыпь хрустящих огурцов, толстые ломти эстонской колбасы и чуть-чуть (для изыска) черешни. Разбавленный водой экспедиционный спирт мы сочетали с сухим венгерским вином.

Алексей Иванович поведал, как Борис пытался стать и летчиком и кочегаром, но ничего из этого не вышло, не удалось ему увернуться от археологии и пришлось теперь сделать эти открытия. И был не менее рад Тереножкин, что блеск скифского золота не ослепил его учеников, не привел Бориса и Женю Черненко к спору, который иногда случается у археологов: кто нашел этот предмет, а кто — этот? И, разлив по стаканам остатки вина, Тереножкин провозгласил:

— За скифологов яростных!

В этих словах и заключен ответ Алексея Ивановича Тереножкина на мой вопрос: как удалось Борису Мозолевскому сделать такие открытия? Я спрашивал Алексея Ивановича: согласен ли он, что Борису присуща необычайная интуиция? Он отшучивался:

— Когда, бывая в Москве, я захожу в «Гастроном» на углу Смоленской, мне сразу же предлагают: на двоих будешь или на троих? Вот у этих товарищей — интуиция. А успех в археологии определяется прежде всего яростным знанием своего дела. И другого ответа от меня не ждите.

И еще одно мнение — кандидата технических наук, директора Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината Григория Лукича Середы.

Кстати, на раскопках Толстой могилы Григорий Лукич сделал ценное наблюдение — приметил в курганной земле вкрапления марганца. После лабораторного анализа Середа убежденно заявил, что землю для кургана скифы брали в шести километрах от этого места, в пойме реки Соленой, где еще в древности марганцевый пласт выходил на поверхность. Так подтвердилось давнее предположение археологов, что землю для своих курганов скифы, не желая нарушать ближайший пейзаж, привозили с берегов рек.

А что касается удивительного директора Середы, то я бы мог рассказать и как, восстанавливая почву на отвалах марганцевых карьеров, он выращивает на этой, казалось, разрушенной навсегда земле виноград и пшеницу и как ближайший к городу карьер он превратил в озеро с песчаными берегами... Одним словом, теперь вам понятно, почему Середа считает своим долгом лично следить, чтобы каждый съедаемый его карьерами древний курган был исследован?

А про Мозолевого Середа сказал мне:

— Да вы знаете, сколько Борис ходил вокруг этой могилки и облизывался, как кот! Нет, он свое счастье выстрадал. И работой и жизнью. Мне бы такого начальника смены!

Тогда, за ужином, Борис читал свои скифские стихи:

И ти цар. I я цар.
Всім богом осанна.
Злотом шитий брацар,
Кунтуші в басанах.

Так переговариваются у него два скифских царя, изображенные на чаше с Гаймановой могилы. Иной ученый улыбнется: не слишком ли вольно археолог Мозолевский трактует скифские изображения? Конечно, вольно и, конечно, слишком. Но Бориса удручает безлюдье великого скифского мира. У скифов не было своей письменности, и, какие бы открытия ни сделали археологи, мы никогда не сможем осязательно представить жизнь конкретного скифа. Геродот и другие античные авторы чуть-чуть знакомят нас с мудрым Анахарсидом (или Анахарсисом), с великим царем Атеем, который сказал, когда к нему привели пленного греческого флейтиста, что он предпочитает ржание коня... Но что еще говорил Атей за всю свою девностолетнюю жизнь, мы не знаем и, очевидно, уже никогда не узнаем.

Поэтому каждый археолог-скифолог надеется прежде всего найти новые скифские изображения — на чаше, на вазе, на гребне... Эти изображения не могут заменить письменных источников, однако позволяют все же хоть увидеть конкретных скифов. Скорее всего эти изображения не бытовые сцены, а сюжеты скифской мифологии, но греческие мастера, выполнявшие заказы скифов, работали в высокой реалистичной манере. Борису и здесь удивительно повезло — на верхнем фризе найденной им пекторали скифы шьют рубашку, доят овец...

— Дивный народ эти скифы! — восклицает Борис. — Я увидел их наконец не только стреляющими из лука. Вот мирный вечер, и мирные скифы в окружении своих домашних животных. А эти бородачи, очевидно, уже сшили рубашку и теперь спорят: кто наденет ее? Я две ночи, найдя пектораль, провел на кургане. Я люблю оставаться на ночь в скифской могиле — тихо, сидишь и думаешь...

Рано утром уезжал Тереножкин.

— Хватит, Боря, остановись, — говорил Алексей Иванович. — Не вздумай найти еще что-нибудь.

— Я был уверен, что найду меч и горит, — повторял Борис. — А нашел меч и эту пектораль.

— Как ты мог быть уверен? — кричал Алексей Иванович.

— Приедем в Киев, я покажу вам письмо, которое я послал еще до находок и в котором я пишу про меч и горит.

— Ну, ладно, я уехал, иди спать. Ты должен хоть в воскресенье выспаться. А долгие проводы — лишние слезы.

И, уже забывшись в машину, Тереножкин весело крикнул:

— Ни горит тебе, ни чаши, Боря!

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ



ДИНА РУБИНА,

ученица 11-го класса

НОВЕНЬКАЯ

Рисунок Г. Саевича.

В наш класс пришла новая девочка. Она появилась в кабинете немецкого языка перед первым уроком. В кабинете были только я и Кирилл. Она вошла, незанисимо размахивая портфелем, и остановилась. Мы молча смотрели на нее. У новенькой был хвост на затылке, острый подбородок и темная челка. И еще она была худая. Про девочнок принято говорить «тоненькая», но, по-моему, она была просто очень худая. Наш пижон Кирилл навострил уши и сразу стал похож на охотничью собаку. Ему уже надоело все наши девчонки, и он обрадовался новенькой.

— Это, что ли, 9-й «В»? — вызывающе спросила девочонка.

— Это, что ли, — галантно ответил Кирилл. — Меня зовут Кирилл.

— А это меня не интересует, — ляпнула девочонка. Она не знала, с кем разговаривает!

— Вот здесь я сяду, понятно? — Она бухнула портфель на мою парту. Я обалдел. Собственно, мне-то что? Пусть сидит. Она мне не мешает. Даже наоборот.

На втором уроке девочонка заявила:

— А тебе эта прическа ничего, идет. Только сзади слишком обросло. Дай-ка я подравняю!

И она достала из портфеля ножнички для стрижки ногтей.

А на большой перемене я уже бегал в буфет за бубликами для Алины (так звали новенькую). Конечно, я, как всегда, все перепутал и принес не бублики, а кекс, но она даже внимания на это не обратила. А может быть, она такая же рассеянная, как и я? Весь день мы, не переставая, говорили, и к концу уроков я уже знал, что Алина приехала из Минска, что отец ее дрейфует на льдине, что сама она ужасно любит мандарины, но бублики тоже, ничего, любит. В раздевалке я помог надеть

ей пальто. Не из каких-то там побуждений, просто мне было жалко ее: она была худая, как палка. Мы вышли из школы и остановились на ступеньках.

— Мне направо, — с сожалением сказал я.

— Я провожу тебя, — решительно заявила Алина. — Я тебе не рассказывала про Саргассово море.

Я понял, что я рассеянный болван. Ведь это я должен был проводить ее или хотя бы предложить это.

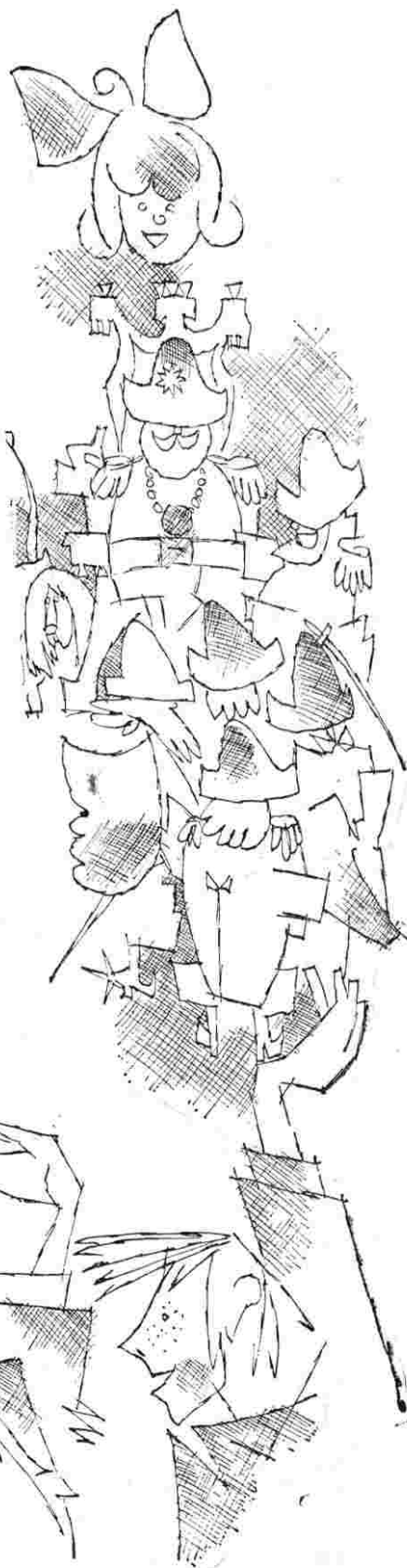
— Может быть, тебя... проводить? — неуверенно промямлил я.

— Вот еще! — сказала Алина. — Без возражений!

И мы пошли.

— Почему тебя называют «Ляпой»? — спросила Алина.

Я пожал плечами. Не мог же я ей сказать, что меня так называют потому, что я недотепа и размазня. А знаете, какой это недостаток, когда человек — растяпа? Мама говорит, что мне с моим характером трудно будет жить.



— Нет, все-таки? — не отставала Алина. — Почему этого дурака Кирилла называют «Маркизом», а тебя «Ляпой»?

Ей как будто было обидно за меня. Вот чудачка!

— Ну потому, что Кирилл высокий, красивый и брюнет, — охотно объяснил я.

— Никакой он не брюнет и не «Маркиз», — решительно сказала Алина. — Он просто выпендюжник.

Это был веский аргумент. И новое слово.

— Как? Вы... пен...

— Выпендюжник. Ты в сто раз лучше его!

Странный у нее был вкус, у этой Алины. Она, наверное, рассматривала людей совсем не с той позиции, с которой рассматривают все.

— Что ты! — весело сказал я. — Я же маленький, рыжий. Вот! — Я даже шапку снял, чтобы она убедилась, какой я безобразно рыжий. — И рассеянный. На праздники писал другу поздравительную открытку и вместо адреса написал: «Ташкент, Урда, Жорику». Случайно, понимаешь?

Алина захохотала. Она так интересно смеялась, что я даже рассказал еще несколько забавных случаев из моей жизни. Со стороны мы выглядели, наверное, весьма интересно. Я нес два портфеля, но когда хотел что-то объяснить, передавал портфели Алине и жестикулировал. Наконец мы остановились.

— Это твой дом? — спросила Алина.

Я оглянулся, и настроение у меня сразу упало. Это был не мой дом, но в этом розовом доме жила пятилетняя девочка Иришка. Несколько месяцев назад я проходил здесь, как всегда, и увидел плачущую малышку. Я не могу видеть, как плачут дети. Я этого не переношу. Поэтому я напел ей сказку про маленьких человечков в желтых шляпах, которые живут под полом Иришкиного дома. Каждый день ровно в семь раздается гонг: «Бум, бум, бум!» — и человечки собираются на генеральное собрание. Ребенок поверил в сказку, и с этого дня каждый вечер, возвращаясь из школы, я вынужден был бить палкой по водосточной трубе три раза: «Бум, бум, бум!». Это человечки собирались на генеральное собрание, которое мне уже порядком осточертело. Но нельзя же было разочаровывать ребенка! И вот я стучал, как идиот, воровато оглядываясь, чтобы кто-нибудь не заметил, чем занимается взрослый верзила.

И вот сейчас... О господи, не мог же я рассказать эту историю Алине! Перед кем угодно я мог выглядеть сумасшедшим, только не перед ней. Но, с другой стороны, нельзя же было разочаровывать ребенка! Когда мы уже подошли к дому, я решил:

— Хочешь новый анекдот? — бодро спросил я и начал ей все это рассказывать, боясь, как бы она не приняла меня за дурака. Алина внимательно выслушала, широко открыв глаза, и тихо спросила:

— Ой, а можно, я постучу?

— Пожалуйста, — великодушно разрешил я. Я, знаете, здорово обрадовался, что она оказалась такой же чокнутой. Мы подошли к знаменитой водосточной трубе, и Алина размахнувшись, три раза ударила палкой: «Бум, бум, бум!». «Бум, бум, бум!» — глухо разнеслось по этажам. На первом этаже женский голос крикнул в комнату:

— Иришка, иди кушать! Заседают твои человечки.

Мы засмеялись, и я облегченно вздохнул.

— Ну, вот, — сказала Алина. — Ты здесь сядешь на автобус и поедешь домой. А мне надо уже идти. Пока!

— Как пока? — возмутился я. — Тебе в какую сторону, в эту или в эту?

Молодец я все-таки! Как это мне вовремя пришло в голову, что ее надо проводить!

— Ты чего так поздно? — Мама внимательно смотрит, как я прохожу к себе в комнату, сажусь на постель и сонно стаскиваю с себя рубашку.

— Алину провожал, — устало, но не без самодовольства отвечаю я. Мама удивленно смотрит на меня и молча переглядывается с папой.

— Алина... это что? — нерешительно спрашивает папа, почему-то улыбаясь.

— Это девочка, — вполне определенно отвечаю я.

Папа прыскает и выбегает из комнаты. За ним выбегает мама, и они над чем-то долго и громко смеются в кухне. А я засыпаю, сплю крепко, как и все рассеянные люди, и во сне вижу Алину, водосточную трубу и человечков в желтых шляпах, которые живут под полом Иришкиного дома.

г. Ташкент.

А. АНТОНОВИЧ

ТРУДНАЯ ЗАДАЧА

(Шутка)

Огромное, сверкающее стеклом и бетоном здание вычислительного центра (ВЦ) заметно издали. Оно возвышается над городом, как символ того огромного скачка, который совершила вычислительная техника за последние десятилетия. Давно ли даже самые передовые люди сомневались в мыслительных способностях машины! А теперь она думает на уровне мировых стандартов, думает серьезно и глубоко.

Петр Никифорович Залысин, руководитель ВЦ, встретил меня на пороге своего скромного кабинета. Этот по-хорошему молодой человек взял меня за руку и повел показывать свое хозяйство. Путь был неблизкий, и по дороге мы говорили о судьбе ЭВМ, которым принадлежит будущее, да что будущее — настоящее!!!

— Недавно, — рассказывал Петр Никифорович, — мы почти вплотную подошли к вычислению квадратуры круга, а сейчас наш коллектив занимается особо интересной проблемой. Как раз сегодня, — он посмотрел на часы, — минут через тринадцать с половиной мы получим результаты вычислений по программе «С. А.». При условии правильного решения этой задачи каждый из нас получит большую выгоду. Мы с воодушевлением взялись за решение этой задачи. Примечательно, что тема родилась в нашем коллективе.

В этот момент мы приблизились к машине почти вплотную. Истекли те самые тринадцать с половиной минут. Красивая девушка в мини-халате, улыбаясь, подала Петру Никифоровичу листок с цифрами. На листке было шесть цифр: 2, 7, 16, 23, 44, 47.

— Как видите, задача решена успешно, — радостно сказал Залысин. — Тираж «Спортлото», который состоится через три дня, никого из нас не застанет врасплох!

ЖЕРТВА МОДЫ

Однажды говорит мне жена: — Что-то ты слишком здоров, Федя!

— А что, — отвечаю, — плохо, что ли?

— Видишь ли, — говорит, — немодно это как-то в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне, — говорит, — в большой моде острый катар верхних дыхательных путей.

— Откуда, — спрашиваю, — ты это взяла?

— А сам посуди, — отвечает. — В парижском доме мод Диора все болеют. Наша Елена Васильевна, которая моду за версту чувствует, уже неделю валяется, и даже Герберт Иванович, так настороженно и скептически относящийся к моде, и тот вчера слег.

— Мне-то, — говорю, — зачем такая мода? Я человек немодный. И так проживу...

— Эх ты, — вздохнула жена, — ретроград!..

И тут же слегла.

Вызвали врача: острый катар верхних дыхательных путей.

Ну она-то всегда очень модной была...

Лежит такая довольная, улыбается, как будто я ей шубу нерповую купил, и говорит:

— Неловко мне, Федя, на твою рожу смотреть, такую здоровую и румяную. Ты же безнадежно от моды отстаешь. Тебе-то самому в таком виде разве не стыдно где-нибудь показываться?!

Подошел я к зеркалу, осмотрелся.

— Да вроде не стыдно, — бурчу.

— Ну, знаешь! — отвечает. — Хватит! Тебе и в широких брюках не стыдно было и в соломенной шляпе. С меня довольно! Даю тебе несколько дней: не станешь модным — между нами все кончено!

Я хоть и не из трусливых, но здесь струхнул.

Думаю, как же это мне скорее

модным стать. Все-таки не как раньше — шляпу модную купил, и все!

Побежал я в кафе-мороженое, съел кило ассорти — хоть бы что. Горло еще только лучше работать стало. Прямо хоть в оперу петь иди.

Ладно, думаю, ничего...

Пришел на работу, сел прямо на скамьях и кручусь: то горло подставляю, то один бок, то другой, то поясницу, то выше, то ниже — ничего. Чувствую — никакого тебе катара, а только, черт побери, закалывание сплошное.

А срок кончается.

Жена злорадно спрашивает:

— Ну что, разводиться будем?

Вернулся домой, чуть не плачу и говорю:

— Видишь, ничего не выходит...

Махнул на все рукой. Не могу я модным стать. Одежда потеплее, белье натянул, ботинки зимние на ноги, в шубу запахнулся и за «Вечеркой» вышел.

Здесь-то меня и прохватило.

Захожу, ноги еле волочу, и сразу в постель.

— Ведь вот можешь, когда захочешь! — обрадовалась жена. — Спасибо, дорогой!

И пошла друзей обзванивать. Радостью делиться. А я тем временем градусник поставил. Тут жена заходит.

— Элеонора, — говорю, — поздравляю тебя! Тридцать восемь

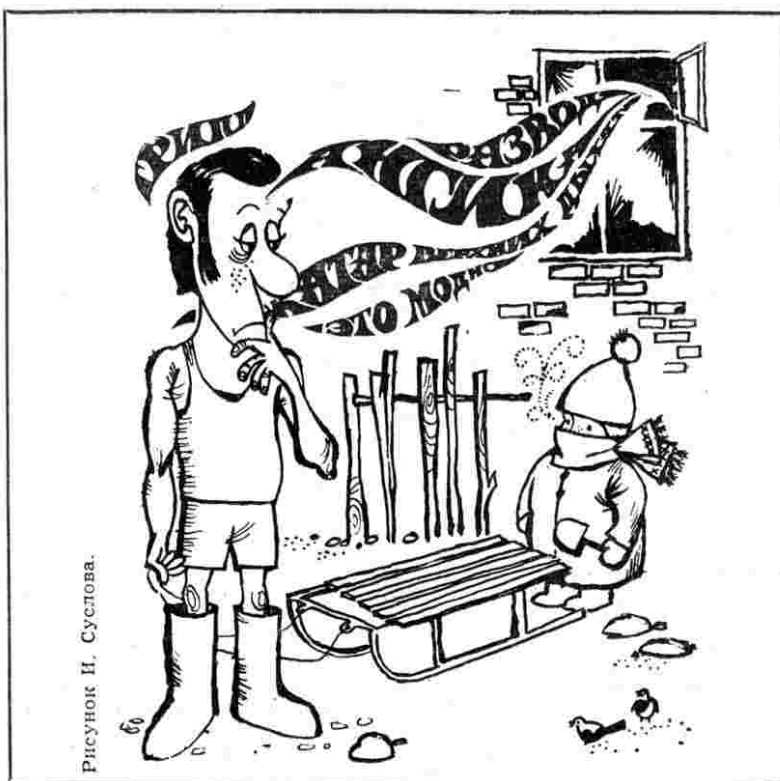


Рисунок И. Суслова.

— Никак, — говорю, — не получается... Я, понимаешь, если где кто чихнет — лицо подставляю. И все напрасно.

— Потому что не хочешь! — поясняет. — Хотел бы — давно бы уж заболел. Все, видите ли, могут, а ты — нет. Уж и Вадим Никодимыч и Анна Иоанновна модными стали. Кого ни возьми... А ты?

Плюнул я тут, разделся до трусов и на мороз выскочил. Походил часок по снегу, с горок покатался, на конечках побегал — только сила недюжинная прибывает. И все!

и две. Может, завтра до тридцати девяти удастся натянуть.

А она на меня грустно так смотрит и говорит:

— Видимо, не судьба тебе, Федя, модным быть. И заплакала.

Только потом я узнал, что мода на грипп к этому времени уже прошла. Скоротечная она. И зря я старался.

Так и провалялся целую неделю.

Немодным.

г. Ленинград.

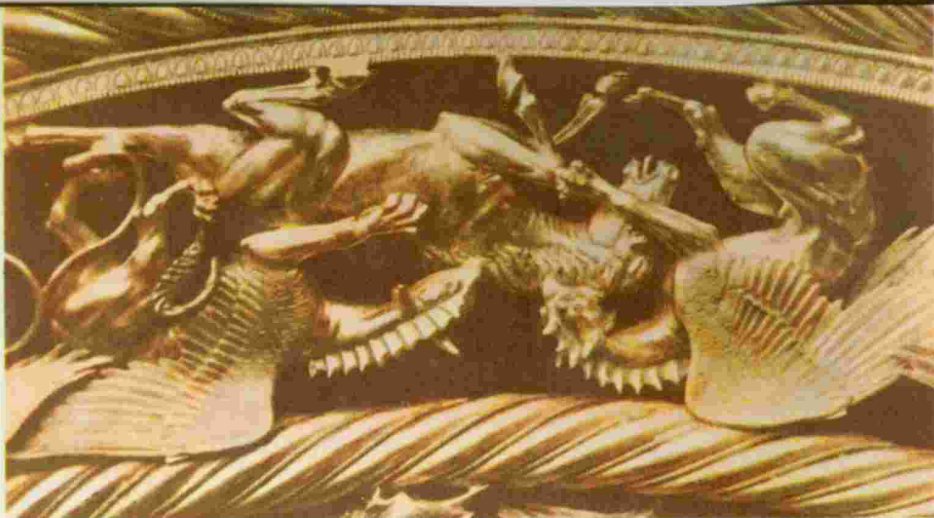


Скиф донт овцу.

Фрагменты золотой некрополи,
найденной в Толстой могиле—
скифском кургане IV в. до н. э.
(см. в этом номере репортаж
«Как Мозоневский обманул
древних грабителей»).



Грифоны терзают пошедь.



Скифы шьют рубаху.

Фото В. Вредя,
П. Чулюканова



Цена 40 коп.

Индекс
71120